

НОВЫЙ МИР

2-3

МОСКВА

1943

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1943 г.

№ 2—3

Год издания XX

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Стихотворения	3
С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Брусилловский прорыв, исторический роман в 2-х частях, Часть II. Продолжение	5
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Памяти Богдана, стихотворение. Перевод М. Зенкевича	46
Ф. ПАНФЁРОВ — Люди Урала	47
ОНДРА ЛЫСОГОРСКИЙ — Прочь оковы, стихотворение. Перевод Льва Пеньковского	74
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Рассказы	75
СТЕПАН ЩИПАЧЁВ — Два стихотворения	83
И. МАЙСКИЙ — Перед бурей, отрывки из воспоминаний	84
—————	
Писатели-лауреаты Сталинских премий 1943 года	105
—————	
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Книга для детей	106
ФЁДОР ГЛАДКОВ — Об А. С. Серафимовиче	110
ЛЕВ ОЗЕРОВ — Побеждать и жить	113
—————	
БИБЛИОГРАФИЯ	
В. КИРПОТИН — Стихи Ондры Лысогорского	120
В. РАКОВСКАЯ — В борьбе за светлое завтра	121
ВЛ. ОРЛОВ — «Тамариани»	124
Н. ГУСЕВ — Книга о Ясной Поляне	127

СТИХОТВОРЕНИЯ

Из книги «Стихи о войне»

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

★
Они накинулись неистовы,
могилы холодом грозят.
Но есть такое слово «выстоять»,
когда и выстоять нельзя.
И есть душа — она всё вытерпит.
И есть земля, она — одна,
большая, добрая, сердитая,
как кровь, тепла и солена.

КИЕВ

Привели и застрелили у Днепра.
Брат был далеко. Не слышала сестра.
А в Сибири, где уж реял первый снег,
на заре проснулся бледный человек
и сказал: «Железо у меня в груди.
Киев, Киев, если можешь, погляди».
«Киев, Киев», повторяли провода,
Вызывает горе. Говорит беда.
«Киев, Киев», надрывались журавли.
А на запад эшелоны молча шли.
И от лютой человеческой тоски
задыхались крепкие сибиряки.
Киев рвал мосты и камни раздирал.
Обливаясь кровью, Киев догорал.
Он оглох от взрывов, он от слёз ослеп,
выплюнул он воду и отбросил хлеб.
На Крещатике, смердящем и пустом,
по ночам светился окаянный дом.
Там рыдали скрипачи, и на заре
немцы, усмехаясь, пели о Днепре.
На заре махнула девушка платком,
и в ответ взорвался окаянный дом.
Братьев не было. У смутного Днепра
на заре лежала мёртвая сестра.
Много лет танкист в Сибири тихо жил,
он танкистам перед боем говорил:

«У далёкого Днепра моя семья,
Киев, — говорил он, — родина моя».
Часто, просыпаясь от лихой тоски,
видел он большие белые пески.
Бил он немцев девять месяцев подряд.
На десятый разорвал его снаряд.
Мёртвый говорит он: «Ночь ещё темна:
Для меня ещё не кончена война.
Смерть моя осталась где-то позади —
год уж, как железо у меня в груди.
Я и мёртвый поведу машину в бой.
Киев, Киев, мы увидимся с тобой.
Рано утром у широкого Днепра,
где братишка и любимая сестра,
хоть украдкой погляжу я на тебя.
Киев, — говорит он, — родина моя».

НЕМЕЦ

Он с детства был уныл и аккуратен,
любил порядок, опасался пятен,
копил гроши на скудное жильё.
Ему сказали: «Ныне всё твоё».
Он убивал старательно и тупо
и дальше шёл — от трупа и до трупа.
Ему была обещана земля,
колосья, золото и соболя.
Вот он лежит. И кровь на подбородке.
А в скрюченной руке земли щепотка,
как будто он оставить не хотел
чужой земли обманчивый надел.

РОМАНС

Коптилка в землянке укромной
чуть светится ночи на зло.
Ты знаешь, коптилка, я помню,
как было на свете светло.

Выходишь на улицу ночью,
повсюду горят фонари,
и если гулять ты захочешь,
гуляй хоть до самой зари.
Напали проклятые немцы.
Простился я с ней на крыльце.
И крупные слёзы, как жемчуг,
сверкали на милом лице.
Землянка моя неприметна.
И мраком одета земля.
Осталась от пышного света
одна ты, коптилка моя.
Я немцу пощады не знаю
за то, что на свете темно,
за то, что в ночи не мерцает
одно дорогое окно.
Когда мы проклятых прогоним,
домой поспешу я скорей.
Глаза я прикрою ладонью,
увидев ряды фонарей.
Скажу я любимой про доты,
про мины скажу, про войну.
А, может быть, слов не найдётся
и только в глаза загляну.
И будет в глазах её милых
знакомый мерцающий свет.
Я вспомню тогда про коптилку,
подругу неласковых лет.

★

Бывала в доме, где лежал усопший,
такая тишина, что выли псы,
не спал ребёнок, в мыле билась лошадь,
и слышно было, как идут часы.
Там, на кровати чересчур громоздкой,
торжественно покойник почивал.
А смерть родные ублажали воском
и слепотой завешанных зеркал.
Они, с любимым существом прощаясь,
припоминали формы и цвета,
но прошлое казалось им случайным,
а достоверной только пустота.

В пригожий день, среди цветов
душистых,
когда бы человеку жить и жить,
я увидел убитого связиста.
Он всё ещё сжимал стальную нить.
В глазах была привычная забота,
как будто мёртвый, опоздать боясь,
он торопливо спрашивал кого-то,
налажена ли прерванная связь.
Не знали мы, откуда друг наш смелый,
кто ждёт его в далёком городке.
Но жизнь его дышала и гудела,
как провод в холодеющей руке.
Быть может, здесь — в самозабвении
сердца,
в солдатской незагаданной судьбе
таится то высокое бессмертье,
которое мерещилось тебе.

★

Был мир и был Париж. Краснели розы
под газом в затуманенном окне,
как рана. Нимфа каменная мёрзла.
Я шёл и смутно думал о войне.
Мой век был шумным. Люди быстро
гасли.

А выпадала тихая весна —
она пугала видимостью счастья,
как на войне пугает тишина.
И снова бой. И снова пулемётчик
лежит у погоревшего жилья.
Быть может, это всё ещё хлопочет
ограбленная молодость моя?
Я верен тёмной и сухой обиде,
её не пережить мне никогда.
Но я хочу, чтоб юноша увидел
простые и счастливые года.
Победа — не гранит, не мрамор
светлый —
в грязи, в крови озябшая сестра,
она придёт и сядет незаметно
у бледного погасшего костра.

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ

Исторический роман в 2-х частях

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ

★

Часть II. ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО*

Глава четвёртая

В ТЫЛУ

1.

2⁽¹⁵⁾ июня дивизии германского кронпринца в пятнадцатый раз были двинуты на штурм Вердена, в жестоких боях понесли огромные потери и имели «бешеный успех», о котором трубили немецкие газеты: они заняли ферму Тиомон впереди форта того же названия. Упрямому кронпринцу хотелось во что бы то ни стало доказать отцу, что из его войск нельзя снимать ни одной бригады для отправки против Брусилова, что натиск на Верден—это, по существу, натиск на всю Францию, что это нож, наставленный прямо против её сердца, что ещё один сильный нажим, может быть, два, на самый худой конец — три, и сердце Франции будет пронзено насквозь, и отвести этого смертельного удара не в состоянии будет старый Жоффри, собравший для этого кулак на реке Сомме: англичане, как всегда, опоздают со своей поддержкой, — фронт на Сомме во всех отношениях второстепенный фронт.

На ближайшие же дни июня кронпринц готовил новый сильнейший удар, теперь уже непосредственно по форту Тиомон, и этим убеждал кайзера в своей правоте, но тому из Берлина было всё-таки виднее, что угроза на Сомме очень серьёзна, хотя и далеко не в такой степени, как брусиловский

прорыв общей шириной, не менее, как в триста километров, — не прорыв, а потоп!.. В то же время нужно было ожидать, что вот-вот оправятся освобождённые из австрийской петли итальянцы и начнут в свою очередь наступать на плоскогорье Азияго; а Румыния деятельно готовит, если не очень хорошую, то всё-таки свежую армию не мало не много, как в шесть-сот тысяч штыков и сабель.

Положение создавалось очень трудное, самое тревожное за всю войну, но так было только на фронте, а не в тылу, где окопались тузы германского капитала, для которых борьба с капиталом других стран, главным образом Англии, была состоянием обычным, которые и сочинили эту вооружённую борьбу только затем, чтобы ускорить свою экономическую победу, причём в окончательной победе своей они ни сколько не сомневались.

Они и не могли усомниться в ней, так как с каждым новым днём чувствовали, как растут их силы. Они высоко вздымались на дрожжах войны, «работая на оборону страны». Они вздували новые домны за домнами, они воздвигали новые цеха за цехами, не испытывая недостатка в рабочей силе, так как сотни тысяч пленных заменяли с избытком на их предприятиях тех, которых пришлось отдать в армию. Другие сотни тысяч пленных работали в их имениях, не оставляя ни клочка неввозделанной земли; третьи — спуска-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 за 1943 г.

лись в их шахты, долбили руду и уголь. Синтетический бензин их успешно соперничал с естественным бензином из нефти; синтетический каучук — с привозным из колоний и южно-американских стран каучуком Антанты... Все средства войны, все машины войны, наконец, все возможности к быстрейшей доставке их в любую часть обширного фронта не без оснований считались ими наилучшими. Блокированные сильнейшим надводным флотом Англии, они выставили против него свой подводный флот в расчёте блокировать в свою очередь им свою соперницу в гегемонии над миром и в конце-концов поставить её на колени.

Блокада привела пока только к тому, что капиталы оставались в стране. К концу второго года вооружённой борьбы заметно осунулось лицо Германии и покрылись садинами и похудели её руки, но зато могущественно разжирел её зад. Вполне естественно было акулам германского капитала считать своё положение прочнейшим, так как ли одного вершка немецкой земли в Европе не попирала нога солдата Антанты, и в то же время север Франции и обширные земли в западной России были заняты немецкими войсками.

Всё это заставляло магнатов германского капитала не только пренебрежительно смотреть на временные затруднения на фронте, но и устанавливать на будущее время, тут же после победы, законы и приёмы своего экономического господства в мире.

Однако этот жест не захотели оставить без ответа представители крупного капитала Англии и Франции, и в первые же дни брусиловского наступления, которое показало союзникам, что Россия отнюдь не сломлена своими неудачами предыдущего года, а напротив, накопила за зиму новые громадные силы, в Париже началась конференция под председательством министра торговли Клемантеля: капиталисты воюющих стран, выходя из-за ширм со шпатами в руках, предпочитали скреплять их на весьма приличном расстоянии, а министр торговли приглашён был для

порядка и чтобы вогнать решение некоронованных королей в точные сроки многочисленных параграфов, пунктов, оговорок, исключений и примечаний.

На конференцию эту приглашены были и русские делегаты, которые должны были, по наказу Государственной Думы, отстаивать интересы русской внешней торговли после войны.

Труднейшими вопросам должны были стать и, разумеется, стали вопросы русско-немецких экономических отношений, так как ни одно из государств мира не было накануне войны так закреплёно германским капиталом, как Россия.

Ещё не начиналась война, а уже многие крупные банки в России получили приказ летом 1914 года скупать и прятать муку, сахар, крупу и другие продукты, чтобы создать голод в России. Приказ этот шёл от немецких банкиров, для которых эти русские банки были своим кровным делом.

Сотни миллионов рублей были вложены немцами в русские частные железные дороги, и служили на них заведомые ставленники немцев для того, чтобы в нужный для хозяев момент сковать параличом эти дороги.

Усиленно ширилось перед войной немецкое землевладение на западе, на юге, на юго-востоке России, на Кавказе, в Крыму.

Рядом с давними немецкими колониями, как грибы после дождей, вырастали новые и новые. Даже генерал Гинденбург, будущий главнокомандующий германскими вооружёнными силами на восточном фронте, заблаговременно приобрёл несколько тысяч десятин земли на Волге. Казалось бы, совсем не под между это пришлось прусскому юнкеру, родовое имение которого было близ Танненберга, но слишком горячила головы всем немцам, — генералы они были или банкиры, заводчики или мелкие лавочники, — идея овладеть Россией вплоть до Урала.

Только тяжёлый меч войны и мог разрубить все хитрые узлы, которыми была густо завязана русская сила у всех почти её родников, — развязать

их терпеливо не было уж возможно-сти, — слишком далеко зашло дело кабалы. Но рука России, поднявшая этот меч, была обессилена разьедающей язвой дряхлого самодержавия, — война затянулась, трудно было разглядеть что-нибудь впереди в её кровавом тумане. Нужна была особая зоркость, — и съехались такие заведомо зоркие люди в Париже.

Для делегатов России поездка эта граничила с подвигом. От русских немцев о ней узнали всё в подробностях зарубежные немцы, хотя имена делегатов не объявлялись в печати, и тайной был их маршрут.

Как-раз незадолго перед их отправкой английский крейсер «Гэмпшир», который вёз в Россию на совещание по военным вопросам военного министра Англии лорда Китченера, был торпедирован в северных водах и погиб вместе с Китченером и почти всей командой.

Та же участь грозила и русским делегатам, и много дипломатической и военной хитрости было пущено в ход, чтобы в целости доставить их во Францию морем (по воздуху же, как пассажиры, делегаты тогда ещё не летали).

Каждый день на конференции подводились итоги высказанным мнениям, каждый день писались и подписывались постановления, каждый день хлопотливые корреспонденты газет сообщали их во все уголки мира, так как из этого не только не делалось секрета, а напротив, одной из задач конференции была самая широкая гласность.

Дело экономического бойкота Германии и её союзниц ставилось на прочную ногу во всём воюющем и нейтральном мире.

Представители союзных правительств обсуждали вопросы торговли как во время войны, так и после заключения мира, а секретари их излагали постановления безукоризненно точным языком, не допускающим никаких кривотолков, — например:

«а) Союзники воспретят своим подданным и всем, находящимся на их территории, какую бы то ни было торговлю с: 1) лицами, находящимися на вра-

жеской территории какой бы то ни было национальности; 2) подданными неприятельских держав, где бы лица эти ни проживали; 3) лицами, предприятиями и обществами, торговая деятельность которых находится под полным или частичным контролем неприятельских подданных...

«б) Они воспретят доступ на свои территории всех товаров, происходящих из неприятельских стран или оттуда привозимых.

«в) Они изыщут возможность установить систему, позволяющую полное уничтожение контрактов, заключённых с неприятельскими подданными и вредных национальным интересам»...

И дальше, и дальше, пункт за пунктом вносились на бумагу за подписями и печатями благие пожелания и веские соображения, подкреплённые доводами об экономической независимости и государственной безопасности. Не были забыты даже «литературные и артистические произведения, изданные во время войны во враждебных странах». А между тем все участники конференции отлично знали, что торговля России с Германией не прекратилась во время войны и не могла прекратиться.

Она только сократилась до небольших размеров, но если не торговые реки, то ручьи потаённо просачивались туда и оттуда, минуя рожатки фронта. Русский хлеб находил пути в Германию через Финляндию и Швецию; немецкие изделия через посредство купцов из тех же стран шли в Россию. За десять первых месяцев войны этих изделий куплено было на 36 миллионов рублей. Ведь иные из них совсем не производились в России, а только ввозились в неё из Германии, а раз воспрещался этот ввоз, их, ставших несбыточными, нельзя уж было достать на рынке.

Русское правительство знало об этом тайном ввозе, однако не решилось отнести его к прямой контрабанде. Оно обложило этот ввоз двойными налогами, после чего товары утроились в цене и всё-таки быстро раскупались.

Как раковая опухоль, укоренившись в

каком-либо месте тела, пускает свои отростки дальше и глубже, так, не всем кидаясь в глаза, однако, обдуманно-планомерно делались попытки захватить немецкими тисками русскую жизнь.

Это был тот же, по существу, охват слева и справа, те же пресловутые «Канны», которые применялись немцами с тупою методичностью во всех сражениях маневренной войны.

Когда в дни войны начались в Москве разгромы немецких торговых фирм, и осколки огромных зеркальных стёкол солидных немецких магазинов завалили тротуары, ходатаями за немцев-коммерсантов перед московским генерал-губернатором явились не кто иные, как русские купцы и фабриканты. Они вопили о том, что банкротство крупных немецких торговых домов, которое неизбежно в результате этих погромов, делает банкротами и их, потому что слишком тесно связаны с потерпевшими все их торговые интересы.

Русское правительство основные доходы перед войной извлекало из отправки избытков хлеба за-границу, с одной стороны, и из винной монополии, — с другой. Но, прекратив продажу населению спиртных напитков в самом начале войны, правительство потеряло почти миллиард рублей золотом ежегодного дохода, так что красивый жест этот оказался весьма дорогим, а русский хлеб почти монопольно закушала Германия, — приток золота и отсюда прекратился.

Между тем за орудия и снаряды к ним и за другие средства ведения войны, которые предоставлялись России Японией, приходилось платить золотом, запасы которого были невелики.

Был ещё один крупный источник доходов в России — казённые железные дороги, но теперь и он был парализован войной: возить приходилось только военные грузы. Золотой запас с каждым днём таял, рубль катастрофически падал, государственные долги неслыханно росли.

Русская проблема на конференциях предстала настолько запутанной и слож-

ной, что представители правительств Франции и Англии предпочли отделаться от неё общими фразами постановлений.

В то же время всем участникам конференции отлично было известно, как оживлённо шла поставка различного сырья в немецкие страны из стран нейтральных, для чего пускались в дело все виды транспорта, как сухопутного, так и морского, несмотря на ожесточённую подводную войну. Крылатой стала фраза, рождённая в тогдашней Голландии: «Если кто имеет дочь старую деву пятидесяти лет и барку того же возраста, — он для обеих найдёт себе зятя».

Голландия, Дания, Норвегия, Швеция непомерно богатели на поставках в Германию масла, сыра, яиц, селедочек, рыбных консервов, бекона, леса, бумаги, железной руды; Вильгельм в самых решительных выражениях обещал своим союзникам — Австро-Венгрии, Турции, Болгарии — полное участие в экономической гегемонии во всём Старом свете, которая, по его словам, будет обеспечена после войны великой и несокрушимой силой тевтонского оружия; а русские делегаты на конференции в Париже выражали скромные пожелания о займе в пять миллиардов рублей на устройство в пятилетний срок сороса тысяч вёрст железных дорог в бездорожной, хотя и богатой России.

Те льготные тарифы, которыми пользовались в России до войны немцы, русские делегаты великодушно предоставляли французским и английским промышленникам и купцам, но при этом выражали надежду, что в будущем союзные государства не будут принимать в своё подданство не только прямых подданных Германии и Австрии, но также и тех, которые обзаведутся подданством какой-либо из нейтральных держав.

Французские делегаты не забывали о своих французских винах, которые не находили сбыта теперь, во время войны, и требовали, чтобы Россия попрежнему открывала для них двери, иначе придёт в полный упадок виноделие Франции. Робко ссылаясь на «сухой закон»,

проведённый в России в самом начале войны, русские делегаты соглашались всё же, что французское виноделие подержать необходимо; однако и они, в свою очередь, выставляли на вид заботу о том, кто будет покупать русский хлеб в том количестве, в каком покупала его до войны Германия.

Конечно, им было хорошо известно, что и Франция и Англия вполне обеспечивались хлебом из своих колоний, однако, им хотелось заручиться согласием союзников хотя бы на то, чтобы русский хлеб получил такие же льготы на их рынках, как хлеб из их колоний, и чтобы для вывоза его союзники предоставили свои суда достаточного тоннажа.

Вывоз хлеба был основной статьёй русского бюджета, и этот вопрос сделая самым боевым на конференции: с одной стороны, цитировалась знаменитая фраза русского министра Вышнеградского: «Не доедим, а вывезем, — без этого нельзя!» с другой — русский хлеб ни Франции, ни Англии был не нужен.

Зато союзники обязались доставлять в Россию все фабрикатy, которыми до войны заваливала русский рынок Германия, а также рискнуть помещением своих капиталов в русскую промышленность, при условии целого ряда льгот, которые были точно перечислены в длинном обстоятельном списке.

Разумеется, не были забыты на конференции и другие, более мелкие вопросы. Их выдвинули союзники, и с ними согласились, не споря, русские делегаты. Это были вопросы о коммерческих школах, которые должны быть основаны в России для подданных Англии, Франции и других союзных или неввраждебных государств; о коммерческих музеях; о введении в союзных портах особых присяжных экспертов для проверки качеств ввозимых русских товаров и другие подобные.

На конференцию съехались люди, достаточно хорошо осведомлённые о всех надеждах, какие на неё возлагались и правительствами, и общественным мнением их стран. Они не могли не ви-

деть великой разницы между тем, что можно было предпринять для экономической борьбы с Германией во время войны, чтобы ускорить её предreshённый конец, и тем, что могло начаться после войны.

Послевоенное время они осторожно разделили на «период коммерческого, промышленного, земледельческого и морского возрождения союзных стран» и на «постоянные отношения» к Германии и союзным с нею странам».

Период возрождения был ясен. Союзники постановили «совместно изыскать средства для оказания всесторонней помощи странам, пострадавшим от разрушений, грабежа и насильственных реквизиций»... Умалчивалось, конечно, о том, кто и в каких размерах должен был предоставить эти средства, но цели были вполне почтенны, культурны и желательны для всех.

Совсем другое было в области «постоянных отношений». Ходить по этим скользким камням даже и не решались, — ограничились только постановлением, внесенным в книгу протоколов конференции.

2.

Петроград защищали армии испытанного в осторожности генерала Куропаткина. Линия фронта этих армий проходила южнее Двинска и Риги и считалась прочной. Немцы тут открывали иногда то на одном, то на другом участке ураганный огонь, даже выскакивали из окопов, но вперёд не шли. От Куропаткина же тем более никто не ожидал активных действий, поэтому жизнь столицы протекала довольно спокойно, и, как показатель твёрдого спокойствия, возможного в военной обстановке, изо дня в день шли заседания Государственной Думы в Таврическом дворце.

Дума не могла не отозваться на мощные усилия войск Юго-Западного фронта, почти чудодейственно в короткий срок разгромивших врага, девять месяцев укреплявшего свои позиции. Заседание 1 июня председательство-

вавший член Думы Варун-Секрет открыл заявлением:

— Господа члены Государственной Думы! За последнюю неделю в перерыве между нашими занятиями телеграф приносил нам каждый день радостные вести о блестящих победах, одержанных нашими войсками, о сокрушительном ударе по всему австрийскому фронту. Не угодно ли будет Думе приветствовать армию и принести поздравления её верховному вождю?

Верховным вождём армии числился царь, но гром аплодисментов и крики «ура» перекрыл чей-то мощный голос:

— Да здравствует Бру-си-лов!

И вслед за этим другой подобный же голос выкрикнул во всю силу лёгких:

— Да здравствует армия!

И потом минуту-две не смолкали в огромном зале эти несшиеся теперь уже с разных сторон возгласы:

— Да здравствует Брусиллов!... Брусиллов, ура-а!... Да здравствует армия!

Забыли о «верховном вожде» даже на правых скамьях, где сидели в то время такие голосистые, как депутат курского дворянства Марков 2-й, как адвокат Замысловский, и, чтобы несколько сгладить и замаять «инцидент», поднявшись на цыпочки и звоня в предсательский колокольчик, Варун-Секрет прокричал в зал:

— Не угодно ли Думе почтить вставанием память героев, павших на поле брани?

Все встали, и с минуту стояла торжественная тишина. Потом Варун-Секрет стремительно взял со стола какую-то бумагу и поднял её над головой, а когда уселся зал, приподнятым голосом прочитал письмо итальянского посла в Петрограде маркиза Карлотти, адресованное отсутствовавшему председателю Думы Редзянке:

— Господин председатель! Президиум итальянской палаты только что через его превосходительство министра иностранных дел уполномочил меня поставить в известность ваше превосходительство, что в заседании 9-го числа (по новому стилю) текущего месяца

депутат Пьетровале взял слово, чтобы горячо приветствовать неустрашимые русские войска, которые в их грозном натиске одерживают неизгладимые в памяти победы. К восторженному выражению симпатий депутатом Пьетровале присоединился помощник государственного секретаря по военным делам генерал Альфьери. Его превосходительство президент палаты выразил от имени президиума дань своего восхищения по поводу высокой доблести и геройского подвига союзной армии. Палата, в свою очередь, единогласно уполномочила своего президента просить министра иностранных дел быть выразителем этих чувств перед председателем Государственной Думы. Со своей стороны, считая приятнейшим для себя поручение скорейшим образом сообщить вашему превосходительству о вышеизложенном, имею честь просить вас, господин председатель, принять уверение в моём совершенном уважении. Карлотти.

Аплодисментами на всех скамьях было встречено это витиевато изложенное признание того, что русские войска Юго-Западного фронта спасли Италию.

Но преждевременная смерть Китченера сделалась тогда только что известной в Петрограде, и Варун-Секрет, выждав затухание рукоплесканий, с особой серьёзностью на худощавом пожелом лице произнёс:

— Господа члены Государственной Думы! Телеграф принёс нам чрезвычайно печальное известие о трагической гибели представителя доблестной союзницы нашей Англии лорда Китченера. Эта утрата тяжело отразится в сердцах всех, кому дороги интересы общего дела. Предлагаю почтить вставанием память доблестного военного министра союзной Англии.

И снова все встали, и наступило безмолвие.

— Не угодно ли Думе, — продолжал Варун-Секрет, — поручить президиуму выразить чувства соболезнования палате общин союзного государства?

— Просим! Просим! — раздалось со всех концов зала.

Так начался «большой день» Думы, «большой» потому, что в этот день думский Демосфен, один из самых блестящих ораторов Василий Маклаков сделал доклад по крестьянскому вопросу.

У докладчика были счастливая внешность и очень доходчивый голос тенорового тембра.

Нервным жестом приглаживая иногда волосы над красивым лысеющим лбом, оратор говорил с большим подъёмом. Он развернул перед членами Думы вопрос о крестьянах исторически, начиная со времён отмены крепостного права, и показал, как трусливо относились к радикальным решениям в этой области один за другим различные представители власти и как вместо неоднократно возвещаемых прав вновь и снова воцарялось бесправие.

Редко бывало в зале Таврического дворца, чтобы такие овации вызвала чья-либо речь, как этот доклад Василия Маклакова: хлопали и кричали «браво» на всех скамьях.

Четвёртая Дума тогда была уже «обезвреженной» с точки зрения правительства Думой, — из неё была изъята целиком и отправлена в ссылку фракция большевиков. Маклаков же приходился братом бывшему министру внутренних дел, но держался независимо от него в своих политических взглядах. Он сказал мягко то, что можно было бы сказать гораздо более резко, но думская кафедра в те времена ещё не была подготовлена для резких и по-настоящему сильных речей. Важно было уже то, что самый тон доклада, предлагавшегося для многодневных обсуждений в Думе, не был таким холодным и бесстрастным, каким принято было потчевать представителей народа в Таврическом дворце: крестьянская армия, победно борющаяся за Россию на фронте, заставила отнестись к себе с уважением даже и там, где создавались законы.

Но в Петрограде не только создавались законы, между прочим и о полнотех правии крестьян; там ютились и обще-

ства, основанные в целях помощи миллионам беженцев из западных губерний, занятых врагом, причём беженцы были главным образом крестьяне.

Как-раз в первые дни июня вынуждены были закрыться два таких общества в виду истощения своих средств. Первое из них называлось скромно: «Гродненский обывательский комитет». Обыватели, скопившиеся в этом комитете, располагали и скромной суммой, полученной от казны, — всего только в триста двадцать тысяч, — в то время, как одних служащих в комитете набралось до семидесяти человек с графом Красицким во главе. Беженцам — гродненским крестьянам было роздано только три тысячи рублей, а все остальные деньги просто как-то в весьма короткий срок разошлись между членами комитета: триста с лишком тысяч было уплачено за труд раздачи трёх тысяч.

Другой подобный же комитет носил гораздо более громкое название — «Северо-помощь», и капитал был ему дан уже немалый — сорок миллионов рублей, и во главе его стал член Государственного совета Зубчанинов.

Когда подошло время ревизии, то оказалось, что этот комитет даже и трёх тысяч не израсходовал на беженцев, а миллионы растаяли как-то сами собой, точно были они ледяные сосульки, неспособные вынести тёплой летней погоды. Кто-то из комитетчиков очень поправил текущие свои дела, кто-то палачил новые большие дела, кто-то купил чернозёмное имение, кто-то — большой доходный дом, кто-то сильно проигрался в карты, кто-то и где-то достал партию — сразу несколько сот штук — элегантных автомобилей и принялся снабжать ими весь денежный Петроград... В кассе комитета не оказалось ни денег, ни отчётности. Комитет пришлось закрыть. Вместо «Северо-помощи» петроградцы называли его «себепомощь».

3.

Сорок сороков московских церквей сияли золочёными главами торжествен-

но и безмятежно и теперь, в начале июня, в конце второго года войны, как и до войны. Продовольственные карточки в те времена введены были не только в таких западных городах, как Рига, Ревель, Псков, Минск, Витебск, но и в гораздо более восточных, чем Москва: в Костроме, в Казани, даже в Мценске, даже в захолустной Усмани, Тамбовской губернии, но в Москве только ещё рассуждали о них отцы города и относились к ним с большим предубеждением: «Неужели же и в самом деле, вдруг в Москве, да какого-нибудь мяса или, скажем, сахару нехватит? Быть этого не может! В Охотном ряду всё есть!»

Почти два года длаящая невиданная по своей ожесточённости война пока ещё оказывалась бессильной не только сломить, но даже в чём-нибудь нарушить прочно сложившийся кряжистый московский быт. Жизнь только вздорожала неслыханно: — «Шутка ли сказать — сахар стал вместо 17 копеек 32 копейки за фунт, а коленик вместо 12 целых 45 копеек за аршин!.. Когда такое было?» Однако подтянулись и превозмогли: ведь за работу тоже начали получать гораздо больше, чем до войны, — работы везде прибавилось, рабочих же рук стало куда меньше, так что и на стариков и старух появился спрос, и те подняли головы, как астры в солнечный день: «Вот когда объявилась настоящая нам цена!..»

Круглые, полные, медленные московские дни продолжались и теперь, когда во всём свете всё заострилось и заспешило. Как всегда прежде, в Москве в июне процветали бега, на которых блистали своею резвостью и классической красотой форм рысаки конюшен миллионеров от нефти — Манташевых, Лианозовых, Лазаревых — и миллионеров от других, не менее, в конечном итоге, благовонных благ земли. Были не только хозяева, но и хозяйки прославленных конюшен, и о туалетах, в которых они появлялись на бегах, столь же красноречиво, как и о достоинствах их рысаков, писали бойкие газетные репортёры. Каждый день на бега устрем-

лялась вся хоть сколько-нибудь денежная Москва; там шла азартная, как и всегда прежде, игра, и во-всю работал тотализатор.

Вместе с тем и летней тятё на лоно природы не могли отказать москвичи, и весьма многочисленные дачные посёлки под Москвой были переполнены, и заботливые хозяйки и дачницы заготавливали на зиму варенье из клубники и поджидали землянику и малину, готовя для них сахар и банки. А в московском религиозно-философском кружке, не особенно многочисленном, но спаянном довольно крепко, а главное, уверенном в своём глубоком постижении жизни, на все лады трактовались вопросы о логосе, об эросе, о Западе и Востоке, о немеркнущих лучах славянофильства, о «святой Руси», которую, по слову поэта, «в рабском виде царь небесный исходил, благословляя», и неизменно о кресте на цареградской святой Софии.

Профессора и доценты и просто доктора философии и экономики сходились затем, чтобы читать в своей избранной среде пространные доклады о том, как «ясный свет логоса, словно чаша цветка в лепестках венчика, часто исчезает у нас в тёмном пламенении непросветлённого эроса» или определять родство и противоположность Германии и России, как родство и противоположность метафизики и мистики.

И когда бородатый приват-доцент, окружённый внимательными слушателями, читал из своей тетрадки:—«Германия уже прошла через зенит своего духовного развития. В ней всё больше и больше гаснет пророческий дар откровения и всё больше и больше оттачивается во всех областях культуры острие критической совести. Это, быть может, яснее всего видно на примере современной философии немецкой, которая из системы постижений всё определённое перерождается в систематизацию непостижимости. Россия же, наоборот, ещё только восходит к своему зениту. Правда, она насквозь хаотична, но её тёмный хаос светится откровением. Отрицательный же дух критики и запретительная сущность совести ей пока со-

вершено чужды»... — когда читал он это, то видел по лицам слушателей, что те вполне сочувственно следят за всеми изгибами его мыслей и даже иногда соглашательно кивают бровями.

Когда же он доходил до своего откровения, что причина войны с немцами заключается в Лютере, который отверг культ богородицы, и, самое главное, в том, что Гретхен не удалось замолить грехи Фауста, то уже не только одни брови, но и подбородки, бородастые они были или гладко выбритые; тоже кивали сочувственно.

В театрах Москвы в то время ставились, напротив, только лепные пьесы, далёкие от всякого вообще глубокомыслия, но если говорить языком московских философов, то там-то именно и царил этот самый непросветлённый эрос.

Театр и сад «Эрмитаж» привлекал густые вечерние толпы москвичей фарсом «У ног вакханки — пиршество любви» и опереттой «В волнах страстей»; особо же привлекательна для публики была там «Весёлая вдова», с участием артистки Кавецкой; в театре Невольина, который назывался «Интимным», шли «Свободная любовь» и «Вова приспособился»; в театре «Тиволи» шёл фарс «Фиговый листок», причём афиши объявляли, что актриса такая-то будет играть роль натурщицы совсем без фигового листка...

Вечером 6 июня на одном из московских вокзалов незадолго до прибытия к перрону поезда, направлявшегося в Сибирь, появились совершенно необычные пассажиры. Они подъехали к вокзалу на нескольких машинах, тесно следовавших одна за другой, и с особой торжественностью выходил из передней машины при непосредственной помощи многих духовных лиц сановитый густобородый старик в высоком монашеском клобуке с вышитым на нём крестом, с двумя бриллиантовыми звёздами на чёрной шёлковой рясе, и с оттопыренными в локтях руками, чтобы двое тоже сановных и украшенных орденами, но рангом значительно ниже монахов, подхватив его под руки, почтительно ввели его, с осторожностью величайшей, точ-

но был он сделан из самого хрупкого стекла, по ступенькам широкой лестницы в настежь открытые для этого и украшенные парадно одетыми жандармами двери первого класса.

Это был Макарий, митрополит московский, направлявшийся с двумя викариями епископами своей епархии и не меньше, как с двумя десятками других священнослужителей в Тобольск на прославление «честных и нетленных останков архиепископа Тобольского Иоанна (Максимовича), со времени блаженной кончины которого исполнилось двести двадцать лет».

Телеграмма Распутина царю, полученная в Ставке 25 мая, такого странного содержания: «Государю императору. Славно бо прославился у нас в Тобольске новоявленный святитель Иоанн Максимович, бытие его возлюбил дом во славу и не уменьшит его Ваш и с Вами любить архиепископство, пушай там будет он. Григорий Новых» — касалась именно этого, а на телеграфе в Ставке её совершенно не поняли и даже посылали запрос в Петроград, так ли приняли, Распутину захотелось, чтобы в его родном городе был свой святой, и слова «пушай там будет он» означали, что подлинный хозяин России не желает, чтобы мощи переносили из Тобольска куда-нибудь в другое, более видное и людное место.

Так называемое «вскрытие мощей» уже состоялось раньше, чем и вызвана была телеграмма царю, и сделано это было ставленником Распутина, архиереем тобольским Варнавой, давшим знать особой телеграммой в Петроград Синоду, что даже и «одежда святителя, пролежавшая свыше двухсот лет во гробе, превосходно сохранилась».

Митрополит Макарий был преисполнен такой исключительной важности от своей, как мы бы сказали, командировки в Тобольск на «чин прославления новоявленного святителя», что как-нибудь притушить, преуменьшить её, чтобы она не поражала всех без исключения на вокзале, был, как видно, решительно не в состоянии. Быть может, ему непритворно казалось, что от него са-

мого излучается сияние святости; быть может, самый «чин прославления», который, несомненно, изучался им в своих митрополичьих покоях, стоял теперь во всём блеске в его воображении, только он, водворившись на вокзале и отражённый от остальной публики сопровождавшим его духовенством, не просто смотрел на эту публику, а взираал как-то непередвзаемо запрестольно, потусторонне, надземно.

И среди публики шёл густой шопот: «Митрополит!.. Митрополит Макарий!..» И многие, особенно женщины, стремились пройти и не раз и не два мимо, только чтобы поклониться почтительно тому, который взираал, как бы никого из них не отмечая, даже не видя.

Но вдруг чётким строевым шагом, не то чтобы торопливым, однако и не гуляющим, прошёл мимо высокий офицер в полковничьих — две полоски без звёздочек — погонах, фронтowych, защитных, под цвет тужурки, с боевым Владимиром в петлице, с Георгием на груди, — прошёл, не поклонившись, не поднеся руку к козырьку фуражки, без любопытства скользнув глазами по толпе духовенства. И потусторонне взиравший митрополит заметил это, и вслед пршедшему полковнику загремел его совсем неслабый, хотя и хриповатый голос:

— Не-ве-жа!.. Эй, ты, не-ве-жа!

Полковник оглянулся на крик, чтобы посмотреть, кто и на кого тут, на вокзале, так кричит, и увидел, что на него глядят возмущённо не только надземные глаза митрополита, но и всего синклита около него и даже всех дам из публики. У него был вид человека, удивлённого настолько, что как-будто несколько мгновений он решал про себя, действительность ли перед ним, или он как-то несжиданно для себя заснул на ходу и видит какой-то сон.

Но снова раздался тот же сановный голос:

— Не-ве-жа! Ты почему это не отдаёшь мне чести?

Полковник покраснел мгновенно во всё лицо, сравнительно ещё молодое или молоджавое, во всяком случае не позво-

лявшее дать ему больше сорока лет, и сказал громко и отчётливо, как перед строем:

— Невежа вы, ваше преосвященство, потому что мне «тычете», хотя я — командир полка! О том же, обязан ли я отдавать вам честь, где-нибудь справьтесь, и узнаете, что не обязан!

Сказал, повернулся и пошёл дальше. Однако следом за ним тут же беспешно с особо деловым видом ринулся, раздвигая толпу, жандармский подполковник в парадной форме, при орденах и в белых перчатках.

Он догнал его уже в конце коридора, отделяющего зал первого и второго классов от зала третьего класса.

— Господин полковник, — минутичку, очень прошу! — заговорил жандарм, запыхавшийся, но требовательный.

— Чем могу служить? — спокойным тоном спросил полковник.

— Вы сказали, господин полковник, что вы — командир полка; позвольте узнать, какого именно?

— Получил в командование 402-й Усть-Медведицкий полк 101-й дивизии, — ответил, ничуть не смутясь, полковник.

— 402-го полка 101-й дивизии, — повторил жандарм, быстро заноса это в записную книжку. — Так, а фамилия ваша, будьте добры?

— Фамилия моя Добрынин, имя отчество — Михаил Платонович.

— Так, так, — записывая, бормотал жандарм. — А стоянка вашего полка где именно?

— Мой полк на Юго-Западном фронте, в составе 11-й армии, — сегодня я туда еду.

— Едете на Юго-Западный фронт с тем поездом, который сейчас подойдёт? — быстро, но как бы между прочим спросил жандарм.

— Нет, не с этого вокзала и не с этим поездом. Сюда я зашёл только за нужной мне справкой, — сказал полковник и добавил: — Надеюсь, больше вам ничего от меня не нужно?

— Как вам сказать... Может быть, вы бы подошли сейчас извиниться перед митрополитом, — просительным то-

ном отозвался на это жандарм, — тем более, что вы-то не сейчас ещё уезжаете, а митрополит через две-три минуты будет садиться в поезд.

— Очень хорошо, пусть садится в поезд, зачем же я буду ему мешать в этом? — спросил полковник.

— Как мешать, простите? Вы только подойдёте, извинитесь и отойдёте, и инцидент, может быть, будет исчерпан, — сделал особое ударение на «может быть» жандарм.

— Считаю, что и так исчерпан: ведь оскорблён не митрополит мною, а я митрополитом.

— Вот как! — удивился жандарм.— Тогда, в таком случае...

Тут он оглянулся назад, и полковник сказал ему:

— Я вижу, что вам некогда, — вы должны быть при его преосвященстве, но мне тоже некогда. Имею честь кланяться!

Он пошёл было, но жандарм как-то вприпрыжку догнал его снова.

— Бумажка о назначении командиром этого вашего полка при вас?

Полковник как-будто ждал этого именно вопроса и бумажку достал из бокового кармана тужурки без промедления. Но он не дал её жандарму, а только показал так, чтобы тот прочитал её.

Тот прочитал, спросил, во сколько именно часов и с какого вокзала едет полковник, поспешно поднёс к козырьку руку и ещё поспешнее пошёл снова в зал первого класса, освободив полковника Добрынина, назначенного командиром Усть-Медведицкого полка, от своей спёки.

4.

Лирический город Киев сделался ближайшим тылом, — это неузнаваемо изменило весь его облик не только для природных киевлян, но и для тех, кто только бывал в нём наездами перед войной.

Если прежде в нём и совершались крупные торговые сделки, то больше всего касались они рафинада и сахарного песка, так как являлся он центром

для обширнейших свекловичных плантаций и сахарных заводов не только своей губернии, но и всего юго-запада Европейской России. Теперь он был переполнен всевозможными военными складами, питающими фронт, учреждениями, госпиталями, и штатские люди на его улицах совершенно затеривались среди военных; теперь его гостиницы были битком набиты не только теми, кто приезжал сюда с фронта, но и «земгусарами», как назывались работающие в Союзе земств и городов — Земгоре. Этих последних с беглого взгляда невозможно было и отличить от подлинных военных, так как одеты они были по-военному, разве что гораздо франтоватее фронтовиков.

Деятельность «земгусаров» была обширна: они снабжали фронт очень многим, существенно помогая этим интендантству; они устраивали госпитали и брали на себя их содержание; они собирали целые поезда подарков солдатам; снаряжали санитарные поезда, поезда-бани, питательные пункты для раненых, отправляемых в тыл, для пленных и прочее.

Разумеется, для такой разносторонней деятельности требовались люди с довольно широким размахом. Иные из земгусаров были и раньше дельцами, у других отстали крылья дельцов по мере того, как к ним возрастало доверие и они получали возможность заключать договоры на крупные поставки.

Готовившийся при Иванове к дальней и ближней обороне, Киев ожил при Брусилове, а чуть только стало известно в нём об успехе Юго-Западного фронта, о захвате Луцка, о том, что вся линия фронта передвинулась вперёд на десятки вёрст, Киев сразу забыл и о трёх поясах укреплений, заложенных Ивановым, и об устроенных им для отхода войск на восток мостах через Днепр.

В то же время наступление нескольких брусиловских армий, переход их от позиционной войны к маневренной, заставлял напрячь все свои силы и ближайший тыл, поэтому ещё шире, чем прежде, развернулся и «Земгор»: нель-

зя было отставать от так энергично шагавшего фронта.

В такой густой атмосфере преувеличенно-деловой энергии ничего удивительного не было для хозяина одного из небольших металлургических заводов юга, когда к нему в номер гостиницы в Киеве зашёл барственно-сытый на вид и щегольски одетый земгусар с предложением, не примет ли он заказ на различные железные изделия, необходимые для земгоровского хозяйства, по такому-то списку.

Длинный список был положен земгусаром на стол перед заводчиком; тот углубился в его рассмотрение, а заказчик тем временем рассматривал заводчика, который был с виду человеком плохого здоровья, хотя и одних лет с заказчиком — 32-х—33-х: у него было острое большелобое лицо, лихорадочно горевшие глаза, тонкие бескровные губы, и он всё время делал заметные усилия, чтобы воздержаться от кашля.

— Да... что же.., можно всё это выплнить, можно... Вопрос... вопрос тут только во времени... — сказал, наконец, он, закашлялся, поднёс платок ко рту, внимательно потом посмотрел в него, отведя его в сторону и вниз, и добавил устало: — Вот, простудился как... совсем некстати... в летнее время...

— Летом простудились, летом и поправитесь, — с беспечным жестом пальцев около обращённой к заводчику, налитой, слегка загорелой щеки, успокоил его земгусар, а после того счёл нужным успокоить и насчёт времени: — Время, пожалуй, потерпит.

— А как именно... потерпит?.. Военный заказ — дело серьёзное...

Сухое костлявое лицо заводчика стало при этом преувеличенно серьёзным, и лоб, над вздёрнутыми бровями пошёл крупными морщинами.

— Да ведь заказ вы будете выполнять и сдавать по частям, а относительно сроков договоримся с вами особо, — солидно сказал земгусар и добавил небрежно: — Нынче встретил здесь «солиста его величества» тенора Фигнера.

— А-а, Фигнер... — недоуменно протянул заводчик, кашлянул и осведомился: — Что же он тут — концерт что ли даёт?

— Фигнер? Что вы, какие уж теперь от него концерты! — слегка усмехнулся земгусар. — Он теперь миллионами ворочает, — зачем ему зря глотку драть, когда притом же и с голоса спал?.. У него теперь свои угольные копи.

— Вот как! Копи?.. Где именно?

— На Кавказе, в Ткварчели... И соляные разработки, кроме того, — в Крыму...

— Вот как!.. В тёплых краях, значит... в курортных... Практический человек оказался!

Чахоточный заводчик был искренне изумлён тем, что певец, известный тенор, оказался вдруг настолько практичным, а земгусар продолжал о том, что его слегка волновало:

— Говорил мне, что в Ставке был, но как-раз царя не застал, а могла бы состояться аудиенция... Она уж и была подготовлена заранее, да царю понадобилось уехать куда-то на смотр войск, а ждать его, сидеть в Ставке, некогда ему было.

— Дело-вой человек!.. Куда же он спешил?.. Царь — на смотр, а он?..

— Да ведь он, кроме всего прочего, заведует складом имени императрицы Александры Фёдоровны, — что вы! Он уж полтора года переезжает с фронта на фронт, торгует своею солью, а что касается угля, то, говорит, взял подряд на два миллиона.

— На два миллиона? — почтительно повторил заводчик.

— Да-а, — но ведь это для начала только... Это дело для него новое, — тут он ещё не развернулся как следует... Я думаю, он к концу войны миллионах в тридцати будет, — уверенно сказал земгусар, а заводчик только покачал большелобой головой, вперили лихорадочные глаза свои в носки артистически сшитых сапог земгусара и пробормотал вполголоса:

— Вот тебе и «святое искусство»!

— Значит, вопрос о моём заказе, — значительно сказал тут же после вставки о Фигнере земгусар. — Хотя он и не миллионный, но всё-таки и не маленький, а?

— Нет, не маленький, — согласился заводчик.

— Выполнить его вы в состоянии?

— Могу... Могу, только дело в сроках... — задумался несколько заводчик.

— А также и в ценах, я думаю, а? — земгусар посмотрел ему прямо в глаза проникновенно.

— Цены, да, конечно... В виду срочности заказа надо бы прибавить кое-что к существующим... Ведь рабочие... рабочие теперь требуют... да и жизнь дорожает...

— Гм... да... конечно... По соседству с вашим заводом есть, насколько мне известно, завод братьев Млинаричей, а?

— Есть, как же, есть... Но только, должен я вам заранее сказать, недобросовестный! — И впалые глаза заводчика загорелись ещё и огнём ненависти, кроме лихорадочного, а земгусар продолжал спокойно:

— Это — ваши конкуренты, и ваш отзыв о них вполне понятен.

— Но обо мне, обо мне они не посмеют так отзываться! — выпрямил было спину и поднял голову, но тут же закашлялся заводчик.

— На чужой роток не накинете плапок, — безжалостно заметил земгусар, выждав, когда прошёл припадок кашля. — Но суть дела не в этом, а вот в чём. Существующие цены на всё, что я вам заказать хочу, мне досконально известны... Но вы только что сказали, что надо бы их повысить. Хорошо, — пойду вам навстречу. Предлагаю вам двойные цены против тех, которые могли бы взять ваши соседи по заводу.

Это было сказано далеко не в полный голос и после беглого взгляда на дверь номера, а заводчик после этих слов раза три приподнял и опустил складки на лбу, потом спросил почти шепотом:

— Ваш процент?

— Семьдесят пять тысяч, — буркнул земгусар.

— Семьдесят пять? — изумлённо, шепелящим шепотом повторил заводчик, посмотрел снова на артистически сшитые сапоги, приложил пальцы к левому виску, точно щупая пульс там на бившейся синей вене, и сказал, наконец, неприкрыто возмущённо:

— Желаете догнать певца Фигнера?

— Это вас не касается, кого я хочу догнать, — отпарировал земгусар, — но если вы не согласны на это, то заказ перейдёт к вашим соседям.

— А вы уже были у них? — тут же спросил заводчик.

— Нет, ещё не был... Я предпочёл сначала предложить заказ вам.

Заводчик вздохнул с заметным облегчением и стал изучающе рассматривать список.

— Если семьдесят пять, то что же останется в результате? — спросил он как бы про себя.

— Вполне довольно останется, — тоже как будто про себя отозвался закашляк.

— Это в зависимости от того, по каким расценкам принять заказ, — подавив в себе даже потребность кашлять, продолжал думать вслух заводчик.

— Расценки могут быть приняты во внимание те, какие существуют на заводе братьев Млинаричей, — так же, точно погружённый в себя, проговорил земгусар.

— У них... у них низких расценок быть не может! — резко сказал заводчик и закашлялся.

— Тем лучше для вас, — спокойно возразил земгусар.

Спустя минуту заводчик, продолжавший внимательно изучать список и что-то подсчитывать в уме, искоса взглядывая на гостя, сказал ему решительным тоном:

— Да ведь не согласятся на такие цены, послушайте!

Земгусар встретил это спокойно.

— Кто именно не согласится? — спросил он.

— Ваше ведомство, конечно... Земгор...

— Это уж не ваша забота, а моя.

— Я понимаю, что ваша, но ведь я вовлекаюсь вами, вы понимаете, во что?

На мгновение даже вид у заводчика стал испуганный, так что земгусар улыбулся одним углом рта.

— Я вас вовлекаю только в исполнение военного заказа... которого вы не получите, если будете так долго раздумывать над сущими пустяками!

Заводчик ещё раз посмотрел на его сапоги, потом на список, нервно похрустел костлявыми пальцами и сказал, наконец, невнятно:

— Хорошо, что ж... Под вашу ответственность... Хотя я вас и не знаю, впрочем.

Земгусар неторопливо вынул бумажник, а из него свою визитную карточку, на которой было напечатано: — Илья Галактионович Лепетов.

Выйдя через четверть часа из номера заводчика, земгусар завернул на Крещатик и остановился перед витриной одного из ювелирных магазинов, в которой на фоне белоснежной ваты привлекающе поблёскивали изумруды, рубины, бриллианты.

Камни были некрупные и невысокой цены, но он не сомневался, что хозяин магазина покажет ему и что-нибудь приличное, спрятанное им поглубже и подалее и ожидающее денежных покупателей.

Хозяин, — человек южного типа, весьма упитанный, но тем не менее старавшийся казаться оживлённым, лёгким, весёлым, говоривший с едва уловимым акцентом, услышав от него, что он хотел бы видеть что-нибудь стоящее внимания, спросил его почти на ухо:

— А на какую цену, например?.. Тысяч на... десять, а?

— Можно и больше, — солидно ответил Лепетов.

— На пятнадцать?.. На двадцать, а? — испытующе глядя, еле шевелил толстыми бритыми губами владелец магазина.

— Можно и больше, — тем же тоном, как и прежде, сказал Лепетов.

Тогда продавец драгоценностей стре-

мительно открыл перед ним дверцу своего прилавка и сказал таинственно:

— Милости прошу сюда!

В маленькой комнатке сзади магазина земгусар Лепетов просидел больше, чем в номере заводчика, хотя владелец драгоценных камней показал ему всего только три солитера, сопроводив это, правда, целым трактатом о бриллиантах вообще и предлагаемых камнях в частности.

Увлекаясь, он усиливал акцент, но, даже и увлекаясь, не переставал внимательно наблюдать за пальцами своего состоятельного покупателя, разглядывавшего то один, то другой камень в лупу, причём остальные два камня он проворно в это время припрятывал.

Лепетов остановился, наконец, на самом крупном и самом безукоризненном по чистоте и опранке. Цена его была высока, но гораздо ниже цены семидесяти пяти тысяч, которые он считал уже «заработанными» в этот день.

Почтительно провожая его, говорил владелец магазина, впадая в философский тон:

— Ничего нет вечного, конечно, разумеется, но бумажных денег ведь, например скажем, египетские фараоны и не вводили и даже и представить их тоже никак не могли, не так ли? А что же касается камней, то вам это и без меня очень должно быть хорошо известно, сколько у них камней было в ихних коронах, а также у ихних жён в разных там браслетах... уверяю вас, вы сделали сегодня превосходнейший ход!.. А что касается меня лично, то я-я... я, может быть, даже сделал большую глупость, а?.. Как мы можем знать, что нас ожидает в будущем?

И толстяк даже губы выпятил, отчего рыхлое лицо его стало задумчивым, и выпуклые чёрные глаза налились скорбью.

Но он не задумывался и не скорбел, когда проводил покупателя; напротив, он весьма довольно потёр руки: на деньги, которые он получил с земгусара, он должен был в тот же день купить по случаю другой бриллиант, гораздо более, почти вдвое более ценный,

и если появлялась у него тень заботы, то только о том, чтобы тот бриллиант не попал в другие руки, поэтому он поспешил к телефону навести нужную справку.

В Киеве, конечно, много было всяких учреждений и баз, обслуживавших фронт, но гораздо больше игорных домов, кафе-штанганов и мелких ресторанов, где с раннего вечера и до утра дым стоял коромыслом, где запрещённую к продаже водку, а чаще разбавленную водою спирт подавали в бутылках изпод сельтерской воды, а для того, чтобы заказать вина, кутилы говорили официанткам: «Смородинной!»

С наступлением вечера центральные улицы и скверы становились непроходимыми от вполне доступных и очень назойливых женщин, а понятие, — приблизительно конечно, — о том, сколько среди этих густых толп немецких шпионок, имели только в штабе контрразведки действующих австро-германских войск на русском фронте.

5.

Около Херсона в нескольких деревнях и сёлах расквартированы были по хатам тихие помещанские из городской больницы для умалишённых. Отчасти признавалось при этом врачами, что несложный, но занимательный труд душевнобольных в сельском хозяйстве полезен будет для их здоровья, отчасти — и главным образом — преследовалось этой мерой то, что очищалось на окраине города большое и вполне оборудованное помещение под госпиталь для раненых бойцов. В хатах же, чуть только убеждались, что бормочущие про себя и имеющие разные другие странности люди ни пожаров делать, ни убивать кого-либо не замышляют, в работе очень усердны, если за ними следить, а в еде неприхотливы, довольно охотно их держали, — так много ушло из деревни в армию рабочих рук, так затосковали поля по пахарям.

В госпитале, который открылся в бывшем доме для душевнобольных, начала работать, записавшись на курсы

сестёр милосердия, библиотекаряша херсонской публичной библиотеки Наталья Сергеевна Веригина.

Праторщику Ливенцеву на фронт она писала гораздо больше писем, чем отправляла, и в одном из неотправленных ею была такая фраза: «Война — уничтожение, искажение и смерть всего существующего, — как же можно её понять, если человек не сошёл ещё с ума?»... Это написала она после того, как в первый раз побывала в госпитале, мимо которого ходила иногда прежде, и на дворе которого или в саду за зелёной решёткой ограды видела больных в жёлтых халатах из того же самого, как ей казалось, грубого толстого сукна, из которого шили солдатские шинели.

Она знала, конечно, что психика многих не выдерживает ужасов боя даже одного артиллерийского, не рукопашного, и тогда между серожёлтой шинелью и жёлтым, верблюжьего сукна, халатом была всего одна ступенька: только что был солдатом, — и вот уже нет солдата, и даже нет человека, которому ничто человеческое не чуждо, есть какая-то злобная насмешка над человеком, вроде отражения лица на ярко начищенном толчёным кирпичом медном самоваре.

Война поразила её чрезвычайно ещё в самом начале, летом 14 года, однако она, как и очень многие, полагала, что несколько месяцев сумасшествия, и наступит благодетельный кризис, и внешне заболевшее человечество пойдёт на поправку. Но болезнь — война — стала затяжной, — вот уже почти два года войны, и кто может сказать, когда она окончится и чем окончится? Она искала около себя пророка и не находила; она спрашивала объяснений тому, что происходит, у тех, кто казались ей умными, но умные говорили или то, что для неё самой представлялось, как очевидная глупость, или то, что оказывалось глупостью через месяц, два, три.

В том же неотправленном письме она писала Ливенцеву: «Если нельзя наперёд сказать, как распорядится со-

бою или своими ближними сумасшедший, то не излишне ли храбры бывают иные люди, которые берутся предсказывать, как пойдёт дальше война и чем она и когда окончится?»

Она была всегда в числе лучших учениц, когда училась в гимназии, потому что с детства любила книги. Детские вопросы: «Почему? Зачем? Как?» не были ею забыты и тогда, когда она стала взрослой. За любовь к книгам её отец, служивший в земской управе, называл её «книжной молью». Учиться на тройки ей казалось как-то даже непостижимым. Велико было её изумление, когда вычитала она где-то, ещё будучи гимназисткой, что генерал Скобелев, знаменитый «белый генерал», — потому «белый», что разъезжал под турецкими пулями на белом коне, в белом мундире и в белой фуражке, — что он, герой русско-турецкой войны 1877—78 годов, умница и красавец, окончил академию генерального штаба последним по успеваемости.

— Папа, как же он мог это допустить? — ошеломлённая, спрашивала она отца. — Что же, у него совсем не было, значит, самолюбия?

— А разве тут в самолюбии дело? — спрашивал её отец.

— Конечно, только в самолюбии, — упорствовала она. — А в чём же ещё? Что же это, у других хватало мозгов, чтобы всё усвоить, что у них там в академии проходили, а у Скобелева не хватало? Так, что ли?

— А, может быть, просто не придавал он значения тому, что там изучалось, — пробовал решить эту задачу отец, но она оставалась неразрешимой для дочери.

— Все равно, папа, пусть даже не придавал значения! Я, может быть, тоже не придаю значения какому-нибудь там подобию треугольников и даже не знаю, зачем это мне знать, однако же я это учила и знала, когда меня спросили, когда меня к доске вызвал наш математик... А почему же Скобелеву было не стыдно знать всё хуже, чем все другие?

Отец потёр переносицу и сказал кротко, но решительно:

— Не знаю, почему. Отстань!

Герои пленяли воображение девочки Наташи Веригиной, но, чем больше она выросла, тем меньше она их видела около себя в жизни, — наконец, они вообще как-то конфузливо исчезли, а она поняла, что принимала за героев самых заурядных людей, которые говорили ей пошлости, и когда она возмущалась, удивлённо пожимали плечами.

— Как же это, послушайте, — спрашивали они, — при такой красивой внешности, как у вас, вы, значит, совершенно лишены темперамента?

Это было время, когда выходили одни за другими всевозможные «Панорамы красоты» и «Альбомы парижских красавиц» и появились такие журналы, как «Вопросы пола» и другие подобные; когда разнузданные саврасы как в обих столицах, так и повсюду в провинциальных городах, основывали «Лиги свободной любви», в которые всеми мерами вовлекали учащихся старших классов средних школ и студентов; это была к тому же зловещая пора, когда вылезли из подполья жизнененавистники, проповедники самоубийства, трактовавшие об этом вполне безвозбранно в стихах и прозе, и число самоубийств среди молодёжи эпидемически росло.

Нужно было устоять в этом крутящемся около и часто сшибающем с ног мутном потоке; Наташа Веригина устояла. Но вместе с тем выросла в ней замкнутость, отчуждённость, подозрительность к каждому, кто стремился подойти к ней поближе.

Однажды вздумалось подойти так к ней тому самому преподавателю математики, который вызывал как-то её к доске отвечать на вопрос о случаях подобия треугольников. Это был семейный человек, отец нескольких детей, но он пустился весьма сбивчиво уверять её, что только она одна может сделать его счастливым, если согласится уехать с ним куда-то в Приамурье, где ему предлагают место инспектора; что он навсегда бросит ради неё жену, загу-

бившую его жизнь, и детей от неё, которых он не любит...

Очень испуганная таким горячим признанием в любви, она, не дослушав своего бывшего педагога, бросилась бегом к его жене, которой тут же всё рассказала. Педагог потом, на другой день, стрелялся, но неудачно, а когда поправился от потрясения, уехал в Приамурье вместе со своим многочисленным семейством, она же пришла к мысли, что ей тоже лучше будет переменить город. Так она попала на работу в один из южных исторических музеев, — очень хорошее, по её мнению, место, где можно бы было спрятаться на время и оглядеться.

Ей было тогда почти двадцать лет, — возраст, когда девушки особенно зорко глядят по сторонам, много думают о костюме и причёске к лицу, вырабатывают себе походку и манеру разговаривать в одних случаях так, в других иначе, вообще складываются на продолжительное время, — а возле неё была древность: счастливые находки при раскопках степных курганов и могил каких-то знатных и властных людей очень седой старины.

Она получала неизменные пятёрки у историка, когда училась, ей очень нравился этот предмет; она прочитала много исторических романов переводных и русских, но, странно, только этот южный музей заставил её почувствовать шаги истории рядом с собою, скорее — за своими плечами, чем рядом.

Охотнее всего она занималась бы историей, если бы ей удалось поступить на высшие женские курсы, но для этого не было возможности. Отец преждевременно умер от случайной болезни, мать осталась без средств, а здоровье её вообще не было крепким. Она пристально глядела по сторонам, чтобы устроить дочь, но шли недели и месяцы, несколько подруг Наташи Веригиной по гимназии вышли замуж, за неё же если и сватался кто, то только старик-нотариус, — человек, правда, состоятельный, имевший двухэтажный собственный дом... Мать сказала об

этом дочери робко, дочь отвергла этого искателя её руки с негодованием.

— Ведь это ты знаешь, мама, как называется! — сказала она, блеснув потемневшими глазами, но больше ничего к этим словам не добавила и тут же поспешно ушла из комнаты, хотя куда-то идти ей было не нужно.

— Она у меня выросла недотрога какая-то, бог с ней, — говорила о ней мать соседкам. — Тяжело, похоже так, придётся ей жить на свете.

Мать была женщина боязливая; она уверяла, что и болеет «не то чтобы от простуды, а больше с испуга». Она как будто выжидала случая, чтобы ещё раз и окончательно испугаться и тогда уже умереть. В первые же дни после начала войны ей стало особенно плохо, и она тихо умерла ночью в начале августа.

Так, в двадцать два года, Наталья Сергеевна осталась одна (если не считать дальних родственников в городе Феодосии) в мире очень большом и строгом, занятом допдна очень большим и страшным делом — войною, в которую были втянуты непосредственно десятки миллионов людей в разных странах.

Было от чего растеряться и съёжиться, заполнить в щель, но Наталья Сергеевна не съёжилась, и библиотеку, в которую поступила после музея, совсем не сочла щелью.

Книги были её друзьями детства, книги она любила, к книгам она и пришла со своими вопросами, теперь уже далеко не детскими: как могло культурное человечество допустить такую войну? Кто виноват в этой войне? Неужели может начаться другая подобная со временем, долгие годы спустя после этой ужасной войны?..

Она так хотела, чтобы это была последняя война, что сразу уверовала, когда прочитала: «Этой войною объявлена война войне!» Ради того, чтобы быть соучастницей войны против войны же, она находила в себе силы, способные перенести что угодно. Эта цель ей осветила и освятила всё, эта цель её захватила.

Большой флаком духов л'Ориган, который она купила как-раз перед войною, продолжал попрежнему стоять на её туалетном столике, и тратила духи она скупно, так как в продаже их становилось всё меньше и меньше; она неизменно обвивала вокруг головы свои тяжёлые, длинные, золотисто-пепельные косы; в свободное время она привычно играла на несколько расстроенном пианино; старые материнские ширмы с японскими серебряными ибисами, стоявшими на берегу безукоризненно-синего моря под сенью приятно цветущих вишен, отделяли от остальной комнаты её девическую кровать... всё это было и теперь, как раньше, но новое и главное было найдено и оставалось с нею в этом старом.

Она твёрдо поверила в то, что вслед за этой войной начнётся революция в России и непременно победит, а вслед за революцией в России начнётся революция во всех других странах и тоже победит; тогда-то и исчезнут все причины для войны, и войн больше уже нигде не будет.

Её красивое лицо, строгое в линиях, как лица античных статуй, как-то не было приспособлено к улыбке ещё и в детстве; теперь же она чрезвычайно редко находила в жизни поводов для улыбок. Это не было в ней следствием сухости ума и характера, но, пожалуй, в этом выявлялась настороженность одиночки, стремящейся сохранить своё достоинство.

С тех пор, как она начала выдавать книги в библиотеке, она чрезвычайно внимательно вглядывалась в лица и манеры приходивших за книгами. Очень часто случалось, что абонент, остановивший на себе чем-нибудь её пристальный взгляд, просил ту или иную, совсем неходовую книгу. Неизменно потом с этой книгой она знакомилась сама.

Так было и с прапорщиком Ливенцевым, зашедшим в библиотеку, чтобы спросить здесь то, чего никто до него не спрашивал: «Размышления о том, что важно для себя самого» — Марка

Аврелия Антония, римского императора, стойка на троне цезарей.

Конечно, после того, как Ливенцев возвратил ей эту книжку в серой обложке, она внимательно прочитала её с первой страницы до последней, познакомившись, между прочим, из предисловия с тем, что Марк Аврелий с юности возненавидел войну, но судьба, точно в насмешку, возведя его в сан императора, заставила его двадцать лет воевать с маркоманами, квадами, парфянами, сарматами и в заключение — умереть во время одного из походов.

Эта небольшая, но полная мысли книга как будто подчеркнула красной чертой то не совсем обычное, что она отметила в лице Ливенцева. Наталья Сергеевна, став библиотекаршей, переначала для себя известную поговорку, и она звучала по её так: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты таков».

Если Ливенцев обратил на неё особенное внимание потому, что она оказалась чем-то непередаваемым пожатием на его сестру Катю, в двадцать лет умершую от дифтерита, то и Наталья Сергеевна, в свою очередь, поняла, что чем-то он не похож на других, которых она до того встречала, а главное, что он ей почему-то не чужой, как бывали иные, что с ним она может говорить без подозрений и опасений, почти как сама с собой.

Долго говорить с ним, однако, не пришлось, — полк его ушёл из Херсона на Юго-Западный фронт в армию «особого назначения», как первоначально именовалась армия генерала Щербачёва, ставшая впоследствии просто седьмою. Ливенцев уехал, но почему-то осталась забота о нём, дума о нём, как этого не случалось ни с кем другим из познакомившихся с ней офицеров, также отправленных на фронт. Ливенцев не знал того, какою радостью светилась она вся, когда получила от него первое письмо.

Это была даже и для неё самой небывалая радость. Придя домой и увидев на дворе пятилетнего мальчика со-

седей, к которому до того была вполне равнодушна, она вдруг непроизвольно как-то закружила его и даже подняла так, что его чумазое личико пришлось на высоте её лица, а голубые глаза её заулыбались его прижмуренным карим глазёнкам.

Ливенцев писал ей мало и редко, однако, она не забывала его. Напротив, каждое новое письмо сближало её с ним всё больше, связывало всё крепче, и когда она прочитала в одном из таких писем, что он ранен и лежит в тыловом лазарете, ничто не могло удерживать её от желания непременно и как можно скорее его увидеть.

Она приехала, и счастьем для неё была его сияющая радость, когда он стоял на верхней площадке лестницы, прислонясь к стене, чтобы не упасть, и смотрел, как она поднималась. А между тем и в этот её приезд он не говорил ей тех горячечных слов, какие слетали к ней, беспорядочно путаясь одно с другим, из уст другого математика, педагога, и она вполне была уверена в том, что Ливенцев даже и не подумал бы стреляться, если бы она ответила на его письмо двумя-тремя жёсткими фразами, что, здоровый или раненый, он ей вообще не нужен.

Разве она отговаривала его, когда он сказал ей во время того свидания, что, поправившись, снова поедет на фронт? Нет, она понимала, что говорить подобного нельзя, — не то время: гнёт времени, в которое жили они оба, давил все такие слова, чуть только они заждались в мозгу.

Она уехала снова к себе, к своим книгам, он — на фронт. Зато теперь для неё гораздо отчётливее, чем это было раньше, стал фронт: он не расплывался от Риги до Румынии, а стужился около одной точки, именно там, где был или мог быть прапорщик Ливенцев.

Она не знала точно, где был его полк, но на карте, которая висела у неё на стене рядом с изображёнными на открытках портретами композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, Грига, — был помечен город Кре-

менец, о котором упоминал Ливенцев в одном письме. Где-то около Кременца, западнее его, она представляла полк, в котором Ливенцев командовал ротой. Карта была небольшая, — сколько места мог занять на ней пехотный полк? Не больше, как точку.

Туда она писала письма, оттуда она ждала каждый день письма. С большой тревогой припадала она глазами к каждому газетному листу, в котором печатались обычно длинные списки раненых и больных офицеров, эвакуированных в тот или иной город в госпиталь. Это были для неё самые жуткие минуты, и успокаивалась она, только когда дочитывала списки до конца. Но тут же начинала она думать: «Ведь это было бы ещё хорошо, если бы он только был ранен или заболел, а если убит...»

Но в письмах своих она избегала выражений тревоги за его жизнь. Она не посылала писем с тревожными вопросами, продиктованными её сердцем, если даже они и писались. Она сознательно старалась изгнать всё личное, как лишнее. Не писала она и о том, что ходит на курсы сестёр милосердия, повторяет то, что учила когда-то в гимназии по анатомии и физиологии человеческого тела, только учебник её теперь гораздо полнее, и относится она к этим предметам несравненно серьёзнее.

Писать о том, что делает она, казалось ей ненужным, а главное, скучным. Что может сделать она здесь, в Херсоне, где, правда, много стало госпиталей, но откуда всё-таки так далеко до фронта? Там решается судьба России, судьба всего человечества, а что же здесь? — Только скученность да дороговизна и тоска.

Однажды на улице увидела она: шли в обнимку двое пьяных и под гармошку пели чудовищно хриплыми головами:

Как служил я в дворниках,
Звали меня Воло-одя,
А теперь я прапорщик,
Ваше благо-родье!..

Она возмущённо остановилась: ведь Ливенцев, Николай Иванович, был тоже прапорщик. Кто мог о прапорщиках, из которых так много уже погибло за родину, и ещё больше, быть может, погибнет, кто мог о них сложить такую глупую песню?.. Однако дальше песня была ещё возмутительнее и глупее:

Как жила я в горничных,
Звали меня Луке-ерья,
А теперь я — барышня,
Сестра милосердия!

— Подлые слова какие! — вслух возмущалась она и оглядывалась, не возмутится ли кто-нибудь ещё этим хрипучим и скверным рёвом, но все проходили мимо, казалось бы, не слыша, не замечая, и пьяные, наконец, свернули в переулок, и оттуда доносилась только одна их гармошка.

В этот день долго не могла она притти в себя от оскорбления, которое как будто намеренно было нанесено и ей и Ливенцеву, но вечером она получила от него письмо, и это перекрыло и смыло обиду.

Письмо было коротенькое, — письмецо, а не письмо, — но оно было написано тотчас же после штурма, когда 402-му полку удалось вместе с другими проникнуть в третью линию укреплений венгерцев и отогнать их потом к реке Икве.

«Жив-здоров и невредим, как это ни странно, — писал Ливенцев. — Сегодня нас обстреливали химическими снарядами, но наши батареи вели себя выше похвал, и вот, благодаря им, мы уже ушли далеко вперёд. Если мы будем и впредь шагать так исполнински, то держись Франц-Иосиф крепче за хвост Вильгельма. Вас, Наталья Сергеевна, всегда помню, вы всегда рядом со мною! Ваш Н. Ливенцев».

Вот и всё, что было наспех написано карандашом, но ничего больше не было ей нужно для того, чтобы почувствовать себя действительно с ним рядом.

Глава пятая ДИВИЗИЯ НА ОТДЫХЕ

1.

Открывшаяся утром 6 (19) июня усиленная артиллерийская пальба на фронте 3-й армии, принятая было Брусиловым за начало обещанного Алексеевым наступления всего Западного фронта, в этот же день окончилась ничем: зря были истрачены снаряды. Эверт телеграммой в Ставку сообщил, что поднялась от дождей вода в Припяти, и это явится неодолимым препятствием для наступления. В то же время он выражал уверенность, что через 12—16 дней, когда начнут англо-французы свои действия на реке Сомме, вполне будет готов к наступлению и его фронт.

Нельзя было отказать этому хитрецу в том, что воевал он очень искусно, хотя и не с немцами, а с Брусиловым и со Ставкой. Вместо виленского направления, на котором Ставка долгое время готовила для немцев сокрушительный удар, он подсунил направление на Барановичи, и с этим, недолго думая, согласились в Ставке.

Но от Барановичей прямая железная дорога вела на Брест-Литовск, куда должны были пробиваться и войска Брусилова, если бы им удалось взять Ковель.

Узнав о перемене направления удара, который готовил Эверт, Брусилов готов уже был согласиться с ним: чем больше сил русских пошло бы на Ковель—Брест, тем грандиознее был бы успех. Однако Эверт, как оказалось немного спустя, совсем не имел в виду ни Бреста, ни прямого содействия усилиям Брусилова. Его окончательный план был таков: «Перенести удар с виленского на барановичское направление с тем, чтобы, угрожая фронту Лида—Гродно, заставить противника очистить позиции под Вильно».

Основная цель действий Западного фронта, таким образом, не менялась:— Вильно, но только подход к этому городу предлагался фланговый вместо ло-

бового, с открытием наступательных действий на полтора-два километра южнее и с непрменной надеждой на то, что испуганные таким оборотом дела немцы сами уйдут от Вильно.

Но мало этого: Эверт коварно обосновывал свой план «перспективами скорого взятия Ковеля и Пинска» и только при этом условии предполагал ударить на Барановичи. Так как согласованности действий требовал от русского фронта и генералиссимус Жоффр, — хотя и поздравивший Брусилова с блестящим успехом, но тем не менее сетовавший в своих кругах на то, что он открыл действия весьма преждевременно, — Ставка пошла навстречу Эверту и в этом. Оттяжка наступления Западного фронта была узаконена, и Брусилов оставался один против отовсюду скопавшихся на его фронте австро-германцев, отлично понимая, что Ковель не только с каждым днём — с каждым часом будет становиться сильнее и сильнее, превращаясь, как писали немецкие газеты, в новый Верден.

Правда, австрийские газеты так же писали и о Черновицах, главном городе Буковины. Не было столь сильных похвал, которыми не награждали бы в своих отзывах военные корреспонденты строителей черновицких укреплений, военных инженеров, преимущественно германцев. Это был сплошной железобетон и непроходимый лес провололочных заграждений, не говоря о густоте артиллерии всех калибров вплоть до двенадцатидюймовок и о бесчисленных пулемётных гнездах.

Против Черновиц действовали части 9-й армии под руководством самого командующего армией генерала Лечицкого, который так же не был академиком, как и Брусилов, но был настоящим боевым генералом.

Хотя и менее важный, чем у Каледина, у Лечицкого тоже был весьма ответственный участок фронта: от успехов 9-й армии зависела температура политических деятелей и правительства Румынии; — под её ударами трещал весь правый фланг австро-германского фронта на востоке, — её продвижение вперёд

непосредственно угрожало Венгрии, могло бы угрожать и Львову, если бы Лечицкий объединил свой наступательный порыв с соседней 7-й армией и тем помог бы слабым численно частям генерала Щербачёва.

Это стало ясным впоследствии австрийским историкам войны, которые писали так: «Если бы Щербачёв и Лечицкий продолжали в эти критические дни энергичнее наступление на разбитого противника, может быть, весь фронт был бы разгромлен». Но трудно бывает иногда хорошо рассмотреть вблизи то, что отчётливо видно только с большого расстояния, тем более, что Черновицы не задержали надолго движения русских дивизий: к этому сильно укрепленному городу части 9-й армии подошли в конце мая, а 5 (18) июня вошли в него.

Донесение от Лечицкого об этом Брусилов получил почти одновременно со столичными газетами от 2 июня, в которых приводилась речь в Государственной Думе товарища министра внутренних дел графа Бобринского по крестьянскому вопросу. Доказывая несвоевременность этого вопроса, Бобринский патетически восклицал:

«Мы тут поворим об освобождении крестьян, о равноправии евреев, а на душе щемит совсем другое. Готовишься вам отвечать и боишься, как бы не сказать: «А Брусилов взял Черновицы или не взял?»»

Только 6 июня вечером получил Брусилов подробности взятия Черновиц, где более слабая численно тяжёлая артиллерия русских войск одержала верх над сильнейшей австрийской.

Сектор за сектором самоотверженная пехота занимала с бою то, что подвергалось продолжительному орудиному обстрелу, и вот, к четырём часам дня 4 июня все предместные укрепления, тянувшиеся полукругом по левому берегу реки Прута, оказались в руках русских, а последние отступавшие на правый берег австрийские части взрывали за собой мосты.

В это время горел уже черновицкий вокзал, один за другим взрывались и горели склады, приводились в негод-

ность батареи тяжёлых орудий, которые невозможно было вывезти вместе с уводившимися к реке Серету остатками гарнизона.

Австрийцы оставались верны себе и теперь, покидая свой Верден: они отступали стремительно. Это было не то, что называется беспорядочным, паническим бегством, однако этого нельзя было назвать и форсированным маршем: это было нечто среднее между тем и другим, изобретенное австрийским командованием.

Река Прут, лишённая мостов, должна была задержать русские войска и действительно задержала на целые сутки, благодаря чему число пленных и крупных трофеев в занятом городе оказалось невелико. Впрочем, ещё до занятия Черновиц, успешно продвигаясь вперёд, 9-я армия захватила около сорока тысяч пленных и много трофеев, разгромив 7-ю австрийскую армию, которой командовал генерал Пфляндер-Балтин; это остатки разбитых дивизий, девяти пехотных и четырёх кавалерийских, искали теперь спасения частью у реки Серета, частью — в предгорьях Карпат.

У соседа Лечицкого, генерала Щербачёва, успехи были в меру его сил. Выдвинувшись в первые дни наступления, он теперь укреплял занятое, и Брусилов не был обеспокоен положением дел на его участке фронта. В 11-й армии, у Сахарова, было вполне устойчиво, хотя противник там и начинал местами переходить в контратаки.

Совсем другое было у Каледина: третий день уже вела 8-я армия жестокие бои с немцами. Местами все натиски были отбиты, местами фронт несколько вогнулся, но туда направлялись резервы, и Брусилов с часу на час ждал, что немцы всё-таки будут отброшены.

К вечеру 6 июня одно за другим поступило несколько донесений, успокоивших Брусилова: из общей сводки их было ясно, что тот мешок, который готовил Линзинген правому флангу 8-й армии, был дырявый мешок; понесся большие потери, немцы пока затихли.

А к исходу дня пришло сообщение о смерти одного из главных инициато-

ров войны, генерала Мольтке, от разрыва сердца, и Брусилов принял это с несколько непривычным для чинов его штаба (дело было за ужином) возбуждением.

— Вот так-то, господа, бывает в истории, — говорил он, повысив голос: — начинают иные прохвосты гладью, а кончают гадью. С этим Мольтке именно так и вышло. Что племянник вышел не в дядю, — это ещё туда-сюда: Мольтке-старший — одно, а Мольтке-младший — другое; Наполеон 1-й — одно, а Наполеон III — совсем другое, — что тут поделаешь, если не в имени дело, а в способностях? Но ведь поверили, поверили в имя, — вот в чём помрачение умов и Вильгельма и прочих! Раз Мольтке, значит, и дело в шляпе. Почему же, спрашивается, Мольтке этому было в себя не поверить, если в него поверили? Это уж в порядке вещей. И вот ему поручено составить план войны с Францией и Россией. Почему же ему не составить этого плана, если он — первое лицо в армии, и всё, значит, ему ясно, как на ладони? И план войны крупнейшего масштаба прохвост этот составляет так, что она у него заканчивается в четыре месяца полной победой Германии. «В первые два месяца разгромим Францию, а потом поговорим с Россией». Буквальные его слова на заседании в Потсдамском дворце, — буквальные и, конечно, под гром аплодисментов. Ведь если бы не он, не этот Мольтке, то, господа, война, может быть, и не началась два года назад: это он, Мольтке, её развязал! Пусть она назревала, пусть к ней все готовились, но нужен был этакий пророк, для которого всё будущее ясно, как в телескоп. Астролог, маг и волшебник, кудесник, — вот кто был нужен, — и он явился — тут как тут, сам начальник штаба армии, носитель славного имени, генерал Мольтке, — он не только уверяет в победе, — в этом и без него Берлин был уверен, — он сроки устанавливает, да ведь какие для всех лестные: четыре месяца!.. Ну, как же тут удержаться — не объявить войны? — Вот и загремели пушки!.. А в какой это лето-

писи, — Киевской, кажется, говорится тоже об одном подобном чудеснике? Появился волхв и собрал народ: всё наперёд знает. Едет мимо князь, — тут память мне изменила... Глеб, кажется? — Ну, всё равно, пусть Глеб. Остановил лошадь. — Что такое? — Предсказатель. — Всё знаешь наперёд? — Всё знаю, княже. — И что с тобою сегодня случиться может, ты тоже знаешь? — Знаю, княже. — А что же именно? — Я совершу великие чудеса. — Нет, — сказал князь, — никаких чудес ты не совершишь. — Вынул свой меч и убил чудесника... Если бы судьба была этим князем и убила бы волхва, Мольтке, не теперь, — что же теперь, когда уж он своё подлое дело сделал, — а гораздо раньше, месяца так за два до войны, как он её разработал в своём плане, — было бы гораздо умнее, господа, и мы с вами не ужинали бы теперь в Бердичеве!

Отчасти это, по существу, совершенно неважное обстоятельство, — смерть уже отставленного от главной роли в германской армии Мольтке, отчасти же то, что как-раз после ужина получилась телеграмма от генерала Леша, дало мыслям Брусилова толчок, который, быть может, и сам он в другое время счёл бы необоснованным; но когда человек усиленно стремится к одной цели, он готов пустить в дело все средства, обещающие верный успех.

Перед ужином, когда шло ещё 6-е июня, была отправлена Брусиловым директива Каледина, в которой были такие слова: «При обстановке, подробности коей вам виднее, представляю вам право применить тот способ действий, который вы признаете более соответственным, т. е. или продолжать наступление и атаку противника, или перейти к обороне впредь до сосредоточения всех наших сил... Сего числа в Луцке, Киверцах и Клевани начинают высаживаться головные эшелоны 1-го армейского корпуса, который поступит в ваше распоряжение».

Тут же после ужина, когда пошёл 2-й час 7-го числа, получился ответ Каледина, в котором была такая фра-

за: «От командированных в штаб 8-й армии офицеров 3-й армии узнал об отходе к 3-й армии моих 46-го, 30-го и 5-го Сибирского корпусов. Мне об этом ничего не известно. Комбинировать действия армии могу только при полной ориентировке...»

Вслед за телеграммой Каледина подошла и телеграмма генерала Леша о действиях его 3-й армии. Конечно, это был только ответ на просьбу к нему о поддержке, но Брусилов был в таком настроении, что понял её так, как ему хотелось понять. «Прошу ходатайства вашего о скорейшем подвозе 3-го Сибирского корпуса, назначенного в Пинский район, и по возможности добавления мне тяжёлой артиллерии. Тогда, по овладении Пинским районом и обеспечения себя с севера, разовью действия на юг долиной реки Стохода. Леш».

Принять слово «ходатайства» за слово «приказания» тут было так же легко, как принять всю телеграмму, носящую характер сообщения, за донесение подчинённого своему непосредственному начальнику.

В том, что 3-я армия перешла уже в его подчинение, Брусилова убеждало и то, что доносил ему Каледин со слов офицеров 3-й армии, командированных в штаб 8-й. А Клембовский, торопясь как-нибудь объяснить то, что не было известно и ему, так же, как и Брусилову, начал вчитываться в директиву Ставки, полученную за три дня до того, ту самую директиву, которая так вывела из равновесия Брусилова, что не была им дочитана до конца.

Там было два пункта, показавшиеся даже и Клембовскому, не только самому Брусилову, проливающим свет на запутанность отношений с 3-й армией. Во-первых: «Войска, сосредоточиваемые на Пинском направлении, обязуются не позже 6 июня начать подготовку атаки для овладения Пинским районом, содействуя этим удару на Ковель»... и, во-вторых: «Главкомандующий Юго-Западным фронтом руководит операцией по овладению Ковелем и направлением дальнейших действий из этого района до той минуты, пока обстановка позво-

лит вступить в командование соответствующей армией начальникам Западного фронта...»

— Послушайте, Владислав Наполеонович, — как же это мы с вами упустили из вида то, что даже и Эверт, при всём своём нежелании нам помочь, принуждён был понять, как следует, а? — с упреком в усталом за день голосе обратился к своему начальнику штаба Брусилов. — Ведь раз я должен им, этим Эвертам, уступить «командование соответствующей армией», то что же это значит? Это значит, конечно, что я должен сначала вступить в командование армией, «содействующей удару на Ковель», то-есть, 3-й, не так ли?

— С одной стороны, быть может, тут и есть доля правды, но с другой... — начал было обдумывать ответ Клембовский, но Брусилов нетерпеливо перебил:

— Что «с другой»? Ничего нет «с другой»! И все поняли это, как надо, только мы не поняли, — как раз те, кому это нужнее всего!..

— Точного приказа об этом мы не получили, — вот что я хочу сказать, Алексей Алексеевич.

— Ах, боже мой! Захотели вы непременно точности, когда вся директива вообще писана на каком то эзоповом языке! — раздражённо отмахнулся Брусилов.

И Клембовский, энергия которого приходила уже к концу, спросил вяло:

— Если даже я только теперь верно понял этот эзопов язык, то что же прикажете теперь предпринять?

— Что прикажу? Как «что прикажу»? Теперь мой правый фланг стал неизмеримо сильнее, и что мне может сделать теперь этот Линзинген со своим сбродом? — выкрикнул Брусилов. — Решительно ничего! А потому вот что я прикажу: пожалуйста, пишите сейчас же директиву всем моим армиям, начиная с 3-й... Какой это будет исходящий номер?

— Это будет № 1795, — справился Клембовский.

— Ну, вот, и пишите так...

Директива № 1795 была длинная и писалась довольно долго. 3-й армии в

ней ставилось ближайшей задачей овладение Пинским районом и массивом Городок — Галузия; всем остальным своим армиям Брусилов приказывал прочно закрепиться на занимаемых позициях.

Он улёгся спать с полным сознанием того, что теперь фронт его прочен, как никогда раньше не был, а ощущение силы фронта преобразовалось в ощущение небывалой силы в нём самом.

Но стоило только ему проснуться, чтобы упасть с этих прочных облаков снова на прежнюю зыбкую землю.

Эверт, чуть только ознакомился с директивой Брусилова, телеграфировал Алексею: «Директивой 1795 главнокомандующий даёт приказания подчинённой мне 3-й армии, считая таковую подчинённой себе... Прошу разъяснения».

Алексеев немедленно телеграфировал ему и Брусилову: «Подчинение командарма 3 и пинской группы войск главнокомандующему противоречит высочайшим указаниям, подлежащим отмене... Как разграничительная линия между фронтами, так и порядок управления должны оставаться неизменными, впредь до особого высочайшего указания, которое точно определит состав смежных армий по корпусам»...

Ставка осталась верной себе. Она могла бы схватиться за тот спасательный круг, который кинул ей Брусилов, по своему, но в интересах дела понявший её туманную директиву, но решила оттолкнуть этот круг. Чтобы не оскорбить Эверта, который ничего не делал и, очевидно для всех, ничто не собирався делать, занимаясь только отписками, она решила оскорбить Брусилова, и тот был действительно оскорблён.

Все штабные заметили, что за обедом он сидел непривычно для них, глядя исподлобья, дышал тяжело и пил вина неумеренно много, точно его мучила жажда. Вдруг он сказал, ни к кому не обращаясь, как будто отвечая своим назойливым мыслям:

— Нет, как хотите, — нет!.. Это не Эверт, а какой-то Выверт... Пусть-ка он просит о перемене своей фамилии...

Клембовский раза два пытался заго-

ворить со своим начальником, но он только невидяще всматривался в него и тут же наполнял вином свой стакан. Клембовский заботливо отставлял от него бутылку, но он, поднимаясь, дотягивался до неё снова. Не ел ничего, не дотрагивался ни до одного из блюд, только пил. К концу обеда, который все старались закончить как можно быстрее, он сидел заметно для всех побавровевший, потом вдруг поднялся и покатнулся так, что его пришлось поддерживать.

Все тут же встали, а он пробормотал еле слышно:

— Продолжайте, господа... а я... Что касается меня... то я пойду отдохнуть...

Оглядев почти всех, он добавил гораздо более раздельно:

— Если войну не хотят вести, то я, значит... напрасно пере-старался... да! Однако же я хотел лучшего, а... а не худшего, господа!.. В конце-концов... я заслужил всё-таки право на отдых...

Поддерживаемый с одной стороны Клембовским, с другой — генералом Дельвигом, инспектором артиллерии Юго-Западного фронта, Брусилов шёл в свою спальню, стараясь всё же держаться прямее и как можно твёрже ставить старые ноги.

Когда его уложили в постель, он тут же заснул крепчайшим сном.

— Вот какой пассаж, — говорил Дельвиг Клембовскому. — Это называется довела до точки... В первый раз на моей памяти.

— Да и на моей тоже, — отозвался Клембовский. — Так работать, как Алексей Алексеевич, ведь этому изумляться нужно, а не палки ему в колёса за это ставить! Ведь он с первого же дня войны на фронте и ни разу не отдыхал как следует, — ни одного дня отпуска не имел, и в награду за это вдруг такой афронт! Человек сам берёт на себя лишнюю же ведь обузу, — ещё одну армию вдобавок к своим четырём, — так нет же, — знай сверчок свой шесток, по одежке протягивай ножки... А что касается отдыха, то кто же смеет сказать, что он его не заслу-

жил! Пусть отдыхает, — завтра встанет свежий, как ни в чём не бывало...

2.

101-я дивизия в эти дни тоже вполне заслуженно отдыхала, — так распорядился командиром Сахаров, — правда, отдыхала в ближайшем тылу, считаясь в резерве. Она понесла за три боя много потерь, и даже командир 32-го корпуса, безмятежно пребывающий в тридцативёрстной дали от своего участка фронта, генерал Федотов должен был признать, что выполнять боевые задачи без пополнений дивизия уже не могла.

Строго говоря, это был, конечно, не отдых, а просто привыкшая быть всегда впереди другой дивизии того же корпуса, 105-й дивизии, 101-я временно должна была уступить ей почётную первую линию — лицом к лицу с противником — и перейти во вторую.

Это было на речке Слоневке, не менее болотистой, чем Пляшевка, от которой только-что унесли ноги австро-венгерцы. Теперь, за Слоневкой, их разбитые части, подкреплённые свежими силами, спешно возобновляли свои старые прошлогодние позиции, а обе дивизии 32-го корпуса укреплялись на своём берегу, выжидая пополнений и нового приказа наступать.

Хотя и очень слабая уже численно, 101-я дивизия заняла длинную десятивёрстную полосу несколько в сторону от местечка Радзивиллов, стоявшего на шоссе на дороге из Дубно в город Броды. Гильчевский со своим штабом поместился в деревне Старая Баранья, откуда было всего три версты до первой линии австрийских окопов, а дивизия его расположилась, конечно, гораздо ближе к этим окопам, — таков был её отдых.

А сам Гильчевский, объезжая позиции, пытливо приглядывался к новой водной преграде между полками его и 105-й дивизией и противником.

— Ох, чуёт моё ретивое, что придёт мне и эту гниющую речку форсировать! — говорил он Протозанову. —

Есть на эту тему у какого-то старого поэта, кажется, у Некрасова:

Припевала моя матушка,
Когда стал я вояжировать:
«Будешь счастлив, Каллистратушка,
Будешь реки ты форсировать!»

Вот уж, как говорится, на роду написано! Вислу форсировал, Икву форсировал, Пляшевку, — чтоб она, проклятая, пополам пересохла, — форсировал, — теперь, — не угодно ли эту ещё!

— Эту 105-я форсировать будет, Константин Луквич, а мы уж её перейдём без хлопот по нижним мостам, всухую, — отозвался Протозанов, но Гильчевский недоверчиво покачал головой и добавил к этому жесту весьма проникновенно:

— Напрашиваться, разумеется, не буду, — ну её к чорту, эту трясину злобную, но предчувствие какое-то у меня всё-таки есть, что придётся нам тут загубить, пожалуй, не одну роту...

— А в предчувствия вы разве верите? — спросил, блеснув редкой у него улыбкой, Протозанов.

— Как вам сказать на это? — начал раздумывать вслух Гильчевский. — Говорится: «Если бы знал, где упасть, подстелил бы соломки». В том-то и горе наше, что не знаем... Однако же приходилось мне замечать что-то такое. Нападает на тебя вдруг какая-то оторопь и зтоскуешь как-то, — вроде того что: «Нет! Ни черта не выйдет, — лучше не начинать!..» Возьмёшь да и в самом деле не начнёшь. А как, скажите, пожалуйста, проверить такое? Может быть, оно и вышло бы в лучшем виде, а?

Говоря это, Гильчевский глядел на прихотливо извивавшуюся по долине между холмами Слоневку, и Протозанов, достаточно хорошо уже изучивший своего начальника, понял, что он думает ни о чём другом, как о возможности с наименьшими потерями перебросить корпус через эту речку.

— Если хорошо провести сначала разведку, то как же может не выйти? Разумеется, выйдет, — сказал Протозанов.

И Гильчевский, не перестрашивая, тоже понял, что Протозанов имеет в виду переправу войск, поэтому сказал:

— Слоневка, должно быть, оттого, что слоняется туда-сюда или, как принято говорить, — «слоны слоняет», а Пляшевка — оттого, что пляшет: только-что слова разные, а смысл один... Паршивая речка эта, однако, считается пограничной, — значит, на том берегу укрепления будут гораздо сильнее, чем на Пляшевке, — это нам надо даже и во сне помнить.

Местечко Радзивиллов стояло как раз на границе России и Австро-Венгрии, и от него через Слоневку был устроен на тот берег мост длиною не меньше, как в четверть версты, так как долина реки была очень топкой. Австрийцы успели взорвать мост, как ни поспешно они отступали, и взорвать так основательно, что только пять-шесть обломков свай торчали кое-где над водой. Прочее дерево моста, какое удалось вытащить из воды, обгорелыми, чёрными грудями валялось на берегу и около него; сделав из брёвен себе прикрытие от пуль, на берегу возились уже сапёры, стуча топорами.

По данным разведки, сильнейший узел австрийских укреплений находился у деревни Редьково, которую так же было видно в бинокль из деревни Старая Баранья, как и Радзивиллов. О том, чтобы ничто не мешало артиллерийскому обстрелу на том берегу, австрийцы позаботились заранее, ещё в первый год войны.

Местность была холмистая и лесистая, хотя леса и не шли сплошной полосой. Это были помещичьи леса, и до войны их, конечно, держали в порядке, теперь же они где заросли буйным молодняком и задичали, где пострадали от артиллерийских снарядов и пожаров, где вырубались как попало для надобностей войск и поредели заметно на глаз.

Но всё-таки, сколько хватало глаза, всюду за Слоневкой видны были леса на холмах, и Гильчевский сказал теперь уже вполне деловым тоном:

— Вот что нам надобно сделать без-

отлагательно: провести в полках обучение людей действиям в лесах. Я вижу, что противник за свою австрийскую землю будет держаться очень цепко, да ему и есть тут за что держаться, а нам надо сделать всё, что возможно, чтобы зря не губить людей. Объявить в приказе по дивизии, чтобы... Нет, в приказе этого объявлять не надо, а просто оповестить командиров полков, чтобы явились ко мне сегодня вместе со своими батальонными командирами, и то не со всеми, — это совершенно не к чему, — а только с двумя от каждого полка, — головного и замыкающего батальонов... Так будет, значит, всего двенадцать человек, — этого вполне довольно вблизи от противника. Они же передадут, что будет им сказано, остальным, а также и ротным командирам. Пошлите ординарца с бумажками, а на бумажках напишите «секретно». Самито австрийцы ушли, а шпионов своих тут, в этом местечке да и в деревнях оставили, разумеется, довольно, и в приказе объявлять ничего такого не следует. Собраться сегодня же к пятнадцати часам, притом не в штабе дивизии и даже не в деревне, а там, где будет указано старшим адъютантом, капитаном Спешневым, который их встретит.

— Слушаю, ваше превосходительство, — сказал Протозанов.

3.

Командиры полков — Николаев, Таттаров, Тернавцев — и командующий полком подполковник Печерский, а также восемь батальонных, между которыми был и прапорщик Ливенцев, собирались к назначенному часу в Старой Бараньей, откуда капитан Спешнев, давая им провожатых солдат, направлял их к опушке леса, начинавшегося недалеко за последней хатой деревни.

День был жаркий, и Гильчевский, сняв фуражку и расстегнув ворот рубахи, но всё-таки с росинками пота на носу, сидел там на пенёчке, в прохладе, а возле него, кто тоже на пенёчке, кто просто на подвёрнутом папоротнике, очень

здесь пышном, сидели два бригадных генерала — Артюхов и Алферов, — оба годами не моложе Гильчевского, оба взятые из отставки, — и Протозанов с деловой папкой в руках.

Так как 402-й полк расположен был от штаба дивизии несколько дальше, чем остальные, то Печерский с Ливенцевым и командиром первого батальона поручиком Воскобойниковым явились последними, и с ними подошёл к Гильчевскому Спешнев.

— А-а, новоиспечённый батальонный! — весьма приветливо кивнул головой Гильчевский, когда увидел Ливенцева. — Но боевой, боевой, господа, боевой! — обратился он к Артюхову и Алферову, хотя последний, как командир первой бригады, должен был знать это лучше, чем он, начальник дивизии. — Скоро получит и следующий чин и... орден, — добавил он, несколько почему-то запнувшись. — Должны уважить моё представление, должны уважить!

Со свойственной Ливенцеву остротой наблюдательности, он, отойдя несколько вместе с Воскобойниковым и, по приглашению Гильчевского, расположившись, как и другие, на сочном папоротнике, переводил глаза с одного на другого из своих сослуживцев.

Оба бригадные, — один, — Артюхов, — черноволосый, с сильной проседью, другой, — Алферов, — рыжеватый, но тоже с большой сединой, — точно сговорившись не только между собою, но и с самим Гильчевским, были мало заметны в общей жизни дивизии. Только когда 403-й и 404-й полки занимали позиции на Стыри, а 401-й и 402-й на Икве, около местечка Торговицы, со второй бригадой, как с отдельной частью, был генерал-майор Артюхов; но бригада эта пробыла на Стыри всего два-три дня и вернулась, и Артюхов снова отступил на второй план. Алферов же, по наблюдениям Ливенцева, сделанным гораздо раньше, очень тяпотившийся службой, всеми своими повадками как бы хотел доказать кому-то, что было ясно ему самому, — что должность бригадного командира не

больше как пережиток, совершенно так же ненужный в армии, как какой-нибудь червеобразный отросток слепой кишки, являющийся только местом развития аппендицита. Конечно, в случае внезапной смерти Гильчевского его должен был бы заменить старший по производству в генерал-майоры Алферов, а в случае, если бы был убит и Алферов, в командование дивизией вступил бы временно Артюхов, но при всей их готовности к этому, ни тот ни другой отнюдь не заменили бы такого начальника дивизии, как Гильчевский.

Полковника Тернавцева Ливенцев видел раньше только мельком, теперь же он пригляделся внимательно и к нему и подумал о нём вполне определённо: «Какой неудальгай!..» Не в смысле удалства, а в том смысле, что он как-то вообще не удался, по крайней мере, по внешнему своему виду: зануженный какой-то, плохо свинченный, слабосильный, может быть, исполнителенный, как Печерский, но вряд ли способный на смелый и дельный самостоятельный приказ своему полку. Это особенно бросалось в глаза, когда Ливенцев сравнивал его с выпуклым Татаровым или с суховатым с виду, однако, явно знающим себе цену Николаевым, распорядительным человеком с широким лбом и умным и твёрдым взглядом чуть-чуть исподлобья.

Очень необычайной казалась Ливенцеву вся вообще обстановка, в какую он попал: генералы на пеньках в лесу, около них командиры полков и батальонов на подъятом ими папоротнике, резкие солнечные блики на лицах и руках, — так как деревья здесь были — осины, а листва у осин негустая, — и свиристы мелкие серенькие птички с чёрными головками.

В детстве Ливенцев знал, как называются эти птички, и вот теперь, когда совсем было не до них, упорно силился вспомнить, а когда вспомнил, не мог не сказать об этом своему соседу Воскобойникову, кивнув на них:

— Это — гайки.

Воскобойников, державшийся заправским кадровиком, хотя тоже был взят

из отставки, только поглядел на него строгим взглядом недоумевающего земского начальника, каким он и был до войны, пожал укоризненно плечом и перевёл глаза на начальника дивизии, который должен был с секунды на секунду начать свою назидательную беседу. Однако Гильчевский, расслышав, что сказал Ливенцев, сам с живейшим интересом разглядывал стайку бойких, вертявых сереньких черноголовков и вдруг сказал:

— Нет-с, прапорщик, это — глушки!

— Никак нет, ваше превосходительство, — очень отчётливо представил вдруг глушек, уверенно сказал Ливенцев. — Глушки, правда, похожи на гак, только у них чёрненькие оди щёчки, а головки серенькие, и на головках маленькие хохолки.

— Вон вы до каких тонкостей доходите! — с очень довольным видом отозвался Гильчевский. — А я, значит, смешал уже божий дар с яичницей на старости лет, — глушек с гайками, — а когда-то здорово всяких этих пичужек знал. Вы из каких лесов?

— Из орловских, ваше превосходительство, — не удивясь неожиданному вопросу, тут же ответил Ливенцев.

— Значит, из Брынских, а я из кавказских... Это очень хорошо, что вы с лесами знакомы, это и вам лично и вашему батальону вполне пригодится в недалёком будущем...

Тут Гильчевский оглядел бегло остальных и продолжал уже более начальническим тоном:

— Война не окопная и не степная даже, когда местность просматривается вся насквозь невооружённым глазом, а вот такая, какую мы начали вести, господа, требует от всего командного состава, как бы это вам сказать, кое-какого одичания... Не по паркету приходится ходить, а по лесам да болотам, значит, и надо всем господам офицерам, ведущим полки, батальоны, роты, знать, — что же именно? А вот именно то, что такое лес, что такое болото, и чем они могут грозить вашим людям, и как надобно парировать разные их ковервы. Утонула, например, целая рота 404-го

полка, — кто виноват в этом? Ротный командир, — который и сам утонул тоже, — не спросясь броду, сунулся в воду, а за ним доверчиво пошла вся рота, — туда, на дно!.. Ясно, что этот ротный командир никаких снлиц в детстве в лесу не ловил западками и не охотился на диких уток, а привык только домашних кушать, — вот почему он и сам погиб и це-лу-ю роту загубил!.. Небывалый случай!.. Сколько служу, — никогда не слышала ничего подобного!.. Так или иначе, надобно, господа, чтобы такой случай печальный больше уж не имел у нас места, а для этого необходимо и вам самим знать, и ваших людей научить действиям в лесах и болотах.. Об этом именно и пойдёт у нас разговор.

Гильчевский отстегнул ещё одну пуговицу на вороте рубахи, помахал на лицо фуражкой и продолжал:

— Леса бывают, конечно, всякие: подчищенные и запущенные, молодые и старые, хвойные и лиственные, густые и редкие, и для каждого вида лесов должна применяться при наступлении своя тактика. Простейшая, например, тактическая задача: лес густой, заросли частые, высокие, — спрашивается: какую цепью в подобном лесу наступать?

Так как при этом Гильчевский едва заметно кивнул в сторону Воскобойникова, то он и понял этот кивок, как вызов для ответа, и ответил, не сомневаясь в своей правоте:

— Если лес густой, то, значит, цепь должна быть редкая, и, наоборот, если лес редкий...

— А зачем же это, чтобы цепь была редкая в густом лесу? — перебил его Гильчевский.

— По той причине, ваше превосходительство, что иначе она через густой лес не проберётся, — с готовностью объяснил поручик, но начальник дивизии отрицательно покачал головой.

— Отсутствие опыта это у вас, — вот что-с, — а также и воображения у вас нехватает, поручик, — сказал он. — Правило же должно быть такое: чем гуще лес, тем гуще цепь; чем реже лес, тем реже и цепь. Запомнить

это очень легко, а проверить на практике необходимо будет как можно скорее, чтобы не вышло новой беды... Почему именно — гуще лес, — гуще цепь? Ну-ка, прапорщик Ливенцев? Раз вам вверен батальон, то вы за него и отвечаете.

— Я представляю это так, ваше превосходительство, — начал Ливенцев, стараясь не спешить, чтобы лучше представить густой лес и в нём цепь солдат своей прежней тринадцатой роты: — цепь растянута на большое расстояние; люди из-за густых порослей друг друга не видят, каждый идёт наобум, очень скоро может быть потеряно ими направление, да, кроме того, ими в таком лесу при растянутой цепи и управлять нельзя даже и взводному командиру, не говоря о полуротном... Как держать связь между людьми, когда исчезнет локоть товарища? Через десять минут при такой ситуации самый непостижимый кавардак может начаться, и придётся или горнисту, или барабанщику собирать роту...

— Если?.. — тоном подсказа отозвался на последние слова Ливенцева Гильчевский.

Ливенцев пытливо поглядел на него, как на экзамене студент на профессора, и добавил:

— Если в роте не будет достаточного количества компасов: один же, или даже два, мало помогут делу.

— Вот это более-менее обстоятельный разбор положения, хотя тактическими задачами на планах прапорщик Ливенцев едва ли когда-нибудь раньше занимался, раз он в военном училище не был, — сказал Гильчевский, обращаясь к Печерскому, как бы давая ему этим понять, что четвёртый батальон его полка попал в подходящие руки. — Ориентировка в лесу всегда была самым слабым местом военных действий, господа, и в лесах многие войсковые части терпели крупные поражения. Так что вопрос этот чрезвычайно серьёзен, особенно когда имеешь дело с предпримчивым противником, а у нас такой именно противник в дальнейшем и будет, — это прошу иметь в виду:

фронт австро-венгерский подпирается германскими частями, так что в лесах мы можем наткнуться на любые, непредусмотренные полевым уставом нашим, сюрпризы. Компасы должны быть выданы на руки в каждый батальон, но у нас их мало, — больше двух на роту не придётся, и прапорщик Ливенцев вполне правильно говорит, что этого мало.

— Скаречно мало, ваше превосходительство! — сказал полковник Татаров.

— Да, возмутительно мало, — подтвердил Гильчевский, — и я предлагаю господам полковым командирам, пока мы получим ещё партию компасов, о чём я вошёл с ходатайством к корпусному командиру, практиковать людей в наступлении в густом лесу гуськом: они будут идти один за другим и поэтому не разбредутся, а между тем, в случае необходимости, будут все под рукой. Можно даже в двухшереножном строю вести таким образом небольшие части, например, взвод... Небольшой интервал, — и другой взвод; такой же интервал, — скажем, двенадцать-пятнадцать шагов для густого леса, — и третий взвод: так может наступать рота, при условии, разумеется, что впереди и с обоих флангов идут патрули и освещают лес, а если обнаружат неприятельские засады или другие препятствия, — то предупреждают выстрелами...

— Можег быть, поискать среди нижних чинов бывших лесников, ваше превосходительство? — спросил полковник Николаев.

— Дельно, очень дельно! — закивал головой Гильчевский. — Лесников и вообще людей, хорошо знающих, что такое лес.

— Охотников по зверю, лесорубов, — подсказал Татаров.

— Непременно, да-да... — согласился Гильчевский. — А бывают просто жители лесных урочищ, хотя и не охотники они, и не то, чтобы лесники или лесорубы, а так себе кое-чем от леса пользовались: кто грибами, кто лыком, кто ягодой, кто уголь палил, кто дёготь гнал, кто от диких пчёл мёд отбирал,

как медведи — вот всех этих лесных человек непременно выявить в каждой роте, и чтоб были они первые помощники командиров взводов, невзирая на то, что рядовщина, например, или по строю плох: в лесу они будут, как у себя дома, и вполне компетентны, тем более, что у таких и глаза на месте, и слух бывает хороший. Но чтобы ещё яснее и, по возможности, короче сказать, что требуется для действий в лесу, это, мне кажется, поставить бы знак равенства между густым лесом и светлой ночью, как бывают ночи в полнолуние, но не в лесу, конечно... Что требуется при действиях светлой ночью? Они возможны, но при условии сугубой осторожности.

— А если ночь застанет в густом лесу, ваше превосходительство? — спросил Тернавцев, до этого угрюмо молчавший.

— Непременно постараться, чтобы не застала! — тут же ответил Гильчевский. — Постараться засветло выбраться из леса на опушку, тем более, что больших лесов тут и нет. Да, наконец, ведь и густых лесов тут не должно быть много, — гораздо больше, мне думается, будет попадаться прореженных или самими владельцами, или войсками. А раз лес редкий, то по нём можно идти цепями такими же, как в кустарнике, например, или в высоком хлебе, или в кукурузе... Раз четвёртый-пятый человек в ряду виден, — тут рота в расстройство притти не может... Говоря вам всё это, господа, я имею в виду, о чём догадаться не трудно, те пополнения, какие не сегодня-завтра к нам поступят. Это — совсем будет сырой народ, господа, это — только сырой материал, из которого можно сделать, конечно, настоящих солдат, но для этого надобно приличное время, а кто же даст нам это время? Вы его, этот материал сырой, едва успеете расковать по ротам, как вам уже скажут: «Милости просим! Покажите-ка вашу ударность, какой вы себя изволили зарекомендовать!...» Что вы на это скажете? Что пополнения, мол, это совсем не вы, что они вам только всю обедню

испортили? Не скажете, ведь, да и говорить это бесполезно. Растасуйте их так, чтобы — вот старый ваш солдат, вот рядом новый, вот старый, вот новый... Пусть их в первые дни от страха трясёт, как в лихорадке, — они оклямаются, как почему-то принято говорить, хотя я и не знаю, почему именно, — они войдут во вкус и притом очень живо, если мы будем наступать, — но ведь и то сказать, отступить мы как будто не собираемся, — дела наши пока что хороши, — на что я главным образом и надеюсь...

В это время ровно жужжащий звук, хотя и слабый, привлёк общее внимание к небу над головой: там, один за другим, целая эскадрилья в шесть аэропланов шла со стороны позиций противника в русский тыл. Воздушные машины летели довольно высоко и заметно быстро. Слышны были орудийные выстрелы, но снаряды рвались где-то ниже и около эскадрильи, оставляя в небе дымки круглые и белые, как шапки одуванчиков. Это стрелял противоаэропланный взвод. Кроме того, пробовали достать их пулёмётными очередями и выстрелами из винтовок, но весь поднятый огонь был и разноточный, и довольно вялый, а для налётчиков безвредный. Они двигались на восток уверенно и не сбиваясь с принятого курса.

— Вот бы нашим аэропланам перехватить их да атаковать, эх, чтобы полетели от них и пух, и перья! — с увлечением говорил Гильчевский. — Только лиха беда — где они, эти наши аэропланы? На такой простой вопрос и сам великий князь Александр Михайлович, которому это ведать надлежит, едва ли дал бы точный ответ... А пока мы хорошо знаем только одно: чтобы ни наделали у нас на фронте или в тылу неприятельские лётчики, мы должны об этом по-мал-кивать, точно воды в рот набрали! Вон как!

Оба генерал-майора, хотя сидели ближе других к Гильчевскому и тоже со своих пеньков, задрав головы, внимательно глядели в небо, решили каждый про себя не поддерживать на всякий случай слишком либерального выпада

начальника дивизии против одного из великих князей. Точно также и военная цензура, не пропускавшая в печать ничего о действиях аэропланов противника, не должна была, по мнению обоих бригадных, быть предметом осуждения в присутствии разных прапорщиков, хотя и ставших батальонными командирами. Только так смог объяснить для себя их безмолвие прапорщик Ливенцев.

Но самому ему молчать не пришлось: он первый заметил сквозь деревья, как вдруг повалил густой дым, а через секунду блеснул и язык огня в той стороне, где приходилась северная окраина растянувшейся в одну длинную улицу Старой Бараньей.

— Зажгли деревню! — вскрикнул он.

Капитан Спешнев отозвался на это, присвистнув:

— Кажется, штаб горит!

— Штаб? Неужели? — обеспокоенно вскочил Гильчевский.

Вслед за ним поднялись и бригадные, и полковники, — все.

— Если и в самом деле штаб... — начал было Протозанов.

— То надо итти тушить! — закончил Гильчевский и пошёл к деревне, приглядываясь к столбу дыма и говоря на ходу встревоженно: — Значит, здешний мерзавец опознавательный знак какой-нибудь выставил около штаба, а с аэроплана его разглядели в подзорную трубу!.. Иначе как же прикажете объяснить такую выходку?

Он распорядился, чтобы офицеры шли не кучкой, а небольшими группами, соблюдая приличные интервалы, и добавил, что обучение частей действиям в лесу начнёт в этот же день перед вечером первый полк дивизии, для чего полковник Николаев должен выделить и, приняв все меры предосторожности, направить в лес по десять человек от каждой роты полка.

Чем ближе было место пожара, тем яснее обнаруживалось, что горела всё-таки не та хата, где находился штаб, что деятельно тушат огонь солдаты и что при полном безветрии опасности пожара для соседних хат не было.

4.

Так как армия генерала Сахарова получила приказ Брусилова временно приостановить наступление, а на другом берегу Слоневки оказались заранее подготовленные сильные позиции австрийцев, то обе дивизии, 105-я и 101-я, начали готовить, в свою очередь, окопы для прибывающих пополнений.

Каждый новый день на линии огня ждали контратаки австро-германцев, каждый день доносилось в штаб армии, что здесь на фронте — «перестрелка и поиски разведчиков», но отдых всё-таки оставался отдыхом, и у солдат, как и у прапорщиков, в изобилии стали появляться домашние мысли.

Ливенцев, проходя как-то вдоль окопов бывшей своей тринадцатой роты, услышал, как жалобно выводил Кузьма Дьяконов песню:

Одной бы я корочкой питался...

Конечно, Дьяконов вспоминал Керчь и свою жену, и всё своё хозяйство, о котором месяца два назад говорил, явно приbedняясь по свойственной иным рачительным домоводам привычке.

Ливенцев был рад его видеть. Он остановился и сказал:

— Что, Кузьма, по дому никак заскучал? Песню про корочку поёшь...

— Да нет, ваше благородие, — это я спиваю так себе. Песня такая, — ответил Дьяконов, широко улыбаясь.

— Рассказывай — «песня»! «Корочка» — это разве настоящая пища?.. Настоящая пища это, я так полагаю, свинина, а? Да чтобы сало на этой свинине было не обрезное, а так, например, пальца в четыре толщиной, а? Угадал?

— Конечно, ваше благородие, — ещё шире заулыбался Кузьма, — как вы сами на воле хорошо кушали, — не нам с вами равняться, — то вы и знаете.

Так как Ливенцев вообще никогда не любил сала и недоуменно глядел на тех, кто аппетитно ел его большими ломтями, то весело рассмеялся последним словам Кузьмы.

— Письмо-то своей жене написал или нет? — вспомнил Ливенцев.

— Да нет, неколи всё было, ваше благородие, — сконфузился Кузьма и добавил: — Да ведь и то сказать — писать-то ей об чём?

— Как «об чём?» Ты к знаку отличия военного ордена мною представлен, это раз, а два — это то, что ты ведь теперь сфрейтор, — сказал Ливенцев, — а почему не нашёл лычки на погоны?

— Никто как есть не объяснял про это, ваше благородие, — отозвался Кузьма с лицом даже как будто несколько испуганным.

— Ну, вот я тебе объясняю... Возьми у каптенармуса басоны и нашей, а ротному доложишь, что я приказал.

О подпрапорщике Некипелове Ливенцев тоже хлопотал, чтобы представили его за боевые заслуги в прапорщики; Бударина и Тептерёва, — своих спасителей на Пляшевке, — он тоже не забыл, но, кроме них, внёс в список отличившихся ещё человек десять из тринадцатой роты.

Однако она сильно преобразалась, благодаря маршевикам, у него на глазах, и это было для него, конечно, гораздо заметнее, чем в остальных ротах его батальона, из состава которых примелькались ему только одни командиры.

Теперь уже не двести с лишним человек, а около тысячи было под его началом, или должно было стать, когда придут, наконец, все пополнения, и самому ему было как-то немного странно себя чувствовать начальником весёлого Тригуляева, неулыбающегося Локоткова, исполнительного, как это свойственно сельским учителям, Рясного, а главное, всех старых и новых людей в их ротах, за которых он теперь отвечал точно так же, как за своих прежних всего несколько дней назад.

Это было похоже на то, как он в детстве неожиданно для себя, для своих домашних и даже для врача, его осмотревшего, распух, искупавшись в небольшом лесном озерце со стоячей, густо затянутой зелёной ряской, весьма таинственной водой. Он вспомнил, как смотрел тогда на себя в зеркало и не узнавал себя: он ли?.. Как будто его подменили колдовским способом, — до

того широкое стало лицо, и какие-то узенькие китайские глазки на нём. И даже рубашку нельзя было натянуть на тело, и руки и ноги стали тяжёлые, совсем не свои.

Правда, как все мальчуганы его тогдашнего возраста, он любил воображать себя то сказочным богатырём, то полководцем, которого представлял тоже в виде богатыря, и готов был принять свою пухлоту за необыкновенный прилив силы, однако убеждался, играя со сверстниками, что странная толщина эта не прибавила ему сил, а даже убавила, — до того он стал неповоротлив, точно ему под кожу напихали ваты или пуху из его подушки с розовой наволочкой.

Такая же точно неловкость появлялась непрощенно в нём, когда он заходил в четырнадцатую, пятнадцатую, шестнадцатую роты, в которых ни старые солдаты, ни новые из пополнений, — он ощущал это, — не могли привыкнуть к мысли, что он, такой же прапорщик, как и их ротные, командует целым батальоном.

Благодаря своей острой памяти на лица, Ливенцев запомнил унтер-офицеров и по нескольку солдат из каждой роты, но даже и не пытался вобрать в себя лица всех людей одной, другой, третьей роты, сочтя, в конце концов, это совершенно лишним, особенно теперь, когда роты пухли за счёт маршевиков. Но из этих маршевиков надо ещё было сделать солдат, и Ливенцев смотрел на каждого зорким оценивающим взглядом совсем не преднамеренно, а по создавшейся уже гораздо раньше привычке.

Не изменяя этой привычке, он не изменял и своих отношений в разговоре с солдатами недавно ещё чужих для него рот; поэтому выходило так, как будто чрезвычайно выросла числом рядов его тринадцатая рота, а других существственных перемен никаких не было.

Однако перемены были, и Ливенцев чувствовал их, хотя внешне они как будто не проявлялись; невидимо, но осязаемо, как излучение радия, они

шли от командиров рот — Тригуляева, Локоткова, Рясного.

Совсем ещё молодой Рясный, недавно окончив школу прапорщиков, возможно и не был чинолюбив, однако, он твёрдо усвоил, что школа эта дала ему право на очень скорое производство в подпоручики, и тогда он, конечно, будет выше в чине, чем новый их командующий батальоном. И Ливенцев чувствовал, что если внешне теперь прапорщик относился к нему почтительно, то только поглядывая при этом на его университетский значок. Но у Тригуляева и Локоткова — юристов — были точно такие же значки, они были тоже прапорщики запаса, хотя и моложе годами и производством в этот чин, чем Ливенцев. Кроме того, оба, получив ранения, остались в строю, что вполне обоснованно ставили себе в особую перед Ливенцевым заслугу, и он не мог не ощущать, что смотрят они оба на него почти как на узурпатора власти батальонного командира.

Конечно, они не говорили ему этого прямо, но это можно было вывести из их намёков, более тонких у Тригуляева и более доходчивых у Локоткова.

— Не понимаю, Николай Иванович, — говорил как-то Тригуляев, — что это с вами случилось: вдруг ни с того, ни с сего: «Батальон, слушай мою команду!» Такую на себя обузу взяли и зачем именно, с какой такой стати?

При этом Тригуляев и плечами пожал и губы сделал трубочкой, только в весёлых обычно его глазах не появилось ничего весёлого, ни малейшего сочувствия ему во взятой на себя обузе.

Локотков же, который, очевидно, от природы лишён был способности улыбаться, длинный, узкий и с забинтованной рукой, вдруг совершенно неожиданно для Ливенцева сделал сложную, почти мучительную попытку улыбнуться, говоря ему:

— Есть такая поговорка: «Кто палку взял, тот и капрал». Я, признаться, и раньше сомневался в том, верна ли она вообще, а теперь, на вашем примере, Николай Иванович, вижу воочию, что нет правил без исключений: быть

во главе батальона это, знаете ли, вам очень к лицу!

Ливенцев сделал вид, что понял его слова буквально, и сказал на это:

— Да ведь на линии фронта, во время боя если не взять в руки палки, а ждать, когда её другой кто-нибудь возьмёт, то, пожалуй, убьют раньше, чем этого дождёшься... Кстати, какое грубое понятие — «линия» фронта!

— Чем именно грубое? — уже неприязненно спросил Локотков.

— А вы как определяете, что такое линия? — спросил вместо ответа Ливенцев.

— Линия и есть линия, — что тут определять? — явно задорно сказал Локотков и отвернулся.

— Эвклид определяет линию так: это длина без ширины, — терпеливо начал объяснять Ливенцев. — Если вы можете определить иначе и лучше, говорите, я вас слушаю... Буду слушать даже и тогда, если вы скажете: линия это — палка капрала.

— Земля есть земля, вода есть вода, линия есть линия, и на чорта мне заниматься какою-то схоластикой! — почти выкрикнул Локотков.

— Может быть, вы определите линию так: это след от движения точки на плоскости, — стараясь сохранить невозмутимость, продолжал Ливенцев.

— Как хотите, — хоть так, хоть этак, — мне совершенно безразлично!

— Вот видите, — вам безразлично, а для математиков это очень существенный вопрос, — сказал Ливенцев, улыбнулся и отошел, предоставив Локоткову решать про себя эту задачу, как он хочет.

5.

Перед самим же Ливенцевым тоже стояла задача, над которой он думал, вспоминая, что мог утонуть в зловонной Пляшевке, если бы не вытащил его этот волчеглазый Тептерёв. На месте Тептерёва, конечно, мог быть и кто-либо другой, но Тептерёву удалось, а другому могло и не удасться, — как знать? Сам Тептерёв стоял тогда на чём-то твёрдом, неспособном пока, вре-

менно или вообще, погрузиться в трясины.

Он помнил из физики формулу: удельное давление равно силе, деленной на площадь, или $P : S$, где P — сила, а S — площадь, — но как применить эту формулу к болотам реки Слоневки?.. Представлялись копыта лосей, способные широко раздвигаться в обе стороны и тем предохранять больших этих животных от погружения, когда им случается перебегать через лесные топи; или перепончатые пальцы болотных птиц, причём перепонки эти не только помогают им плавать, но и бегать, не проваливаясь, по болотам в поисках пищи; водяные пауки тоже отлично приспособлены для передвижений по воде, — человек же придумал лыжи, чтобы не только не проваливаться на снегу, но ещё и скользить по нему, как скользят водяные пауки по водной поверхности...

Когда до 402-го полка дошла очередь обучать людей действиям в лесу, Ливенцев приказал своим нарубить хвороста несколько охапок и принести в окопы. Из хвороста потом на его глазах сплели несколько небольших плетней, таких, что их свободно могли нести два человека.

Плетни эти делали в тринадцатой роте, и Некипелов внимательно следил за тем, чтобы плели их не кое-как, а на совесть.

— Потом, когда стемнеет, можно их отнести на болото, попробовать, как они будут действовать, — сказал ему Ливенцев.

— Зачем же это, Николай Иванович? — возразил Некипелов. — Пробовать тут нечего, — должны выдержать... Важно только, чтоб не расползлись, — ведь по ним не один человек проходить будет, — а выдержать могут... Только вот вопрос тут в чём, — и он подмигнул весело, как будто ещё круче вздернув свой нос: — сколько же таких плетней понадобится на весь полк, уж не говоря об дивизии?

— Конечно, это вопрос существенный, но если начальнику дивизии поставить на выбор, как говорится, аль-

тернативу: или плетней наделать побольше, или опять здесь, как на Пляшевке, рота утонет, то я думаю, он прикажет нарубить в этом лесу хвороста сколько можно...

— Разумеется, — подтвердил теперь уже без подмигивания Некипелов, — это дело такое. В Сибири у нас чем топи гатят? Всё тем же хворостом, а то ведь есть места, что пяти шагов не пройдёшь — засосёт... Ну, у нас еще и решётки такие делают из жердей — по ним тоже пробираются.

— Решётки? — подхватил Ливенцев. — Вот видите, а вы молчали! Конечно, отчего и не решётки? Они не так удобны, как плетни, но ведь, в крайности, тоже годятся. Чего же вы молчали, в таком случае, и заставили меня, как Ньютона, открывать закон тяготения, который за двадцать лет до него Роберт Гук открыл!

Когда Гильчевский узнал, что в четвёртом батальоне Усть-Медведицкого полка заготавливают плетни и решётки для форсирования Слоневки, он сам пришел туда с бригадным первой бригады, рыжеватым Алферовым, и подполковником Печерским.

— Каков, а? — говорил он потом, когда осмотрел плетни и на них попрыгал, чтобы определить, насколько они прочны. — Каков оказался этот прапорщик? Из молодых, да ранний!

И, заглядывая в карие глаза Ливенцева своими острыми ещё серыми глазами, он ласково хлопал его по плечу и тут же отдал приказ Алферову, чтобы в обоих полках его бригады по примеру этого четвёртого батальона заготавливались плетни и решётки.

— Вот видите, как, господа, получается: «Утаил бог от начальников дивизий, генерал-лейтенантов, и открыл прапорщикам» — говорится где-то в священном писании, и выходит, что это изречение вполне сюда применимо, — уходя из четвёртого батальона, говорил Гильчевский. — Кто, как не я, болел душой, когда видел, что тонут люди у полковника Татарова? Отчего же не я придумал эти плетни и не полковник Татаров, у которого, не сомневаюсь,

как у образцового полкового командира, тоже болела и теперь болит душа по своим зря погибшим молодцам? Вот то-то и есть, господа! Не затирайте, а выдвигайте тех, какие посposобнее, вот что-с... Во второй бригаде надо распорядиться сегодня же, чтобы тоже занялись плетнями, раз тут на каждом шагу если не Пляшевка, то Слоневка, если не чорт, то дьявол.

Однако в этот же день к вечеру не с маршевой командой, а одиночным порядком прибыл назначенный в 402-й полк поручик Голохвастов, и Печерский оказался в большом затруднении, как ему быть. Двумя его батальонами командовали тоже поручики, одним — капитан, и для него, старого кадровика, казалось вполне ясным и даже не требующим доказательств, что временно командующий четвёртым батальоном прапорщик должен сдать батальон тому, кто старше его в чине. Он так и сказал новому офицеру, чуть только тот ему представился:

— Ну, вот и хорошо, поручик: вы, стало быть, и вступите в командование батальоном, а прапорщик Ливенцев перейдет в свою роту.

— Слушаю, господин полковник, — и слегка наклонил голову нестарый ещё, хотя и взятый из отставки, умеренно упитанный, представительный поручик Голохвастов, и вид у него при этом был таков, что он несколько не сомневался и раньше, что ему прямо с прибытия в полк дадут батальон.

Но тут Печерский представил себе начальника дивизии, которого он встречал утром, и поспешно сказал:

— Впрочем... это не от меня лично зависит, поручик, а от начальника дивизии... Вам следует пойти в штаб дивизии и представиться ему, а он уж тогда отдаст в приказе по дивизии, поскольку это — штаб-офицерская должность, и только по обстоятельствам военного времени могут её занимать обер-офицеры.

Поручик Голохвастов направился в деревню Старая Баранья, где в своём штабе Гильчевский сидел, просматривая и подписывая бумаги, что он называл

«словесностью». Новый командир батальона подошёл, конечно, к полковнику Протозанову и доложил ему, что хотел бы представиться генералу, объяснив, что его направил командующий полком — Печерский.

Когда Протозанов узнал, что новый поручик обнадёжен Печерским на предмет назначения командиром четвёртого батальона, то тут же сказал:

— Там есть ведь командир батальона.

— Да-а, но мне сказано, что прапорщик и, разумеется, временно командующий, — отозвался Голохвастов, несколько даже удивляясь тому, что начальник штаба дивизии, повидимому, не вполне осведомлен, кто и где занимает такие крупные должности.

— Хорошо, раз вас послал подполковник Печерский, я доложу о вас, — сухо сказал Протозанов.

Разговор Голохвастова с Гильчевским был короток. Гильчевский, очень внимательно на него глядя, спросил:

— Где и в каких сражениях участвовали?

— В сражениях участвовать ещё не приходилось, ваше превосходительство.

— Не приходилось? — повысил голос Гильчевский. — Как же вы претендуете сразу ни с того ни с сего на командование батальоном? Чрезвычайно удивлён, что вас с этим ко мне направил подполковник Печерский. Впрочем, на его место назначен командир полка, о чём получена только что бумага... Чрезвычайно удивлён, а чтобы этого впредь я не слышал, — обратился он к Протозанову, — надо будет завтра же в приказе по дивизии утвердить прапорщика Ливенцева, как представленного к производству в следующий чин и к Георгию 4-й степени, дающему ему право на производство в поручики, — утвердить в должности командира 4-го батальона Усть-Медведицкого полка.

— Слушаю, — сказал Протозанов, — а поручик... Голохвастов?

— Поскольку он еще штатский, необстрелянный, получит другое назначение, конечно. Офицеры нам нужны до заре-

зу, — обратился Гильчевский к поручику, — и чем больше их нам дадут, тем лучше, но что касается командования батальоном, то это уж — всякому овощу своё время.

Голохвастова назначил Гильчевский казначеем полка, а казначея, прапорщика Мешкова, перевёл в строй.

6.

В местечко Радзивиллов первыми ворвались эскадроны Заамурской кавалерийской дивизии. Здесь они застали обозы противника, не успевшие переправиться через Слоновку до взрыва моста, раненых и отставших солдат и офицеров противника, которых набралось до 1800 человек, а также несколько десятков русских пленных, которых заставили австрийцы быть конюхами при обозных лошадях.

Эти русские пленные тут же были разосланы в полки обоих наступавших корпусов — 17-го и 32-го. Так, в 13-й роте у Ливенцева появился младший унтер-офицер Милёшкин, человек довольно крупный по росту, но весьма исхудалый, угрюмого вида, как будто даже потерявший способность держать голову по-строевому, — всё она у него свешивалась на впалую грудь.

Однажды Ливенцев заметил на себе его пристальный взгляд исподлобья, — взгляд, какой бывает у людей, желающих и не решающихся подойти и сказать что-то, для них очень важное. Ливенцев подошёл к нему сам, и Милёшкин вдруг проворно вытащил из кармана шаровар очень измятую, замасленную, грязную тетрадку, сказав при этом глухо:

— Вот, ваше благородие, — это я ещё там, в плену, всё описал стихами!

— Стихами? — переспросил Ливенцев и раскрыл тетрадку с предубеждением.

Старательно, но не совсем грамотно было написано химическим карандашом на первой странице:

Расскажу я вам, друзья,
Ведь удрать это не штука,
Да пойдёшь то ты куда?

Это ведь не бульвар в Рязани,
Горы тут высотой в полторы ^{тыщи}
метров,
Да снег на них лежит ^{толщины}
в аршин.

— Стихи так себе, — сказал Ливенцев, закрывая тетрадь.

— Плохие? — спросил Милёшкин встревоженно.

— И даже совсем не стихи. Но, разумеется, если ты долго пробыл в плену, то, должно быть, много там видел, — сказал Ливенцев.

— С мая месяца прошлого года я в плен попал, ваше благородие, под Горлицей, если изволили слышать, — и Милёшкин поглядел пытливо.

— Кто же не слышал про Горлицу? — сказал Ливенцев. — Ты, значит, был в третьей армии генерала Радко-Дмитриева... И куда же вас потом, пленных, направили?

— В скотские вагоны набили, ваше благородие, да повезли прямо аж на Карпаты, — оживился Милёшкин, беря из рук Ливенцева свою тетрадку. — Одним словом, в этих скотских вагонах пробыли мы взаперти целых три дня, — никуда нас не выпускали, ни есть, ни пить не давали, — как хочешь, — хочешь — будь живой, хочешь — помирай, вот до чего за людей не считали! Привезли в лагерь, называемый «Линц», и тут наши солдаты пленные валяются в бараках, все босые или на деревяшках, все трясутся от голода и даже такие опухшие и с лица все жёлтые, вроде у них желтуха, и есть из них такие, что ему сорок лет, а весу он имеет сорок фунтов, — вот до чего довели немцы! И у всех, почитай, лихорадка такая, что их трясёт, а из них каждый до чего есть хочет — кажись, сам свою бы руку съел!.. Видим, — то же: погибель. Дали на обед гороху, а в нём находящиеся жучки, — как станешь есть? Однако ели, что будешь делать. Ну, правда, мы как ещё силу кое-какую имели, то долго тут не сидели, — повезли нас опять, — говорят: «На сельские работы», а вместо того привозят на гору, — ёлки по ней растут, а выше кругом снег лежит... Высадили, дают лопаты: «Ко-

пайте, русские, канаву», — нам говорят. А мы на них смотрим: — «Какую такую канаву на горе? Разве это называются сельские работы? Это вы хотите, чтобы мы против своих войск окопы вам копали... Это, мы заявляем вам, не по закону!» А тут полковник ихний выступает: «Об законах вы думать оставьте, ребята (по-русски с нами говорил) — теперь война, и законы мы сами вам устанавливаем. Кто не хочет работать, я того прикажу под расстрел взять!»... Ну, мы ему говорим: — «Всё равно, хоть расстрел, хоть что, а против своих работать не хотим!» Целый день погом, — это хоть в мае было, а там на горе холодно, — простояли мы, и кушать нам ничего не давали, а кругом нас конвойные с винтовками, с пулемётом. На другой день с утра полковник этот опять к нам: «Начинай работать!» Мы опять своё: — «Не желаем!» — «Расстреляю!», — кричит на нас. А мы ему своё: «Стреляй!» — Этот день тоже так вышло, — ничего не кушали. Тут что же выходило, ваше благородие? Работу им делать надо — опорный пункт называемый, — а мы день ото дня тошаем, а постреляют нас если всех, совсем, значит, тогда никого нас не останется в живых, а как же тогда работа? Ну, он, полковник этот, тогда пошёл на другое: велел котёл супу притащить, в отдаленности поставить, ну, так чтобы всем видно было, что от котла пар идёт, и с такими словами: — «Кто работать хочет, тот будет есть, а кто не хочет, — отделийся налево, — сейчас под расстрел пойдёте!» — И видим мы, какие-сь ихние кадеты что ли идут взводом, потом «хальт!» и, значит, обоймы вкладывают в свои винтовки. Тут у нас тогда вроде слабодушные нашлись, — покололись мы на две части, меньшая пошла к тому котлу кушать, а мы, ббольшая нас часть, остаёмся: — «Стреляй!» — кричим.

Милёшкин остановился, как бы желая удостовериться, слушает ли его со вниманием этот командир батальона — прапорщик, или пропускает всё мимо

ушей и только что не говорит: «Кончай, братец, ты поскорей!»

Ливенцев сказал:

— Молодцы всё-таки, — помнили присягу, — и Милёшкин продолжал оживлённее и с помолодевшими глазами:

— Как не помнить, ваше благородие! Это же прежде, раньше говорили и мы ведь тоже: — Русские мы, русские! — А что такое «русские», никто толком даже не понимал. Говорим по-русскому, ну, значит, и русские, а не то чтобы китайцы какие. Даже воевать начали, — всё будто не наше дело, а начальство так приказывает. Только как в плен попали, вот когда мы начали понимать, где какие русские, а где немцы, и что это такое обозначает... Ну, эти кадеты пощёлкали затворами, а полковник с другими подходит к нам, то одного они вытаскают, то другого — десять человек отобрали, кадеты их окружили, повели туда, где ёлки погуще росли.

— Расстреляли? — спросил Ливенцев.

— В тот же час, ваше благородие... Залпа три дали, — все мы слышали, хотя же и приказали нам всем лечь на землю и от того места головы отвернуть, — для чего такое приказание было, — не могу знать... Своим чередом и на другой день нам ничего не дают есть, только те, наши товарищи, какие спротив своих опорный пункт копают, те опять из котла кушают. В этот день из нашего числа к ним ещё человек сто перешло... На следующий, — это уже четвёртый день был, — нас только, глядим, человек сто самих-то осталось, — в животах резь у нас, головы мутные стали, лежим уж, стоять не можем, — всё-таки терпим. Тут, смотрим, подходят к нам здоровые, мордастые с верёвками, а на верёвках кольца железные. Одного берут, другого: «Ну, русс, иди, вешать будем!»

— Даже и вешали? — не совсем доверчиво спросил Ливенцев.

— Это у них называется не то чтобы вешать, ваше благородие, а только подвешивать, — пояснил Милёшкин. — Стоят так рядочком две ёлки, — к одной привяжут на кольцо за ноги, к

другой за руки, а тело всё на весу, — вот и виси так и думай, — живой ты останешься или сейчас тебе смерть, потому что терпеть это голодным людям разве долго можно? В конце-концов на шестой день осталось нас, какие были потверже, не больше как пятьдесят человек. Смогдемся, а сами видим, что вот он, наш конец!.. Полковник этот подходит, ус свой подкрутил, говорит: «Жалко мне вас, ребята, ну, что делать: десять человек сейчас отберём, будут расстреляны, — идите для них могилу братскую копать!» А мы отвечаем на это: — «Сами и копайте, а мы лопат ваших в руки не возьмем». Десять человек отобрали, и я из них помню троих как звали, — из одной мы роты были: Иван Тищенко, Лунин Фёдор, Куликов Филипп... Эх, ваше благородие! — Милёшкин махнул рукой и на глазах его заблестели слёзы.

— Расстреляли? — спросил, чтобы дать ему время оправиться, Ливенцев.

— Завязали глаза Куликову Филиппу, — вопрос к нему: — «Будешь работать?» — А Куликов им промком, чтобы всем было слышно: «Нет, не буду!» — И сейчас эти несправедливые кадеты выстрелили в него по команде, и он пал, конечно, наземь. Потом Тищенко Ивана вывели. Опять команду офицер подал, — четыре пули ему в голову попало, — белый платок сразу окраснел от его крови... Упал и Тищенко рядом с Куликовым. Выводят тогда Лунина Фёдора... И он тоже младший унтер-офицер, и мы с ним в один год учебную команду кончали... Он же мне верный товарищ был, ваше благородие, — и вот ему тоже глаза завязывают, и должен он наземь пасть, кровью своей облитый... Вот чего я вынести не мог, ваше благородие! — И опять слёзы показались у Милёшкина. — Крикнул я в голос: — «Стой! Не стреляй!»... — Всё ведь вынести мог: не кормили шесть дён, к ёлкам подвешивали, так что память свою терял, — а как Лунина Фёдора, товарища своего, увидал, будто как он уж в крови весь на земли валяется, — перенести не мог. Он даже

мне кричит: «Милешкин, что ты стараешься!» — А я знай своё: — «Не стреляй!»... — Ну, после этого моего крика и все сразу ослабли. Спрашивает полковник: «Будете работать?» — Один у всех ответ: — «Будем!»... — Выходит, я—кто же такой, ваше благородие? Иуда-предатель я!.. А Лушин Фёдор вскорости после того всё равно пропал: бежать вздумал,—застрелили его в лесу.

Теперь слёзы текли уже по впалым щекам Милешкина, и Ливенцев почувствовал, что ему самому как-то не по себе.

— Нет, это не называется предательством, Милешкин, — сказал он через силу. — Да, вот ты ведь опять встал в ряды войска... Если думаешь, что допустил тогда какую-нибудь слабость, имеешь возможность загладить эту свою вину... Ведь загладишь?

— Я... я заглажу, ваше благородие, в этом не сомневайтесь, — тихо ответил Милешкин, — и Ливенцев, подумав, что он напрасно обидел Милешкина, вернув ему тетрадь, сказал:

— А стихи свои дай-ка мне всё-таки, я их прочитаю на досуге.

7.

Десять миллионов тяжёлых снарядов было истрачено немцами за четыре месяца осады Вердена; 415 тысяч солдат и офицеров своих потеряли немцы под этим крепким орехом; понятно поэтому, каким ликованием было встречено в Берлине сообщение кронпринца от 10(23) июня, что, благодаря усилиям десяти дивизий, брошенных на штурм на фронте в два километра, был взят форт Тиомон.

Это был по счёту шестнадцатый штурм Вердена, отдавший в руки германцев третий — после Во и Дуомона — форт главной оборонительной линии крепости. Казалось бы, что положение французской твердыни должно было внушить тревогу французам, но они были уверены в том, что Верден устоит, и эта уверенность покоилась главным образом на силе Брусиловского наступления.

Даже в «Humanité» писали: «Верден не должен быть взят. Верден это символ. Если Верден не является уже более стратегической позицией, то всё же у Вердена должен рухнуть германский империализм. На пушки Вердена уже отвечают русские пушки в Буковине»... На пушки Вердена отвечали в это время русские пушки не только в Буковине, но и в Галиции и, больше всего, на Вольни, где германские дивизии, успевшие подойти от Вердена, кидались в яростные контратаки. Приказано было русским пушкам открыть усиленный огонь и по австро-венгерским позициям у селения Редьково на Слоневке, и это было как-раз в день падения форта Тиомон.

Из штаба 11-й армии пришёл приказ 32-му корпусу атаковать Редьково, но за сто вёрст от фронта плохо было видно, какую серьёзную преграду для атакующих представляет собою мало кому известная река с её широкой топкой долиной, с её болотами и озёрами и с ненаведёнными ещё через неё мостами.

Усиленный огонь русских орудий вызвал усиленный ответный огонь австрийцев, показавший их превосходство в тяжёлой артиллерии; попытка передовых частей 105-й дивизии перейти Слоневку вброд окончилась неудачей — роты вернулись назад, недосчитавшись многих.

Гильчевский наблюдал это со свойственным ему негодованием на своего корпусного командира, который на фронте не был, ничего тут не видал и с лёгким сердцем передал приказ Сахарова об атаке, которая не была ещё подготовлена.

— На рожон, на рожон заставляешь лезть! — волновался он. — И как-раз это, когда пополнения подходят! Нет чтобы подождать, может быть, немцы сгоряча сами поперли бы в контратаку, а мы бы им тогда намяли холку!

Вновь назначенный командир 402-го Усть-Медведицкого полка Добрынин приехал дня через два после этой неудавшейся попытки 105-й дивизии форсировать Слоневку. Когда Гильчевский услышал от него, что он, получив рану в плечо навывлет во время апрельской операции у озера Нарочь, на Западном фронте, а крест и чин полковника, ко-

гда был в госпитале в Москве, сам и очень настойчиво просился на Юго-Западный фронт, — Гильчевский внутренне расцвёл, но внешне был сдержанным и точным в своих вопросах; когда Добрынин вполне искренним тоном сказал, что рад своему назначению в дивизию, о которой ещё на пути сюда он слышал, как об ударной, Гильчевский сделался мягче и проще; наконец, весело расхохотался он, когда Добрынин предупредил его, что за ним числится неприятное дело в московском жандармском управлении в связи с появлением на вокзале митрополита Макария, и что к нему может прийти переписка «о неотдании чести его высокопреосвященству»...

— Нет, это мне нравится, как хотите! — отхохотав, заговорил Гильчевский, как свой на своего, глядя на нового в его дивизии командира полка. — И ми-тро-по-лит тоже туда же, начальство наше!.. Чего доброго, дождёмся мы тут приказа об изменении, а не то, так и полным прекращении военных действий за подписью: «Обер-прокурор Святейшего Синода Волжин»!.. Как это называется, позвольте? Теократия, а? Она, она, голубушка, она самая и есть!

Впрочем, когда откланивался ему Добрынин, отправляясь к своему полку, Гильчевский посоветовал ему взять себе в помощники Печерского, который «хотя и не семи пядей во лбу и звёзд с неба не хватает, но всё-таки как-никак втянулся уж в дело и знает, чего можно требовать от людей»...

Добрынин отозвался на это просто:

— Ваше превосходительство, я ведь и когда ехал сюда, твёрдо знал, что еду в боевой полк и что командный состав у меня будет не духовенство, — чем заставил начальника дивизии сказать, улыбаясь:

— Уверен, что вы возьмёте полк в твёрдые руки без всяких этих ежовых рукавиц, но и без поблажек.

8.

— Бывают же такие неудачи у людей, — говорил Ливенцеву, зайдя в его

блиндаж, Добрынин. — Я — новый командир полка, вы — новый командир батальона, а во всех батальонах вообще — половина новых солдат, так что, по новости дела, как бы нам всем новым не испортить репутации полка, — как полагаете?

Ливенцев изучающим взглядом ответил на слова Добрынина, прежде чем отозвался на них односложно:

— Иногда новизна бывает полезна, господин полковник.

Твёрдое в линиях, простое, серьёзное лицо Добрынина располагало сразу в его пользу всех, кто с ним встречался впервые, — бывают такие лица, — поэтому Ливенцев добавил, после небольшой заминки:

— Пожалуй, можно смело сказать: на девяносто процентов новизна полезна, иначе, посудите сами, откуда бы взялся прогресс?

— Гм... может быть, и на девяносто процентов, — хотя это вопрос очень спорный, — но вот что мне хотелось бы знать: наш полк, как он, по вашему мнению, из лучших в дивизии, или из худших? — спросил Добрынин.

— По-моему — самый худший, — ответил Ливенцев, при этом не задумавшись ни на секунду, так что Добрынин посмотрел на него удивлённо.

— Начальник дивизии мне не сказал этого, — не очень ли вы строги?

— А как сказал начальник дивизии? — полюбопытствовал Ливенцев.

— Я, конечно, ему такого вопроса не задавал, но думаю, что если бы полк был настолько плох, как вы считаете, то он бы дал мне приказ его подтянуть.

Добрынин был как будто прав, но Ливенцев видел по его глазам, что ему только очень хотелось быть правым, что он встревожен тем, что только-что услышал; необходимо было обосновать свой резкий отзыв.

— Лучшими полками я лично считаю 401-й и 404-й, — сказал Ливенцев, — и это по той простой причине, что там — прекрасные командиры — Николаев и Татаров; 403-й — хуже, потому что командир там хуже, — вот мои до-

воды, господин полковник. Есть пословица: «Каков поп, таков и приход».

— Позвольте-ка, вы не сказали всё-таки, почему же наш полк хуже даже 403-го?

— В нашем полку командир полка был такой, что его генерал Гильчевский отставил от командования за трусость, а подполковник Печерский... Ведь не ему вверили полк, а вам. Откуда же было взяться в нашем полку воинским доблестям, превосходящим обыкновенные? — спросил Ливенцев, чем вызвал вопрос Добрынина:

— Значит, по-вашему, полк, это — командир полка... по крайней мере, на девяносто процентов?

— На девяносто во всяком случае, господин полковник, — твёрдо ответил Ливенцев.

— Может быть, вы и правы, — после заметной паузы согласился с ним Добрынин, — но мне-то лично от этого не легче...

Продолжая как бы думать вслух, он добавил:

— Хорошо отчасти только то, что пополнения, — как солдаты, так и прапорщики, — всё-таки уже обстреляны, так что если бы нам дали время их ещё больше втянуть в обстановку фронта и подготовить, то, пожалуй, они бы и не осрамились в деле... Будем надеяться, что ещё хоть недельку простоим здесь в резерве...

Увы, не дано было даже и недели на подготовку к действиям полка в лесах и болотах: дней через пять Гильчевский получил приказ командировать два полка на реку Стырь, к северу от впадения в неё реки Пляшевки, в район расположения 7-й кавалерийской дивизии и в непосредственное распоряжение начальника её, генерала Рерберга.

Когда Добрынин, — вместе с полковником Тернавцевым, — получил в штабе дивизии приказ как можно скорее собраться и выступить, он сказал Ливенцеву:

— Я считал почему-то предвзятым ваше мнение о 402-м и 403-м полках. Но теперь вижу, что вполне оно совпадает с мнением самого начальника дивизии. В командировку, какую я получил, назначают обыкновенно по правилу: «На тебе, небоже, что мне не гоже»... И в то же время нам предстоит и в штабе корпуса, и в штабе армии поддержать престиж 101-й дивизии, как ударной... Задача трудная.

Гильчевский был очень обеспокоен главным образом тем, что его полки попадают под начальство Рерберга, которого ему не за что было уважать. Так как два полка, хотя и разных бригад, составляли в районе чужой дивизии отдельную бригаду, то Алфёров, внушавший ему больше доверия, чем Артюхов, был назначен руководить этими полками.

— А вдруг генерал Рерберг пошлёт нас форсировать Стырь? — спросил обеспокоенно Алфёров, и этого вопроса было довольно, чтобы надолго выбить из равновесия Гильчевского.

— Что вы, что вы — форсировать Стырь одной бригадой! — раскричался он. — В ней там сажён сорок ширины да две сажени глубины, да версты полторы болот по её долине! Кто же может приказать форсировать её одной бригадой?

— А если всё-таки возьмёт да прикажет, что тогда делать? — просил точных указаний Алфёров.

— Как что делать? Не говоря, разумеется, прямо, что он дурак, дайте ему понять это обняками, — вот что надобно вам делать!

— А что касается плетней и решёток, над которыми столько трудился нижние чины, их, может быть, всё-таки взять на всякий случай?

Гильчевский посопел, подёргал свои серые усы и сказал решительно:

— Плетни и решётки возьмите.

(Окончание следует)

ПАМЯТИ БОГДАНА

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

★

Идешь, бывало, к гордой круче
Над далями родной реки —
И вдруг увидишь взмах могучий
Простёртой бронзовой руки.

Замедлишь ты шаги глухие, —
Встанут в бессмертья вековом
Владимир, древняя София,
И Днепр сияет серебром.

И полон дум ширококрылых,
Ты чувствуешь — пылает вновь
Огнём былым в горячих жилах
Далёких наших предков кровь.

Не сон забытый, величавый
Преданий, смолкнувших навек, —
Челны дружины Святослава
И хищноглазый печенег;

И скрип батыевых повозок;
И сёла, города в огне;
Кочующий в дыму и грозах
Казак-бродяга на коне.

О, да! Былое — не могила,
Не тусклый силуэт креста.
И ныне князя Даниила
Поэг наш славит неспроста.

И ветер радостный и вольный
Принёс нам счастье наяву
В наш Киев, золотой и стольный,
В Кремлём венчанную Москву:

И где рассыпались оковы,
Где рухнул трон, там из земли
Дома росли поэмой новой,
Поля, как сказка, расцвели.

Но вдруг ударило набатом
Народа сердце. Загудев,
Гремит по всем домам и хатам
Титана ранежного гнев.

И встали на единоборство
Все братья с хищником-врагом,
Чтоб надломить его упорство
И нанести ему разгром.

Да, смерть в моём краю витает
Отравой чёрных крыл своих,
Но слава предков воскресает
Из наших подвигов святых.

Грозой стоит гора Чернеча,
Копытом бьёт Богданов конь.
Покрыта славою Унеча
Опять грохочет сквозь огонь...

Перевод М. Зенкевича.

ЛЮДИ УРАЛА

Ф. ПАНФЁРОВ



1. НЕТРОНУТЫЙ УРАЛ

1.

Я иду по звериной тропе. Она проложена в высоких густых желтеющих травах. Я нагибаюсь и рассматриваю следы диких коз, лося, волка, лисы. Вдоль тропы, по самой боковине её, тянется узорчатая, точно кружевная, стёжка. Это следы тетерева, рябчика, глухаря. Сколько же их тут, если они смогли проложить свой узорчатый шлях! А деревья какие! Вот сосны, золотистые, пламенеющие. Между сосен — лиственница, кудрявая и стыдливая, как девушка. Вон дубы. Суровые, мудрые богатыри. А вот совсем недалеко от меня, в ложбинке, раскинулись густые заросли малинника. Я вхожу в малинник, подставляю фуражку и дергаю за ветку. Тёмная, перезрелая малина сыплется на дно моей фуражки. Ух! Сколько её! И тут же я поднимаю голову. По правую сторону от меня что-то зашипело. Я резко поворачиваюсь. И вижу — на сосну вскочила белка. Она держится на стволе вниз головой. Шёрстка на спине вздыбилась, хвост распушился, как ламповый ёрш. Она быстро-быстро перебирает передними лапками и, глядя на меня, шипит. Я ударяю сучковатой палкой по стволу. Белка молниеносно взлетает на верхушку сосны и всё так же, глядя на меня, перебирая лапками, шипит.

— А-а-а,— догадываюсь я.— Мать. Где-то тут у ней, значит, детки. Ишь, какую силу ей придало материнство: на человека кинулась. Ну, живи! Живи, родная моя, — говорю я и даже раскланиваюсь перед ней.

И не успел я отойти от белки, как из густого кустарника вылетело что-то огромное, чёрное — вылетело с треском, с прохотом. Я даже дрогнул и попятился. Затем осторожно сделал шаг, два. Раздвинул кустарник. За кустарником поляна, вся усыпанная зрелой брусникой. Посередине поляны на старом, гнилом пне сидит глухарь-красавец. Ширкнув носом по коросте старорого пня, он искоса посмотрел на меня, как бы говоря: «А я ведь тебя совсем не боюсь. Это я так себе вылетел из кустарника», — и, спрыгнув с пня, раскачиваясь, пошёл по зарослям брусники, как полновластный хозяин этих сказочных мест.

— А я и трогать тебя не буду, — с обидой промолвил я и тут же засмеялся. — Ну да, так бы я и церемонился с тобой в другом месте! Пух бы только полетел, — и я направился в другую сторону, где за желтеющими листьями что-то блеснуло.

Мне показалось, что блеснула река, но это было небольшое горное озеро. Озеро лежало в котловане, окутанное по берегам густым лесом. Оно было спокойно и на его зеркальной глади распластались широколапые листья ли-

лий, напоминая уши каких-то причудливых зверей. А совсем недалеко от меня, опустив голову к воде, напрягая мускулы шеи, стоял пятнистый олень. Он пил долго. Затем поднял красивую голову, с поджатых губ в озеро упало несколько крупных капель. Завороженный, я долго смотрел на него молча, затем крикнул, ожидая, что он шарахнется в чащобу, но он только недоуменно глянул на меня и медленно пошёл в гору.

— Ну, разве это не во сне? — проговорил я.

— Не во сне, — произнёс кто-то. Я дрогнул и повернулся.

На крутой скале стоял человек в плаще-дождевике, на ногах ботинки с подковками. Ему, очевидно, лет сорок, а может быть, меньше: глаза свежие, молодые, но лицо репчатое, какое-то вафельное — это его старит. А вообще-то, кажется, от всего его облика веет чем-то лесным: он и приветливый, и страшный, как густой лес.

— Не во сне, — повторил он, затем спустился со скалы, взял меня за локоть и, подозрительно оглядывая меня, спросил:

— А вы тут что?

— Да так. Ничего.

— То-то ничего. А, может, ружьишко у вас?

— Да видите, нет.

— То-то нет. Здесь с ружьём быть — это всё равно, что ребёнка по лицу ударить.

— Несуразное сравнение, — сказал я. — А куда я попал?

— Куда? — человек снова подозрительно осмотрел меня и вдруг смахнул с головы кепи, тряхнул густыми волосами и даже выпятил грудь, как это делают поэты, выходя перед публикой на сцену. — Куда? В земной рай.

— Да ну вас. Шутите.

— Друг мой, — продолжал он возвышенно и так, будто мы с ним уже старинные друзья. — Да. Вы попали туда, куда стремятся все честные, благородные ученые мира. Вот куда вы попали. Вы не верите? Хоро-

шо. Я сейчас вам покажу чудеса из чудес.

Он подхватил меня под руку и повёл к котловану. На дне котлована виднелась вода. От воды, от стенок котлована и даже от нас исходил какой-то ярко-голубоватый свет.

— Вы, конечно, хотели бы посмотреть золото? — тихо, как в святая святых, заговорил он. — Вы все такие. «Покажи нам золото». Ну, знайте, тут неподалёку в долине найден самородок в два с лишним пуда весом. Вам достаточно? Но, друг мой, на свете есть вещи гораздо дороже золота. Вот посмотрите на это, — показал он на голубоватые стенки котлована.

— Мне кажется, — тихо и с трепетом проговорил я, — мне кажется, мы с вами ушли куда-то в глубь времен...

— И вы не ошиблись, друг мой, — подхватил он. — Эти породы, — он бережно дотронулся до стенок котлована, — эти породы выброшены сюда миллионы лет тому назад. И заметьте, они выброшены с самых глубин земного шара, — он чуть помолчал и начал ещё более возвышенно: — «Кажется, минералы всего света собраны в одном удивительном хребте сем и многое ещё предстоит в оном открытий, кои тем более важны для науки, что представляют все почти вещества других стран в гигантском размере».

— Вы заговорили на каком-то древнем языке?

— Да! Я цитирую знаменитого учёного, который больше ста лет тому назад был здесь и потом по всему миру разнёс весть о том, что минералы всего света собраны в этом земном раю.

— Вот это — минералы всего света? — и я ткнул пальцем в стенку котлована.

— Это? — почти задыхаясь от волнения, зашептал он: — Это... миаскиты. Понимаете? Это горная порода. Единственная в таком изобилии у нас. Миаскит — показатель, что тут есть редчайшие минералы — ильменит, апатит, циркон, сфен, эшинит, пироксид, натролит, хромит, гадраргиллит, альбит, конкренит, каолин, шеелит, корунд. Сто

двадцать! Сто двадцать! — вдруг закричал он так, как будто только-что сам всё это открыл. — Уран, торий, радиоактивные минералы. Хотите, я вам о каждом минерале расскажу поэму.

Но у меня уже и от того, что он перечислил, вспухла голова, и я вяло произнёс:

— А зачем всё это? Зачем? Ведь это не воюет.

— Как? — он даже отступил от меня и, посмотрев на меня сверху вниз, сурово произнёс: — Вы человек серьёзный, но и безграмстный. Вот что я вам по дружбе скажу. Вы не обижайтесь. На правду обижаться нельзя. Честнее: если не знаешь, спроси. — И, снова подхватив меня под руку, он вывел меня из этого чудесного котлована. — Скажу вам прямо, ныне воюет почти вся таблица Менделеева. И это я вам сейчас досконально докажу.

И он начал водить меня из котлована в котлован. Он показал мне копи биатита — чёрной слюды, копи цирконовые, копи, где преобладал солнечный камень. Он водил меня всюду. У меня уже отваливались ноги. А он всё водил меня и говорил-говорил.

— Да, да, друг мой. Вы попали в земной рай. Вам это не нравится? Ну, хорошо, вы попали на «Нетронутый Урал»; здесь, в этом хребте, все богатства Урала видны, как на экране. Вот, например, то, что сейчас воюет, сейчас, — проговорил он как-то сурово, показывая мне на кусок какого-то, как показалось мне, отшлифованного рукой человека вещества. — Это... Это шеелит. Самая крепкая, самая могучая броня! А вы говорите минералы не воюют!

— Как? Вот так берут отсюда и прямо на броню?

— Ну да.

— То-есть, — не унимался я, хотя уже чувствовал, что говорю глупость: — Вот прямо из этой породы и на броню?

Он рассмеялся:

— Да, вы, действительно, в минералогии человек наивный. Нет, друг мой,

это всё перерабатывается на заводах. Ну, ничего. Это даже хорошо, что вы так просто высказываетесь. Вот за это я вас и полюбил, — и он повёл меня в гору. — Я вам не показывал железо, уголь, платину, золото. Но я вам показал замечательные цветы земли — минералы. А теперь я вас поведу на вершину Ильмень-тау, и оттуда мы глянем с вами на всю красоту этого чудеснейшего в мире уголка.

2.

Мы стояли на вершине Ильмень-тау. Семьсот сорок семь метров над уровнем моря. Гряды гор тянулись от нас в глубь Уральского хребта. Далеко, в дымке, окружённые густой стеной лесов, плескались горные озёра. И вдруг где-то на стороне раздался трубный зов. Он прокатился над горами, по ущельям, торжественно и победоносно.

— Лось. Самец, — сказал мой новый друг.

Трубный зов неожиданно перенёсся в другую сторону... И мы увидели, как на поляну, совсем недалеко от нас, выскочили два огромных самца. Какую-то секунду они смотрели друг на друга, и разом, точно по команде, кинулись в бой. Два лося — старый, поседевший, и молодой — гладкий, лоснящийся. Старый был, очевидно, опытней: он двумя-тремя ударами сбил с ног молодого и, не глядя на него, пошёл к берёзовой опушке. Оттуда навстречу ему вышла поджарая, сиво-серая лосиха. Она шла медленно, вяло пощипывая траву. Затем пересекла поляну. Потом оба зверя скрылись.

— Свадьба, — сказал мой друг. — Свадьба. А не хотите ли я вам покажу озеро, где радиоактивная вода?

Через час или два мы спустились с горы, пробившись через густые заросли кустарника и повсюду, по ложбинкам, по руслам потоков, по берегам рек, увидели изрытую землю.

— Кто это и зачем так упорно тут рылся? — спросил я.

— Старатели. Золотоискатели. Мы с вами спускаемся в Миасскую долину.

Она славится золотом. Это здесь когда-то нашли самородок в два пуда с лишним весом. Но самородками ни одна страна не живёт. Россыпи — вот богатство этой долины. Но я ещё раз повторяю, друг мой, есть на земле то, что дороже всякого золота. Вот смотрите, — он раздвинул густые заросли ельника, и перед нами открылось огромнейшее, окаймлённое горами озеро. На нём сидели две башкастые, пушистые птицы и громко перекликались. — Гоголи, — проговорил мой друг. — Редчайшая птица. А озеро носит название Тургояк, что значит в переводе: «Не ступи моя нога». Видите, оно сейчас очень спокойное, но через пятнадцать-двадцать минут на нём могут разыграться такие волны, что ни на одной лодке не удержишься, потому и название «Не ступи моя нога». Но знаменито оно не этим, а тем, что тут радиактивная вода. — Он помолчал, затем тихо продолжал: — И вот такие озёра на Урале... Сорок семь тысяч гектаров отведено под заповедник... исключая это озеро! Сорок семь тысяч. Ещё в тысяча девятьсот девятнадцатом году Владимир Ильич Ленин приказал отвести это сокровище под заповедник, и с тех пор...

Я перебил его:

— И всё это зовёт к себе человека. Всё это надо встряхнуть, чтобы поставить на службу человеку.

— Ну, вы немного опоздали: за всю историю Урал не видел того, что он увидел за этот год. Человек, наконец, по-настоящему тряхнул его седины. Вы слышите?

Я прислушался. Откуда-то со стороны шёл визг и грохот.

— Слышите? Так пойдёмте и посмотрим, как человек начал встряхивать седой Урал.

Он повёл меня в сторону от границ «Нетронутого Урала». И тут мы увидели, как лесорубы с визгом подпиливали вековые сосны и как сосны с грохотом падали на заросшую травмами землю.

— Лесозаготовки, — пояснил он.

— И вам не жалко этих сосен?

— Жалеть, значит, не трогать Урала. А стране надо его по-настоящему встряхнуть. Эти сосны спешно отправляются на строительство. Совсем недавно здесь был академик Ферсман. Он нам рассказал, как лет двадцать пять тому назад, они, тогда ещё молодые учёные, стояли на балконе одной школы и, глядя на богатейший Урал, мечтали о том, что вот здесь будут построены заводы по переработке богатств Урала. Такой час наступил. Туляки строят, ленинградцы строят, киевляне строят, уральцы строят, москвичи строят. Вот даже это озеро Тургояк, которое мы с вами осмотрели, вскоре поднимут на три метра и, конечно, в его горловине будет поставлена электростанция. А потом на берегах озера вырастут дома отдыха...

Он смолк, видимо, представляя себе будущее этого озера, а я спросил его:

— Да кто вы есть, что так хорошо знаете всё тут?

— Я? Я обыкновенный человек. Любитель минералов и поклонник седого Урала. Звать меня Николай Александрович. Фамилия — Корнеев. Запомните, если не скучно. Я думаю, мы с вами ещё встретимся, — и, подав мне руку, он направился к лесорубам.

2. МОСКВИЧИ

1.

Казалось, никогда поезд не отходил так медленно, как в этот час, да и под колёсами платформы, сплошь загруженной станками, что-то неприятно хрустело, как попавшее на зуб стекло... Ивана Герасимовича Плотникова от этого всего передёргивало. Он старательно кутался в пальто, тянул вверх плюшевый воротник, всё намереваясь им прикрыть уши.

— Ведь говорила она мне: «Ваня, бери с тёплым воротником», — вспомнил он совет жены, когда они вместе покупали пальто. Но тогда Иван

Герасимович, улыбаясь, ответил ей: «Да что ты, Маша! Волков, что ль, мне караулить?» — А оно, вишь ты, и пригодилось бы теперь с тёплым-то воротником, — Иван Герасимович сказал это так, как будто вся тяжесть этого дня и заключалась в плюшевом воротнике. Тяжесть же заключалась совсем в другом. Он гнал её от себя прочь, понимая, что если поддастся ей, она придавит его, как каменная глыба. И он отталкивал эту глыбу от себя, старался не думать о ней, а она наваливалась, давила. — Ох, ты-ы! Уснуть бы, что ль. Ведь тоской беды не поправишь, — шептал он, стараясь думать о другом: и о том, почему такой неприятный хруст под колёсами платформы, и о том, как будет трудно машинисту ночью вести поезд без огней, и не перемерзнут ли на платформе станки... но о чём бы он ни думал, он всё равно возвращался мыслями к семье.

Всего только два дня тому назад его жена, прихватив с собой беременную сноху и трех племяшей, спешно покинула Москву и отправилась куда-то в Сибирь, в какой-то Барнаул. На прощанье она поцеловала его и, сдерживая слезы, проговорила:

— Ваня! Тридцать лет мы с тобой прожили... А вот теперь?.. (Свидемся ли?)

— Ну, что ты?.. Вот ещё выдумала, — ответил он ей, а сам тоже подумал: «Свидемся ли?»

И вот она уехала. А сыновей — старшего — инженера — призвали в армию в первые дни войны, второго — младшего — в школу лётчиков.

— А ведь как жили-то мы? Жили-то как! — и Иван Герасимович ярко представил себе свою квартиру из четырёх комнат, с газом, с паровым отоплением и то, как в праздничные вечера вся семья собиралась за столом. Пили чай из большого самовара и читали «литературную новинку». Читал младший сын, увлекательно, с пересказами. В доме все знали, что Петя и сам пишет стихи. Иван Герасимович одобрял такое в сыне и поутру, видя,

как из ворот сборочного цеха завода вылетают новенькие машины «Зис сто один», говорил: «Ты бы, Петя, вот про эту умницу что-нибудь сочинил».

— Да я, папа, только чужие стихи читаю, — отвечал сын и краснел, как девушка.

— Ох, какие они у меня все хорошие, — прошептал Иван Герасимович, кутаясь в пальто. — И вот их нет около меня. Нет ведь, — чуть не закричал он. — Один я остался, как... как колышек в поле, — и ему стало так тоскливо, что он уже не в силах был сидеть.

Дул холодный, пронизывающий ветер. Иван Герасимович поднялся и посмотрел вперёд, желая во что бы то ни стало с кем-нибудь поговорить. Впереди были такие же платформы, также загруженные станками, и на каждой из них маячили фигуры людей. В сумерках Иван Герасимович рассмотрел на соседней платформе своего закадычного друга Григория Петровича Разумова. Ох, мужик, золотые руки! Ведь это ему звонил, бывало, нарком: «Григорий Петрович, прошу вас, езжайте на завод номер два, неполадки там, посмотрите и наладьте». «Один не могу. Разрешите прихватить Плотникова Ивана Герасимовича», — отвечал Разумов. «Ну, что же, вместе и езжайте». И вот они отправлялись на завод номер два, в отдельном купе. — А теперь и у Григория Петровича семья разлетелась... — подумал Иван Герасимович и хотел было позвать его, но в эту минуту платформы стукнулись и поезд остановился. Григорий Петрович Разумов перегнулся и окликнул:

— Иван Герасимович! Сидишь?

— Сажу. Стою. А что?

— Да-а, так, — неопределённо протянул Разумов. — Станция-то знакома тебе?

— Как же? В прошлом году всей семьёй по прибытии сюда ездили. Эх, и грибное место! Белый гриб сплошь, а то и грузди.

Немного погодя, Разумов снова спросил:

— Ждал ты, что вот так поскачешь?

— Ну, где...

— Мирно мы жили, нечего говорить, — закончил Разумов и смолк.

И они оба повернулись в сторону Москвы.

Над Москвой кучились густые сумерки, переходящие в ночь. И вдруг там, в густых сумерках, начали вспыхивать огоньки. Они рвались, гасли и снова вспыхивали, и вспышки были такие мирные, такие красивые, как фейерверки. Казалось, что Москва справляет какое-то торжество.

Но они оба знали, что Москве теперь не до торжеств. Вот уже разорвалась там первая бомба, вторая... Вот отвалился угол дома... И, несмотря на весь ужас бомбёжки, им вдруг обоим захотелось быть вместе с жителями этого огромного города.

— Эх! Никогда бы я не покинул своей Москвы, ежели бы...

Разумов прервал Ивана Герасимовича:

— Ежели бы прежде по грибы-то не хаживали...

Иван Герасимович повернулся и долго смотрел в лицо своего друга, думая: «А, может, он прав? Может, и в самом деле нам надо было работать и день и ночь? Тогда, может быть, и с семьёй не случилось бы того, что случилось? Да, но разве я не честно относился к своей работе?» — и Иван Герасимович резко и зло кинул:

— Ты меня не кори. А то и у меня слова такие найдутся, с ног сшибу.

— Да я и не корю. Сам весной новую корзину приготовил, вот, мол, скоро по грибы пойду. А только больно уж очень велика на сердце: бандюги какие-то на Москву лезут. Их бы на Север, да лес пилить... а они...

Разумов ещё что-то крикнул, но поезд тронулся и в грохоте платформ ничего невозможно было разобрать.

Сумерки быстро перешли в ночь. Ветер, холодный, пронизывающий, завизжал в станках. Москва уходила. В тёмной ночи ещё ярче стали вспышки. Тогда Иван Герасимович протянул руки по направлению к Москве и прошептал:

— Прощай, родная, прощай! — и тут же почувствовал, как у него полились слезы.

2.

На восемнадцатый день их эшелон остановился у подножья гор «Петропавловского Урала», на маленькой, невзрачной станции. Потом прибыл второй эшелон, третий, четвёртый... десятый, и все пути забили платформы, загруженные станками, оборудованием. Станки и оборудование заиндевели, поседелели, так что до них боязно было дотрагиваться, и те, кто сопровождал эшелоны, почернели тоже, обожглись морозами, обросли бородами, глаза у всех ввалились и каждый постарел лет на пять-десять.

Иван Герасимович тоже почернел, тоже промёрз, тоже постарел, но он за эти длинные, студёные ночи, сидя на платформе под жгучим ветром, продумал всю свою пятидесятилетнюю жизнь и понял одно, что его семья, он сам и все его лучшие друзья без своей страны, без родины жить не могут, что лучше погибнуть, чем преклониться перед теми, кто занёс меч над судьбой страны, — вот почему у него появилась огромная и непокорная вера в победу, в свою страну и, в первую очередь, в свои силы. И когда он услышал о том, что немцы позорно бежали из-под Москвы, то сказал:

— Это только начало — первый удар кулаком в поганую морду. Погодите, не то ещё будет. Вот мы развернёмся, — и он вместе со всеми отправился в городок, расположенный в десяти километрах от станции.

Городок был весьма мирный и имел двухсотлетнюю историю. В нём жили старатели — золотоискатели. Люди эти были хорошие и жили своей жизнью: в песках, в насосах отыскивали крупинцы золота, и каждый мечтал «нарваться на самородок». Золото сдавали в соответствующие учреждения и в праздничные дни пили, «как сивые меренья». Ивана Герасимовича удивило в городке другое — приземистые, из толстых сосновых брёвен избы, почерневшие ворота,

тайные запоры и высокие каменные стены. Только потом он узнал, что старательская работа очень трудная, тяжёлая и скрытная. Нельзя разбалтывать о найденных россыпях золота: нето другие налетят и себе ничего не останется. Старатели жили поэтому замкнуто, отгороженно, как были отгорожены их хаты высокими каменными стенами.

Вот в такой городок и ворвались москвичи. Они принесли с собой обычай Москвы. Они пригласили жителей на строительство нового завода, на разгрузку и установку станков. Большинство старателей встретило москвичей хорошо: старатель — человек вообще не только предприимчивый, но и весьма азартный, любознательный. Но иные встретили москвичей так, как в былые времена староверы встречали православных: брезгливо и недоверчиво. С одним таким суровым и недоверчивым старателем и столкнулся Иван Герасимович. Мужичку было лет под сорок пять. Из себя худой, высокий и погнутый, как длинная берёза в густом сосняке. Иван Герасимович остановился у него в хате — тёплой, с широкими полатями. Вечером не по годам моложавая хозяйка поставила на стол самовар, горячие лепёшки, затем пригласила Ивана Герасимовича откусать. Он сел на табуретку и, допивая второй стакан чаю, всматриваясь в морщинистое лицо хозяина, спросил:

— Что ты, братец, какой суровый, а-а-а? Болит что ль чего?

Хозяин стукнул большим пальцем о стол и буркнул:

— Супротивник я.

Иван Герасимович недоумённо посмотрел сначала на него, потом на хозяйку. Хозяйка вспыхнула и быстро заговорила:

— Да он... — Но хозяин, пригрозив ей всей ладонью, снова буркнул:

— Супротивник. Ну, вот, хошь милуй, хошь казни. Фамилию мою хошь знать? Звенкин я.

Больше ничего путного от него Иван Герасимович не добился.

Каждое утро они поднимались чуть свет. Завтракали. Выходили во двор. Тут Звенкин долго шарил на заваленке, затем, отыскав там огромный, заржавленный, длиною в полметра ключ, открывал им калитку и, снова пряча его на заваленке, выходил на улицу.

— Эко! Ключ-то! Таким быка вполне можно свалить, — удивлялся Иван Герасимович. — Зачем это тебе такой?

— А воры?

— Воры? Они, воры, и через забор могут перемахнуть. Ты бы пожертвовал его в фонд обороны. Железа-то сколько.

— Пожертвую ещё, — бурчал Звенкин и шагал впереди — высокий, размашистый, как ветряная мельница.

Звенкин шагал всегда впереди, не замечая того, что Иван Герасимович то и дело от него отстаёт, что ему вообще такое путешествие — девять километров до строительной площадки и девять обратно — не под силу.

— Что за человек такой, жестокий, — думал о нём Иван Герасимович.

А Звенкин в это время думал своё:

— Земля на то и дана, чтобы шагать по ней.

И только на пятый или шестой день, когда они вернулись домой, хозяйка увидела, как обессилел Иван Герасимович. Входя в избу, он еле волочил отёкшие ноги.

Тогда хозяйка гневно и с укором посмотрела на своего мужа:

— Ты чего же, эй, гостя-то до чего довёл? А-а? Зенки-то где у тебя? — и она кинулась к печке, достала юттуда горячую воду, налила её в корыто и, несмотря на возражения Ивана Герасимовича, помогла ему разуться. Затем бережно и нежно, как мать ребенка, отпарила ему ноги.

В этот вечер и в глазах Звенкина что-то дрогнуло. Он куда-то сбегал, принёс водки, разлил по стопочкам, затем скупно сказал:

— Извини уж меня, Герасимыч. А и то — глаз-то у меня на затылке нет. А это с устатку ногам полезно есть. — Выпив вместе с Иваном Герасимовичем, он наклонился к нему и

снова скупно сказал:— Такая статья — давай в барак подаваться. Неделю там, а в воскресенье сюда. Тут Зина нас отогревать будет.

И они переправились на строительство, в тёмный, дыоаявый барак. Здесь их встретил Разумов. Он поселился в бараке с первых дней, решительно отказавшись от города.

— У меня ревматизм ног, и таскаться я туда не могу.

Друга своего он встретил с распротёртыми объятиями, а на Звенкина посмотрел недоверчиво и даже с какой-то ревностью:

— Кто это дылда такая около тебя?

— Хороший человек. Впрочем, супротивник. Но чего супротивник — не говорит, — ответил Иван Герасимович.

Так они и зажили в углу барака, отвоёвав себе три койки. В помещении было холодно и зябко, как в промёрзшем подвале, и эта стужа часто тревожила сон Ивана Герасимовича. Он просыпался ночью, грел то один бок, то другой, охал, вздыхал и, под конец измученный, засыпал. Звенкин предложил ему свой тулуп. Иван Герасимович отказался. Но спал он в эту ночь очень крепко. И только проснувшись раньше всех, он увидел, как Звенкин тихонько стаскивает с него свой тулуп.

— Хэ, хитёр, — подумал Иван Герасимович и хотел было отругать его, но тут же, увидев, с каким мальчишеским озорством Звенкин тянет с него тулуп, притворился спящим.

3.

Площадки под станки были расчищены. Даже кое-где заложены фундаменты. Теперь надо было разгружать эшелоны. И вот тысячи людей ринулись к ним. Станков было так много, что со стороны казалось, целый город уложен на платформы и город этот зайндевел, замёрз. Люди не имели опыта пружчиков. Они брали тяжёлые промёрзшие станки голыми руками, и то-и-дело слышалось: «Осторожней, это вам не бревно: расколется, как сахарница». А тут ещё откуда-то поднимались уральские снежные ураганы.

Они озорно бушевали в долине, налетали на людей, рвали на них одежду, морозили пальцы, щёки, носы, уши.

— Сатанинская работка, — говорили люди.

Временами хотелось эту «сатанинскую работку» приостановить, подождать более подходящей погоды, но на площадке были уже заложены фундаменты цехов, десятки заводов Урала уже готовили детали для будущего мотора. Страна требовала моторов без прсмедления, вот сейчас же, сию же минуту, нето погибнет твоя семья, ты сам, твои лучшие друзья. Вот почему люди работали день и ночь, стаскивая с платформ седые станки, седое оборудование, волоча всё это по снегу, таща на своём горбу. И часто окрестность оглашалась громкой «дубинушкой». Её пели люди, охрипшие от стужи, от недоедания, от утомления.

Иван Герасимович тоже, как и все, отмораживал себе то пальцы, то уши, тоже, как и все, находил себе отраду, когда новоиспечённые повара подавали горячие щи. Его, как и всех, радовало то, что станки ставятся на места, что кирпичные стены цехов растут, что на зданиях уже возводятся с сосновыми переплётками крыши и что где-то в стороне достраивается баня, — о которой так соскучилось его тело.

— Побеждаем. Побеждаем, друзья вы мои, — говорил Иван Герасимович, когда они приходили в барак.

— Да. В этом и есть великая сила человека — побеждать, — подтверждал Разумов и долго смотрел в почерневшую стену барака. Он смотрел так, потому что совсем недавно получил письмо, в котором сообщалось, что старший сын его тяжело ранен, «может, останется без ног». Но он об этом никому не говорил, как вообще они не говорили о своих семьях; только каждый в отдельности крепко и тоскливо думал о них.

4.

Из-под оврага, урча и напрягаясь, выбирался трактор. Он хрипел, отплёвывался дымом, сползал обратно и

вдруг, набравшись сил, рванулся и выскочил на бугор, волоча за собой огромные сани, заваленные сосновыми брёвнами. За ним выбрался второй, третий... затем потянулись подводы.

— Куда лес? — спросили мы.

— На строительство. Москвичам. Слышали такое?

И мы отправились вместе с возчиками.

Вот он, новый завод и новый городок. На огромной площади разбросались корпуса. Иные уже закончены, иные только ещё воздвигаются, к иным только подвозят кирпич, лес... А чуть в стороне от завода, в сосновом бору, красуются домики, достраиваются клуб, столовая. Тут же заложен новый город.

Мы входим в ворота завода и попадаем в сборочный цех. Это огромное, светлое здание, с сосновыми переплётками сверху. В здании пахнет сосной, как на даче. За станками люди — пожилые, но больше — женщины и подростки. Вот один подставил ящик, взобрался на него и что-то командует. А вот и конвейер. На конце его стоит человек и напряжённо всматривается в готовый мотор. Ему лет под пятьдесят. Лицо обросло седой щетиной. Густые брови опущены, но губы играют улыбкой. Это наш старый знакомый, москвич, Иван Герасимович Плотников.

— Пришли? — проговорил он, за просто здороваясь с нами.

— Пришли.

— Ну, вот и ладно. Программный сегодня выпускаем. Видите, какая шарьш-ка? — показал он на мотор и тут же повернулся в сторону двери. — Э-э. Идёт. Другок мой идёт. Разумов. Он в «коробке скоростей» орудует, а я вот тут. Стихия сегодня.

— Что за стихия?

— Шумят малость, раз программный, значит, каждый славы себе хочет. Вот послушайте-ка, чего Разумов наговорит.

К Ивану Герасимовичу подошёл сутуловатый, с впалыми щеками человек. Подавая руку, проговорил:

— Ну, поздравь меня.

— Тебя-то, за что? — удивился Иван Герасимович. — Мы мотор программный выпускаем, а его поздравь!

— А что вы без коробки скоростей, — смотри, и захромали бы!

Иван Герасимович повернулся к нам:

— Вот. Вот он какой, мой дружок. Когда программу не выполняли, он всё меня грыз и на меня всё валил. А сейчас, глядите-ка чего, — и тут же забеспокоился, видя, как «программный мотор» положили на грузовик, и грузовик выкатил из цеха в открытые ворота. — Пойдёмте, пойдёмте туда.

За воротами цеха на грузовике лежал единственный мотор. Около него собрались рабочие. Разумов начал было взбираться на грузовик, но Иван Герасимович остановил его:

— Нет, ты не шути, — сказал он и сам взобрался на машину. Он долго смотрел на людей, на их исхудавшие лица, на припухшие от мороза руки, затем глубоко вздохнул. — Тяжело. Что и говорить. Но сыновья-то наши воюют в окопах да в земле. Им честь. А мы с вами завод у мороза отвоевали. Ой, за это нам честь большая. Одни мы, москвичи, конечно, не справились бы. Старатели помогли — решительно говорю. Ну, вот и всё. А теперь засучай рукава, да давай сверхпрограммный мотор.

Иван Герасимович спрыгнул с грузовика и направился в цех. Около одного станка он остановился и, показывая на рабочего — длинного, как колодезный журавель, сказал:

— Это есть Звенкин. Золотая голова и приятель мне до гробовой доски, но супротивник. Зачем? Молчит.

Звенкин туго улыбнулся, вытер руки о тряпицу, почему-то посмотрел в потолок и с хрипотой выдавил из себя:

— Герасимыч, Зина обижается: который месяц глаз к ней не кажешь. А-а? Может, сегодня, по случаю праздника...

— Это ты верно: в тяжёлую минуту Зина ноги мне мыла, а теперь я вроде нос ворочу. Давай. Сегодня вечерком.

Вечером, сев в автобус, мы катили в городок. А через час или пол-

тора уже сидели за столом. На столе бушевал самовар, вкусно пахли лепёшки и кипело масло на сковородке с жареной картошкой. Хозяйка Зина хлопотала у стола.

— Ждала я вас сегодня, Иван Герасимович, — возбуждённая какой-то скрытой радостью, говорила она. — Своему-то молчальнику сказала я: «Привези ты его мне».

— Вот и привёз. Вот и привёз. Вот и привёз, — бубнил Звенкин, туго улыбаясь.

— Глядите, чего? — подхватила Зина. — Улыбаться ведь стал. Мой-то. А я всё думаю, может, и говорить начнёт, как люди. А то ведь молчит.

Иван Герасимович, расправя плечи, глядя в глаза Звенкина, вдруг неожиданно спросил:

— А, может, теперь скажешь, что ты есть за супротивник?

— Скажу, — объявил Звенкин и даже поднялся, взмахнув длинными руками.

— Ой, — вскрикнула Зина и покраснела.

— А ну! Скажи! — подзадорил Иван Герасимович.

— Сороку я съел.

Иван Герасимович с удивлением и испугом посмотрел на него:

— Сороку? Это к чему же?

Звенкин чуть подумал, сел, уткнулся лицом в стол и сказал:

— Было это пятнадцать годов назад, конечно. Ну и сбили меня, сказали: «Ежели в неурочный час в бане съешь сороку, — тогда самородок в пять пуд найдёшь, и никто не узнает, хоть сам уголрозыск».

— Ну, ну?

— Ну, и съел. Пошёл в горы. Гляжу, лежит, сверкает... Я цоп его и потащил, всё равно, мол, никто не увидит. Ан, увидели и недопустили. Ну, вот с тех пор супротивник я.

— Чего супротивник-то? — снова недоумённо спросил Иван Герасимович, во все глаза рассматривая Звенкина.

— Власти... — ответил Звенкин.

— Власти? Ты сороку съел, а она тут при чём?

— Примету нарушила, — Звенкин отвернулся и посмотрел в тёмное окно, ватем хотел было ещё что-то сказать, но Иван Герасимович, сдерживая смех, снова его спросил:

— И съел? Сороку?

— Съел, — ответил тот.

— А в каком виде?

— Ну, понятно, в сыром...

— Эх, ты-ы, — у Ивана Герасимовича вырвался такой хохот, что даже задребезжали стаканы. — Эх, дитё неразумное. Да зачем тебе искать какие-то пятипудовики золотые, коль у тебя у самого руки золотые?

Звенкин посмотрел на свои руки и, мягко улыбаясь, сказал:

— Ноне понял, Герасимыч, через науку твою. Станком ведь овладел. А он, станок, — умный. Но как я им овладел, значит, я умнее его, выходит. Эдак ведь?

— Ну, конечно, — Иван Герасимович поднялся, подошел к Звенкину и погладил его по голове, как малыша. — Эх, дитё! Душа-то у тебя чистая, да больно много мусору на неё навалено.

А Зина вся горела. Она сидела в углу стола, расширенными глазами смотрела то на мужа, то на Ивана Герасимовича.

— Ох! Ох! — вздыхала она и, улучив минуту, сказала: — И чего это мы как полюбили вас, Иван Герасимович? Вроде породнились?

— Породнились и есть.

— Вот семейство бы ваше сюда. А-а-а?

Иван Герасимович взял её за локоть и крепко пожал:

— Спасибо тебе. Вот какое спасибо за ласку твою. И ещё отвечаю — едет, семья-то моя. В домике новом квартиру дали. И собираемся, значит, в одном месте. — Он подумал, чуть с грустью посмотрел куда-то в сторону, затем добавил: — Думаю, вот война остановится, мерзавцев-немцев расколотим, сынки мои заявятся. Ну, тогда я их всех к тебе в гости, — весело и шумно закончил он.

— Милости просим. Рады будем, — пробубнил Звенкин.

А Иван Герасимович повернулся к нам и с большим волнением проговорил, показывая на Звенкина:

— Вот, коснись любовно до сердца человеческого, и человек в люди пойдёт. И выходит, стало быть, мы тут, москвичи, как у себя дома... Будь здоров, друг мой, — он поднялся, подошел к Звенкину и неожиданно расцеловал его.

Звенкин вскочил, раскинул длинные руки и заморгал, бормоча:

— Ну... ну... сроду такого не было, сроду. И сроду не забуду. Слышишь, Герасимыч?

3. ГОРОД НА РЕКЕ

1. КОНЕЦ ЛЕГЕНДЕ

Поезд тащит нас в горы. Он то-и-дело петляет, как заяц. Попетляет этот километров десять, и, смотришь, мы опять на старом месте: совсем близко от нас виднеется полотно железной дороги, по которому с полчаса тому назад прехали. А поезд, как ни в чём не бывало, кряхтя и тяжело вздыхая, снова ползёт по боковине хребта.

Я стою в коридоре вагона и в полузамёрзшее окно смотрю на чудеснейшие долины, на девственные леса, на следы зверей, вытоптанные на снегу, и кажется мне, в мире нет ещё такого красивого уголка, как этот уголок Урала.

— Ага. Вы опять здесь?

Я повернулся. Меня за плечо держал мой знакомый, с которым мы месяца два тому назад случайно встретились на «Непронутом Урале». Он всё такой же стремительный и жизнерадостный. Только теперь на нём не плащ, а дублёный полубубок и шапка-ушанка, да ещё почему-то нехвагает у него двух верхних передних зубов.

— Николай Александрович! — воскликнул я. — Вы-то какими судьбами здесь?

— Я-то — это особо. А вот вы-то как? К нам, конечно, едете?

— Это куда же, к вам?

— В город на реке Ай.

— Да. Да. Мне много рассказывали

про этот город. Но сейчас я просто рад видеть вас.

— И не раскаетесь. Не в том, конечно, что увидели меня, а в том, что побываете в нашем городе. Да, да, не раскаетесь, друг мой. Видите ли, наш город, как и большинство городов Урала, имеет свою легенду.

— Это какую же?

Николай Александрович поцарапал ледок на стекле окна и тихо начал:

— Вы, очевидно, слышали про клинки из дамасской стали? Ну, конечно, слышали. Что я спрашиваю! Так вот, такие клинки в былые времена передавались из рода в род, за такие клинки отдавали гурты овец, табуны коней, целые состояния. Про такие клинки пелись песни. И весь мир стремился постигнуть тайну этого клинка. Но никто этой тайны открыть не мог. И вот в нашем городе появился некто Аносов, инженер. Он мог бы, как и все инженеры того времени, прожить свою жизнь спокойно — в семейном уюте, за картишками. Но Аносов был человек с искоркой. Он и решил во что бы то ни стало открыть секрет дамасской стали. Тут-то вот, друг мой, и начинается легенда. Да ещё какая! Сначала он отправился в Азию. На такое путешествие ему понадобилось семь лет. Но в Азии он узнал только то, что секрет хранится в самом городе Дамаске. Вернувшись домой, он прихватил с собой слуг и под видом путешественника отправился в далёкий Дамаск. По дороге на них напали разбойники. Слуги были убиты, имущество разграблено, да и сам Аносов едва вырвался из лап разбойников. Но человек он был упорный: без средств, без денег, с одним только кувшином воды, он через пустыню направился в Дамаск. И тут, в пустыне, натолкнулся на старика, умирающего от жажды. Аносов отдал ему последние капли воды. Старик ожил и пригласил его к себе. Оказалось потом, что этот старик и есть нужный ему мастер дамасского клинка. Старик полюбил чужестранца. Так полюбил, что отдавал за него свою дочь — красавицу. Семь лет прорабо-

тал у него Аносов. И, умирая, старик передал ему секрет дамасской стали. Аносов вернулся в наш город и стал вырабатывать чудеснейшие клинки, прославляя на весь мир нашу родину. — Николай Александрович тут смолк, и потом с грустью добавил: — Вот какая легенда сложена. А ныне этой легенде конец: совсем недавно наши инженеры в опытной электропечи выплавили дамасскую сталь и определили, что она — лучшая когда-то в мире сталь — куда хуже той стали, какую мы даём нашей армии. Но об этом никакой легенды, друг мой...

— Ну, легенда будет сложена, да ещё какая. А вот относительно того, что выплавили в электропечи дамасскую сталь, — это вы шутите.

— Вот ещё. До шуток ли теперь? Я вам всё это покажу, если вы уж меня так раззадорили.

И мы с ним прямо с вокзала направились в город. Километров шесть или семь мы шли вдоль пруда, покрытого льдом. Я всё время внимательно всматривался в Николая Александровича, уверенный в том, что на счёт выплавки в электропечи дамасской стали он сочиняет... и в то же время искал возможность спросить его, кто он, откуда и зачем приезжал тогда на «Нетронутый Урал», и откуда он так хорошо знает и про минералы, и про сталь.

«Да, надо спросить», — решил я и уже разинул было рот, но Николай Александрович весь всколыхнулся как-то, вскрикнул:

— А вот и город! Вот и город! Чудесный старинный город!

Город лежал в долине, стиснутый со всех сторон высокими, поросшими соснами горами. Улицы его были извилистые, кривые, усыпанные небольшими деревянными домиками, огороженными каменными заборами. Но вот и центр. В центре кое-где виднеются старинные приземистые, толстостенные дома с колоннами. Подведя меня к одному из таких домов, Николай Александрович сказал:

— Входите, — и, пропустив в дверь,

повернулся к караульному. — Это со мной.

Караульный заулыбался во всё лицо:

— Пожалуйста, Николай Александрович, — и переложил с одного плеча на другое тульскую двухстволку.

«Странно. Его знает даже этот караульный, — подумал я. — Ну-ка, я его сразу спрошу, кто он?» — но он так стремительно побежал по лестнице вверх, что я еле успевал за ним. А он уже ворвался в кабинет и, обращаясь к человеку за столом, проговорил:

— Вот привёл к вам. Не верит, что вы в электропечи раскусили тайну дамасского клинка.

Человек осмотрел меня с ног до головы, затем улыбнулся, протягивая мне руку:

— Винокуров. Главный инженер. Что ж, это хорошо, когда на слово не веришь, — и повёл нас в комнату с толстыми стенами и сводчатым потолком.

От комнаты веяло чем-то древним. Между прочим, чем-то древним веяло и от незнакомого старичка, который стоял рядом с огромным шкафом византийского стиля. За стёклами шкафа виднелись клинки всех видов и всех эпох.

— Это Киселев, Василий Андреевич, — Николай Александрович обнял старика. — Ему семьдесят шесть лет. Шестьдесят шесть лет он проработал на этом заводе. Эге. Значит, видал виды. А ну, Василий Андреевич, покажите нам свою гордыню.

У Василия Андреевича вдруг налились кровью губы. Взволнованно он открыл двери шкафа и, достав оттуда клинок, подал нам.

Клинок небольшой, весь разукрашенный тончайшими рисунками.

— Это настоящий дамас, — проговорил он и, достав второй клинок, заговорил уже более торжественно: — А это вот наш дамас, то-есть, тот, какие мы вырабатывали здесь и секрет которого достал известнейший в мире сталеваров инженер Аносов. — Василий Андреевич согнул почти в дугу кли-

нок, затем ногтём провёл по лезвию, и клинок издал тончайший звук. — Вот такие, — продолжал он, — я делал и абиссинскому негусу, и японскому императору, и китайскому...

— А дайте-ка нашу шашку, Василий Андреевич, — не утерпел Николай Александрович. — Нашу. Последнюю.

Василий Андреевич нахмурился и с неохотой подал Николаю Александровичу шашку в блестящей оправе. Тот ткнул её в пол и согнул в дугу. Затем быстро отдёнул: шашка мгновенно выпрямилась. Тогда Николай Александрович очертил ею в воздухе несколько кругов, как это делают кавалеристы, и шашка запела — тонко и звучно.

— А ну-ка, пусть и ваш дамас так споёт, — предложил он.

Василий Андреевич смущённо произнёс:

— Он на такое не способен.

— Ага! Не способен? А ну, держите его крепче в руках. Вот так держите, как на рубке, — и Николай Александрович со всей силой опустил шашку на дамасский клинок. На клинке осталась зарубина, на шашке — никакого следа. Тогда Николай Александрович воскликнул: — Всё изрубит! Эта всё изрубит!

Василий Андреевич сначала растерялся, как человек на скачках, который вдруг увидел, что его знаменитого коня обгоняет другой конь, а затем вздохнул:

— Да-а. Видите ли, — он хотел было что-то возразить, но только развёл руками. — Что ж?.. Ничего не поделаешь. Крепче.

Главный инженер, видя, как расстроился старичок, мягко сказал:

— Василий Андреевич, вы не сдавайтесь: слава за вами.

— Слава-то славой, — даже как-то гневно оборвал его Николай Александрович, — а раболепски преклоняться перед старинушкой просто вредно. Это присуще только старым девам. Нам же с вами воевать надо. А ваш клинок, Василий Андреевич, ныне уже не воюет. Воюет вот эта сталь, — он снова взмахнул шашкой. — Да и то

не в таком оформлении, а в другом. Идёмте, я вам сейчас покажу, в каком оформлении сталь воюет, — и стремительно выбежал из комнаты.

Мы с Винокуровым переглянулись.

— Замечательный мужик, — проговорил он, спеша за Николаем Александровичем.

А Николай Александрович уже открыл дверь в старинное прокопчённое здание. Тут всё кипело, гремело, скрежетало, пахло гарью, и стоял звон, стук молотов. Из горна женщина щипцами доставала раскалённый кусок железа. Сосед рабочий подхватил у ней кусок, тиснул его в один жем, в другой — и кусок железа превратился в нечто, похожее на топор. Рабочий перекинул это своему соседу. Тот тоже тиснул в жем — раз, два, три — и бросил на земляной пол.

— Здорово! — воскликнул я.

— Топоры! — произнёс Винокуров.

— Вот этим тоже когда-то воевали — топорами. Но если бы мы до сих пор держались за топор, нас смели бы с лица земли мерзавцы, — сердито проговорил Николай Александрович и повёл нас в следующую дверь.

В новом цехе мы увидели, как вырабатывались шашки. Их так же отжимали, тискали, мяли, точили на огромных камнях, вделывали в оправу, затем в ножны... Шашек тут было так много, что, казалось, их хватит на всё наше казачество.

— Это тоже воюет, — уже мягче заговорил Николай Александрович. — Но... но если бы мы держались только за них — нас всё равно бы смели мерзавцы. Страшно, но у нас иногда вцепятся в слово какого-нибудь великого полководца и долдонят, и долдонят. Дескать, Суворов сказал: «Пуля — дура, штык — молодец». Ну и давай, наваливай на штык. А Суворов сие сказал по нужде: пуля-то у него было мало, ну, значит, и наваливай на штык. А если бы Суворов увидел вот это, он бы сказал: «Вот они молодцы!» — Николай Александрович с разбегу ногой толкнул дверь и, влетая в другой

цех, раскинул руки: — Вот они. Вот они, наши победители!

Помещение, куда нас ввёл Николай Александрович, было огромное, светлое, по всему видно, недавно выстроенное. На прилавках, напоминая собою небольшие сахарные головы, стояли тысячи снарядов.

— Да-а. Вот это по-настоящему воюет, — проговорил Винокуров и любовно погладил снаряд. — Это пробивает любую броню.

— И тысячи немецких танков легли запертво под ударами этих штук, — подхватил Николай Александрович. — И я думаю, если во времена Петра Великого Урал выручил Россию, то и сейчас Урал куёт победу Советского Союза.

— Да, да, — подтвердил Винокуров. — Мы, например, за последний год в тринадцать раз увеличили производительность нашего завода. Я думаю, так работает не только один наш завод.

— А где берёте материал на эти штуки? — спросил я и также любовно погладил снаряд.

— Урал даёт.

— Урал даёт сырьё. Так. Но не из сырья же делаете вы эти штуки?

— Ах, вы об этом? — ответил Винокуров. — От отца. Вернее от сына. В последние годы от нашего завода отделился металлургический. Тогда он был сынок. Но теперь он так вырос, что мы называем его отцом.

— Ну, и пошли к отцу. Пошли к отцу, — подхватил Николай Александрович.

II. ЛЮДИ БУШУЩЕГО ОГНЯ

Что это такое? Куда мы попали? В широкие открытые ворота дуют страшные, пронизывающие сквозняки. Они такой силы, что чуть не валят с ног. Но вот мы прошли метров десять — пятнадцать, и на нас пахнуло таким жаром, что, кажется, сейчас вспыхнет одежда, а лицо обуглится. Жар хватает со всех сторон: и снизу, и с боков, и откуда-то сверху. Наверху, почти под переплётами крыши, двигается опромный

кран. Захватив двумя пальцами чушку раскалённого железа, весом в две тонны, он тащит её, как игрушку. И звенят предупреждающие звонки. Они звенят повсюду, внося во всё здание тревогу. Кажется, от этих звонков люди должны шарахаться в стороны, увёртываться от надвигающейся беды. Но люди спокойны. Они делают всё быстро, ловко, привычно. Ловко и быстро железными крюками переворачивают раскалённые чушки, укладывают их в вагонетки и толчками отгоняют вагонетки куда-то в сторону.

— Вы что, малость обалдели, друг мой? — засмеялся Николай Александрович и, взяв меня за руку, повёл по лесенке, добавляя: — Это не главное. Главное вот здесь.

Не успели мы ещё подняться по лесенке, как на нас опять пахнуло таким жаром, что глаза невольно прикрылись, а по лицу забегали колючие мурашки. Секунда, две, три. Открываю глаза.

Так вот они, бушующие вулканы, откуда пышет этот страшный жар. Из полуоткрытых жерл печей то-и-дело выбивается пламя расплавленного металла. Он бушует, кипит внутри печей, белые стенки которых будто покрыты ползучим серебром. Он воюет там, этот расплавленный металл. Воюет, как великан, которому мало места, которому нужен простор... и кажется, вот сейчас этот великан вырвется на волю и зальёт всё и всех своим всё сжигающим пламенем.

Но люди у печей, вооружённые длинными крюками, в синих очках, с синими козырьками, потные, распаренные, ещё шире открывают жерла печей. И вот длинный крюк вонзается в расплавленную, кипящую массу металла, и в этот же миг из печи, почти под ноги людям, ползёт огненное пламя.

— Снимают шлак, — проговорил Николай Александрович. — Вы видите переднего сталевара — это бригадир. На него и падает главный огонь. Смотрите, как они работают? Ни одного слова. Вон бригадир повернул руку, и все двинулись за его рукой. Кивок головой влево — и крюк пошёл влево. Мы

же с вами на мартене. Понимаете? Здесь варится сталь. Заметьте, сталь варят не только тут, но и на электропечах. Они здесь есть. Если хотите, посмотрим, а теперь пойдёмте вот сюда. Сейчас будут выпускать сталь.

Мы прошли несколько метров и увидели, как тот же кран легко, как рюмку, поднёс огромнейшую бадью — вместимостью в шестьдесят тонн стали. И вот в эту бадью хлынул металл. Он вырвался как из-под земли и начал фыркать, разбрасывая во все стороны огненные брызги.

— Вы спрашивали меня, помните, на «Нетронутом Урале», воюют ли минералы? Так вот, смотрите на эту бушующую сталь, друг мой, и знайте, она не была бы такой, если бы к ней не добавляли некоторые минералы.

Я почти не слушал Николая Александровича. Я смотрел на огненную лаву и думал совсем о другом и, повернувшись к нему, проговорил:

— До чего умён человек, если он овладел таким огненным потоком.

Николай Александрович не успел мне ответить, как в наш разговор вмешался другой человек. Он в чёрном пальто, в кепи, лицо у него очень приятное.

— Да-да. Вы правы, — заговорил он. — А сейчас нам надо как можно скорее и как можно больше сбросить этого металла на голову тех зверей, которые кинулись на нашу родину, — он протянул руку и добавил: — Директор завода Краммер.

— Очень рад, что мы с вами встретились. Скажите мне, пожалуйста, что держит их, рабочих, здесь? Ведь это очень тяжёлая работа.

— Лёгкой работы вообще нет. А этих держит любовь к сталеварению. Вообще, кто не любит мартен — беги отсюда. А мы любим огненное море. Нам нужно, чтобы металл лился. Потом как-нибудь мы побеседуем с вами подробнее, — и директор исчез так же неожиданно, как появился.

Вскоре мы попали на электропечи. Они стояли в ряд. Температура в печах до трёх тысяч градусов. Как такую температуру могут выдерживать стенки

печей? И тут снова мне на помощь пришёл Николай Александрович. Он объяснил, что печи внутри охраняются от пламени платиной.

— Вы знаете, что такое платина? — Николай Александрович не договорил и кинулся в сторону, увлекая меня туда, где из электропечи хлынула расплавленная сталь. — Вот, вот, — заговорил он оживлённо, — высококачественная сталь. Сталь — броня. Тут-то минералы и принимают особенное участие. А вы говорите, они не воюют. Но вы ещё не видели блюминга? Тут самый мощный блюминг.

И тут я узнал, что раскалённая чушка в полторы-две тонны, попав в блюминг, превращается в игрушку. Рычаги толкают её по катушкам, и вот она попадает в обжимы... Через минуты две чушка уже обжата, превращена в длинный брус, и брус этот на части разрезают ножи.

Но на что бы мы ни смотрели, внимание наше снова обращалось к мартеновцам — к этим людям бушующего огня. Просмотрев работу самого последнего цеха — цеха серебрянки, где сталь, вытянутая в тонкие прутья, шлифуется под серебро, мы ещё раз заглянули на мартен. Люди тут работали так же ловко, без остановок. Николай Александрович проговорил:

— Эти люди на фронте не сдадут, они закалились здесь.

III. ЛЮДИ МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

Директор часового завода Иван Иванович Бочаров говорит нам:

— Ну, приехали мы сюда. В спешке, конечно. Того не захватили, другого не захватили и стояли вот так же, как эта «эмка», — показал он нам на легковую машину, стоявшую у подъезда без мотора, без фар и без колёс. — Вот такими и явились из Москвы.

Бочаров подошёл к девушке. Она маленькая, золотоголовая, у неё на носу, на щеках и даже на подбородке веснушки. Это ей к лицу, но она, видимо, от этого страдает: как только мы подошли, она ладошкой прикрыла лицо.

— Ах, дочка, дочка! Молодчина ты у меня. Ну, как, программу выполняешь?

Девушка вспыхнула, опустила глаза и еле слышно произнесла:

— Выполняю, Иван Иванович!

— А ты громче, громче об этом говори. О славе ведь говоришь, о хорошем деле. Громче! На весь цех ори — программу, мол, выполнила.

— Вот когда перевыполнять буду, тогда и крикну, — ещё тише говорит девушка.

Этим она даже озадачила Бочарова. Он чуточку постоял около неё молча, затем подхватил:

— Ой, молодчина!

И к нам:

— Да они у нас тут все такие. Всей семьёй работают. Например, Чесалкины. Мать, дочери, сыновья. Весь курень. А хотите, покажу наши знаменитые автоматы? О-о-о! Это — чудо-машины. Академики. Ювелиры.

И вот мы в другом цехе. Тут станки в ряд стоят. На вид они какие-то иррегулярные.

— Вот на этот подивитесь, — говорит Бочаров и подводит нас к одному из автоматов. — Смотрите, какой он сердитый.

И в самом деле, станок работает как-то сердито, напоминая щенка, которому впервые досталась кость, и он грызёт её, боясь, как бы у него эту кость не отняли. Вот на станке повернулся маленький рычажок и упал на кончик проволоки (той самой серебрянки, которую мы видели на металлургическом заводе). И вдруг резко рванул, чуть поднялся, на какую-то секунду задержался, затем перекинулся на другую сторону и что-то сбросил. И опять перекинулся к проволоке, опять рванул, опять задержался и опять что-то выкинул. И так без конца.

— Здорово! Что он делает?

— Деталь для камней, — с гордостью произносит паренёк. — Это класс, а не станок.

— А ну, покажи нам эту деталь, — просит Бочаров и промко хохочет, видимо, собираясь чем-то ошарашить нас.

Паренёк долго роется в стружке, пропитанной маслом, и, наконец, что-то достаёт оттуда. Несёт на кончике пальца. Показывает:

— Вот, — говорит он весьма серьёзно, — деталь. — На пальце у него какая-то чёрненькая крошка.

— Ну, это надо смотреть под лупой, — и Бочаров даёт нам лупу.

Мы смотрим через лупу и видим какой-то ободок. Тут же вспоминаем другую «деталь», какую мы видели на металлургическом заводе, — опромненую, тонны в две весом, раскалённую чушку.

— А для чего этот ободок? — интересуемся мы.

— Для камней.

— Камней? Да какие же могут войти камни в такую крохотную вещицу?

— Камни? Мы же вырабатываем часы — часы для танков, для самолётов, для кораблей. В часах есть камни. Камни агатовые, корундовые, а то и бриллиантовые. Так вот эти камушки и вставляются в эти ободки. Вот, посмотрите, какие часы.

Бочаров ввёл нас в помещение, открыл шкаф — оттуда пахло морозом, и там мы увидели заиндевшие, поседевшие часы для самолётов и танков.

— Морозом испытываем. А тут вот жарой. — Бочаров открыл второй шкаф; оттуда пахло жаром. — А это вот, — он осторожно взял в руки огромные круглые часы, — это морской хронометр. Даже в старинные времена такой хронометр стоил двадцать тысяч рублей золотом. Часы эти на испытании находятся шестьдесят пять дней. Вот какие штуки мы тут делаем!

— А выполняете программу?

— Мы-то? С таким-то народом? Да что вы! Если с таким народом не выполнять программы, нас просто надо с завода гнать.

IV. ТАМ, ГДЕ ВСЕ СТРЕЛЯЕТ

Всё время, пока мы были на часовом заводе, Николай Александрович почему-то молчал. Молчал он и в то время, когда мы на машине пересекли город,

выбрались на снежную равнину и вскоре очутились в сосновом лесу. Освещённый фарами машины, лес казался богатырским и причудливым. В одном месте дорогу перескочила дикая коза.

— Коза, Николай Александрович!

— Да, коза, — и он снова смолк.

Наконец, машина остановилась у новых ворот. И Николай Александрович, выбираясь из машины, заволновался:

— Тут туляки, — чуть-чуть с дрожью в голосе проговорил он и даже как-то ростом стал меньше.

— Туляки? Что ж, тульские охотники ружья выпускают?

— Ну, где там! До этого ли теперь? Пулемёт «Максим», пушку для самолёта и ещё кое-что посложнее.

— А почему вы так волнуетесь?

— Я? Ну, что вы! Пойдёмте-ка. Я только хочу предупредить вас. Вот вы удивились, козу увидав. А ведь всего год назад здесь козы разгуливали, как дома. Помню, тут уже кое-что было построено, а дикие козы на водопой шли прямо через площадку. А теперь завод. Слышите?

Где-то совсем недалёко раздаётся пулемётная очередь. А в другой стороне, тоже где-то недалёко от нас, загрохотали пушки.

— Что это?

— Испытание. День и ночь, день и ночь, — ответил Николай Александрович, вводя меня в помещение, залитое светом электричества. По всему было видно, что помещение построено совсем недавно: потолки ещё светятся золотистыми основными переплётками. Это сборочный цех. Мне казалось, что тут должен стоять грохот. Но здесь тихо. Только слышно, как за барьером, в соседнем цехе, урчат, шипят, царапают станки, оттачивая детали.

— Как просто всё, — замечаю я.

— Просто? — Николай Александрович покачал головой. — Нет. Очень сложно. Например, пулемёт. Он даёт шестьсот выстрелов в минуту, — значит, шестьсот раз в минуту все детали приходят в движение. Вы понимаете, какие должны быть детали? Тогда

шарь по всему заводу — кто и где наплоховал.

— А были такие случаи?

— Ещё бы! Иногда у инженеров головы пухнут. Ну, это и понятно: рабочие ещё неопытные.

— Кто? Туляки-то?

Николай Александрович тепло улыбнулся:

— На десяток туляков — сотня здешних, уральцев, только месяцев десять назад принятых на завод.

— И работают?

— Честно работают. Вы вон поговорите с тем рабочим. Фамилия ему Лазарев.

— А чем он отличается от других?

— Да ничем. Но с ним вот что недавно случилось. Надо было отработать одну деталь. Такую деталь, без которой мог бы остановиться весь завод. Сменщик его заболел. Поставить было некого, потому что никто не знал, кроме них двоих, этой детали. И Лазарев не ушёл от станка. Он стоял день, потом второй. Начали пухнуть ноги. Тогда он разулся и встал на пол босыми ногами... А на четвёртый день, когда деталь была уже готова, ко мне прибежал один из газеты и закричал:

— Безобразия, Николай Александрович! В цехе спят! Даже разулся и спит.

— Да кто же это? — спросил я.

— Я его разбудил, а он мне сказал свою фамилию — Лазарев.

— А-а-а! Ну, он, голубчик, три ночи не спал. А ты накричал на него?

— Да... Так, постыдил немного...

— Ну, — говорю, — пойд и извинись перед ним. Да громко извинись.

Я подошёл к станку, за которым работал Лазарев. Это был высокий, широкий в плечах человек, но с лица худой, глаза ввалились, губы потрескались.

— Устаёте? — спросил я и тотчас же понял, что вопрос мой наивен.

— А то как же? — просто ответил Лазарев. — Конечно, устаём. Да ведь теперь по другому-то и нельзя работать — война. Наши братья, поди, на фронте сильнее нас устают. — Он

глубоко вздохнул и сказал: — В этом, брат, и есть святая обязанность наша — работай, не покладая рук. Будете в столице, так и передайте, — работают, мол, на далёком-то Урале. Народ работает... И крепко работает! Вот что. Вместе с туляками работаем, с москвичами, с ленинградцами, с харьковчанами, с киевлянами. К нам сюда хорошего люда много наехало. И Урал мы за один год так встряхнули, что он аж закричал.

— Вот они какие у нас, — уже входя в здание парткома, проговорил Николай Александрович.

Он привычным движением толкнул дверь, входя в кабинет, а я невольно задержался около дощечки, на которой было написано: «Парторг ЦК ВКП(б) — Н. А. Корнилов».

«Вон он кто, мой-то друг, и вот почему так волновался, когда мы остановились у новых ворот!» — воскликнул я про себя и тоже кинулся в кабинет, намереваясь по-дружески отругать Николая Александровича.

— Да ведь вы... — начал было я, и остановился: навстречу мне Николай Александрович вёл нового человека, лет тридцати, тридцати двух. Лицо чуть-чуть скуластое, глаза серые и живые.

— Вот, поглядите на нашего секретаря горкома. Смирнов, Дмитрий Григорьевич. Никогда доволен нами не бывает. Что ни сделаешь, ему всё мало.

— Не мне мало, а стране мало, — проговорил Смирнов мягким голосом. — Здравствуйте, — сказал он, пожимая мне руку. — Ну, что, посмотрели наши заводы?

— Да, да! — ответил я.

— Все?

— Ну, где все? — Николай Александрович уже стоял за своим столом, и в нём чувствовалось уже что-то новое, — он был теперь у себя дома. — Где же все? Надо месяц смотреть. Только некоторые успели.

Я спешил и поэтому весьма невежливо прервал его:

— Скажите мне, вы с детских лет в этом городке?

— Ну, нет, — и губы у него расплылись в детскую улыбку. — Я уралец, только из степной полосы. Отец у меня там, — чуть погода задумчиво добавил он и вдруг озорно тряхнул головой, — шахтёр. Ух, крутого нрава! Вы к нему как-нибудь загляните. Зовут его Буран.

☆

Поезд уходил, карабкаясь по хребтам во тьму Уральских гор. А позади нас горел огнями город на реке Ай. Зарева огней то появлялись справа, то слева, то вдруг забегали вперед. Мы понимали, что это петляет наш поезд, а было похоже на то, что это забегает вперед город, с которым нам не хотелось расставаться.

— Да! Да! Про этот город будут сложены песни и поэмы. Народ сложит их про весь героический Урал в дни Великой Отечественной войны!

4. СЕМЬЯ КОРНЕЕВЫХ

1.

Снежный буран сбивал, валил с ног. Он хлестал в лицо, слепил глаза, глушил, и мы не знали, куда деваться от такого разъярённого зверя. Сквозь бушующую белую стену мы видели, как в стороне от нас мельтешили огоньки. И, решив, что там наше спасение, мы пробивались к этим огонькам. А буран бушевал, потешался над нами, обрушивая на нас целые сугробы... и, странно, вместе с рёвом бурана доносилась песня.

— Во глухой степи-и-и, — пел кто-то неустойчивым баритоном и тут же срывался на высокий дискант, — заммерзал ямщи-и-ик!

«И кому это не тошно в такую погоду петь?» — с досадой подумал я, шагая на огоньки, прикрывая лицо варежкой от злых снежных ударов. И вдруг столкнулся с кем-то грудью с грудью.

— Ну, вот, ещё кого-то несёт! — вырвалось у меня.

Передо мной стоял человек. Лица его не было видно. Я только заметил, что полы его полушубка распахнуты, а шапка-ушанка сползла почти на затылок.

— Пьяный, — решил я и хотел было обойти его, но он, громко смеясь, прокричал:

— Дяденька! Гляди, утонешь в буряне! Куда прешься? Айда к нам! В-он огонёк-то, — и пошёл, не запахивая полы полушубка и снова затягивая неустойчивым баритоном: «Во глухой степи-и-и...»

Я оглянулся и, поняв, что за это время потерял своих попутчиков, и мне пожалуй, одному не пробраться на огонёки, тронулся за своим случайным проводником.

Он шёл, не переставая петь, борясь с ударами бурана, разводя широко руки, как бы пробиваясь в густых зарослях камыша. Вскоре он плечом открыл дверь, и мы ввалились в хату. И только тут, отряхнувшись от снега, яглянул на неугомонного певуна. Лицо у него пылало, как раскаленная плита. Он ещё совсем молод — ему, может быть, лет шестнадцать. Глаза чуть-чуть раскосые, удивительно голубые.

— Татарин, — подумал я, глядя на его раскосые глаза и на широкие скулы. — Нет, русский, — тут же перешил я: глаза голубые, губы тонкие, волосы золотистые, да и улыбка открытая. Видимо, кто-то из его предков породнился с татарами. — Кто ты будешь, паря? — запросто спросил я.

— Человек же, — ответил он, всё так же открыто улыбаясь. — Родился, конечно, как и все, что достоверно знаю.

— Ну, это ты, Санька, врешь, — раздался с полатей хриповатый голос. — И откуда тебе знать, как ты родился? — следом за этим с полатей сполз старик. Голова у него совсем лысая, только на затылке торчит клочок волос. Потрогав этот клочок, он живо проговорил:

— Самовар, значит, зажаривать!? — и скрылся за перегородкой, волоча правую ногу.

Саня кивнул на него:

— Ух! Строг дед-то у нас, — и пригласил меня за стол.

Я осмотрелся. Хата обширная, сложена из огромных постаревших сосновых брёвен. И всё в хате сделано на веки-веков: крепкие, из широких досок полати, тяжёлые толстоногие табуретки, на стенах массивные рамы, заполненные фотокарточками, переплёты окон тоже необычайные. Но, главное, стол. У него такие толстенные ножки, что, кажется, за таким столом могут сидеть только слоны. И тут же мои глаза задержались на углах стола. Углы были неровно отпилены и закруглены.

— На углы глядишь? — Саня снова кивнул на старика. — Его рук дело. Бывало, как грохнет кулаком по углу, так прочь и отвалит. На утро новую крышку делай. Отцу надоело, он взял да и отпилил углы-то. — Саня засмеялся, добавляя: — Эдакий он у нас дед. Буран. Не зря в посёлке его Бураном прозвали.

— Бураном? — проговорил я, что-то вспоминая и одновременно ошупывающая углы стола. — А с чего же это он отваливал так?

— Заспорит с отцом или с кем, да и тяп кулаком по углу!

— Кулачина же у него!

— У нас у всех не кулаки, а кувалды. Один раз отец мой... — Саня не договорил, потому что дверь снова отворилась, и на пороге появилась девушка в дублёном полушубке, вся засыпанная снегом.

— Ух! ух! — звонко вскрикнула она. — Весь буран на меня свалился!

Дед выбрался из-за перегородки, всё так же волоча правую ногу, затем сияющими глазами глянул на девушку и, сметая с неё снег, обогривая своим дыханием её руки, сказал:

— Ах ты, Машенька, Машенька! Крошечка ты наша! Эко тебя всю засыпало! А рученьки-то, рученьки-то как закоченели!

Машенька была очень похожа на Саню, только черты лица тоньше, ру-

мянец на щеках мягче, голубые глаза светлее и с блеском. Сбросив с себя полушубок, она оказалась в сереньком платье и совсем стала походить на девушку.

— Вот, а меня никогда не пожалает, хоть сосулькой домой заявись, — с детской обидой произнёс Саня, обменяв Машеньку.

Дед через плечо сердито кинул ему:

— Ты мужик, Санька. Тебя ещё надо в семи водах на морозе купать, чтобы толк из тебя получился. А она девушка — цветочек степной.

— Этот цветочек степной, деда, сегодня на экскаваторе двести четырнадцать процентов зашиб. У-ух, деда! — вскрикнула Машенька и закружила деда, но тут же, увидев меня, застеснялась и шопотом спросила Саню: — Это кто у нас?

— На дороге, в буране подхватил я его, — так же шопотом ответил Саня, скрываясь вместе с Машенькой за перегородкой.

Дверь снова отворилась, и на пороге появились двое. Впереди женщина, за ней мужчина. Женщина небольшого роста, круглолицая, с живыми, смеющимися глазами. Стряхнув с себя снег, она, полусмеясь, спросила:

— Дедушка! Ну, как домовничал?

— Ладно домовничал, Наташа. Ладно, — ответил дед из-за перегородки, продувая самовар сапогом.

— Ну и хорошо, — женщина какую-то секунду смотрела на меня, затем, так же улыбаясь, проговорила: — Гость у нас? Ну, и милости просим!

А мужчина был ростом почти под потолок. Он стряхивал с себя снег голдой рукой, как пыль. Отряхнувшись, повесил свой полушубок в ряд с другими, затем пятернёй расчесал на полове волосы и шагнул ко мне. Я посмотрел ему прямо в лицо.

— Где-то я видел вас? — проговорил я и поднялся ему навстречу.

— Всё возможно. Всё возможно. Урал, большой, и людей в нём уйма. Всё возможно, — говорил он обветренным баритоном и, пожав своей ог-

ромной рукой мою руку, добавил: — Однако повторим: я есть Александр Александрович Корнеев, как и мой отец, с которым вы, по всей видимости, уже познакомились, тоже Александр Александрович Корнеев... И дед наш звался также. Такой род.

«Ох, ты!» — воскликнул я про себя и тут же вспомнил своего хорошего знакомого, Николая Александровича Корнеева, инженера, с которым мы столкнулись на «Нетронутом Урале», около минеральных копей. — «Очень он на него похож, только постарше, да под глазами следы какой-то черной пыли».

Я спросил:

— А нет ли у вас родственника? Николая Корнеева?

Александр Александрович с опаской глянул за перегородку, затем громко произнёс, отдирая с усов сосульку:

— Ох и бурлит же на улице! — и тише: — Николай — брат мой. Только вы старику про него ничего... Вроде как бы и не знаете, — и тут же рассказал о том, как несколько лет назад старик рассорился с сыном Николаем.

— Старик у нас, как идолу, поклоняется углю. Шахтёр. А Николай выучился на инженера-металлурга и махнул прочь от угля. Старик рассвирепел, закричал: «Ты будь хоть профессор, но от угля ни на шаг: уголь твой кормилец!»

Забывшись, Александр Александрович так выкрикнул последнюю фразу, что старик высунулся из-за перегородки и, улыбаясь, сказал:

— Истина. Уголёк — кормилец наш. И не только наш, но и всей страны. Вишь, как ныне все заговорили про уголёк! Весь Урал заговорил. А я что вам долдонил? Уголёк есть владыка всей жизни, — старик сел за стол и весь засветился. — Лампочку эту уголёк кормит? Кормит. Паровозы кормит? Кормит. Заводы на ём двигаются? Двигаются. Да куда ли поглядишь — уголёк всему козырь. — И тут же за перегородку: — Наташа! Машенька! Саня! Идите к столу!

Мать вышла к столу и по-старинному низко поклонилась:

— Ну, вот, ещё раз здравствуйте!

Саня подал на стол бурлящий самовар. Машенька — посуду, поджаренную картошку в огромнейшей сковороде, хлеб.

— Вот, — старик вскинул над столом руки. — Вот наша семья! Все шахтёры. Прадед мой Александр — шахтёр был. Дед мой Александр — шахтёр был. Отец мой Александр — шахтёр был. Сын мой, — показал он на сына, — Александр — шахтёр есть. А эти — комсомольцы мои? Санька — шахтёр будет, сорви голова. К тому же, в придачу, Машенька шахтёрка. И хозяйка наша, Наташа любезная, шахтёрка... — Старик о чем-то подумал и, взгрустнув, закончил: — Один только непутёвый у нас, Николай.

— Деда, — вспыхнув, заговорила Машенька, — да ведь его перекинули, дядю Колю. И чего ты простить его никак не можешь?

— Перекинули? Эх ты, Машенька, цветочек степной! И слова-то у вас какие явились — перекинули, перебросили! Разве можно человека от кровного дела перекинуть или перебросить? Нет. Сам захотел. Вот и слоняется по Уралу.

Я вступился за Николая Александровича.

— Мужик он очень умный, — сказал я. — И вес большой имеет, один из руководителей крупнейшего завода.

— Умный? Не спорю: в нашем роду дураков не было, — и старик на меня посмотрел так, будто я и был его «непутёвый» сын, затем вскинул кулак, намереваясь ударить по углу стола, но, увидав, что углы округлены, только и сказал: — Кукушка он в нашем гнезде.

2.

На утро буран стих. Но всё ещё шевелил хвостом, как сытый кот: кое-где вдруг поднимется метелица, побежит, побежит по оугробам и под яркими лучами холодного солнца рассыпется.

На утро мы всей семьёй, оставя деда домовничать, отправились на уголь, и по дороге мне стала понятна ревность, бурлившая в сердце старика Корнеева к «непутёвому» сыну. Сын старика Корнеева Александр Александрович Корнеев рассказал мне следующую историю.

Лет сорок тому назад дед Корнеев, по презвищу Буран, тогда ещё молодой уралец, натолкнулся в той самой долине, куда мы шли, — тогда дикой и безлюдной, — на огромнейшие пласты бурого угля. Уголь лежал почти на поверхности. И старик Корнеев вместе со своими товарищами около месяца рыли воронку, но так и не могли добраться до подошвы.

— Несусветное количество его тут, — говорил дед и пошёл «долдонить» по всем местам о богатстве этой долины.

Но в те годы Урал трясла золотая горячка. Люди кинулись на золотые россыпи, и дед остался один. Его даже товарищи покинули. Так тянулись годы, десятилетия. И только в тысяча девятьсот тридцать шестом году инженеры, в полном согласии с дедом Корнеевым, разработали гигантский проект. Согласно этому проекту, был произведён небывалый взрыв. В тридцати шести шахточках было заложено тысяча восемьсот пятьдесят тонн аммоналу. Взрыв выбросил около одного миллиона кубометров земли. Взрыв этот был отмечен сейсмическими станциями, как маленькое землетрясение. Облака дыма и пыли были подняты на несколько километров... и образовалась траншея длиной в километр, глубиной в двадцать метров и шириной в восемьдесят пять метров... Так были отделены от земли пласты угля толщиной в сорок-сорок пять метров. Затем прибыли экскаваторы и начали, как песок, черпать уголь.

Деда, малость тогда придавило землёй.

Выздоровев, он сказал:

— Это земля на меня обиделась. Зато страна спасибо скажет.

Но работать он уже не мог: только ходил по карьерам, показывал новые залежи угля, помогал в работе. А когда грянула война и Урал во весь голос закричал о том, что ему нужен уголь, дед уговорил Наташу и Машеньку идти на добычу угля. Сам же взялся домовничать.

— Но он очень любознательный старик, — говорил мне Александр Александрович. — Каждый вечер выпрашивает нас, сколько добыли. И всегда журит. «Мало. Давайте больше. Вы что добываете? Что вы добываете?»

— Однако, в самом деле, что вы добываете? — спросил я Александра Александровича.

— Ну, как вам сказать? Наша, например, экскаваторная бригада годовой план выполнила. Но мы этим не ограничились. За несколько дней сверх плана мы дали на-гора около двадцати тысяч тонн.

— Ну, и что же старик?

— Позавчера сказали ему об этом. Он и вскипел: «Ага! Значит могли дать и больше плана?» «Да ведь тяжело». «Тяжко? А тем, кто на фронте, не тяжко?» И пошёл пилить! — Александр Александрович тихо рассмеялся. — Вы и не поверите, нас и нарком так не журит, как дед. Любит он это дело. Сознательно любит и потому сердце на сына имеет, на Николая. Надо понять: всю жизнь дед провёл на угле, а тут сын пошёл по другой линии.

3.

Десятки экскаваторов, чётко выделяясь на белизне снега, методически поднимают свои железные хоботы и, отфыркиваясь, откашливаясь, выбрасывают из зубастых пастей бурый, сверкающий уголь. Они кидают уголь на вагонетки, а то и прямо на платформы... и эшелоны ежедневно убегают из этой чудесной долины, разнося уголь по седому Уралу.

Мы на участке, где начальником Александр Александрович Корнеев. Здесь работает вся его семья.

Вот Машенька, голубоглазая девушка, командует экскаватором. Казалось бы, грузная и поседевшая от мороза машина не послушается тонких пальцев Машеньки. Но машина зафыркала, подняла хобот, заскрипела, сбрасывая с себя седой иней, жадно впиалась в пласт угля и тут же выкинула его на вагонетку.

— Пошло, Машенька? — крикнул отец.

— Пошло! — звонко ответила она.

Мать сидела на соседнем экскаваторе, ласково поглядывая то на Александра Александровича, то на Машеньку:

— Молодец ты у нас, Машенька! И красавица, — сказала она.

А откуда-то со стороны слышалась удалая песня. Пел Саня, расчищая путь экскаваторам.

Уголь шёл на-гора: ураганно, ритмично, без остановки, как горная река... Люди, подавая его, понимали, что это — удар по огртелому бандиту, напавшему на нашу родину.

5. СЕРДЦЕ ЮЖНОГО УРАЛА

1.

Вдоль изрытого ухабами шоссе, на расстоянии полукилометра друг от друга, полыхали костры, освещая землянки и людей. Люди стояли над пламенем, как изваяния. Иногда они нагибались, подбрасывали в огонь щепы, поломанные доски, чурбаны, и снова выпрямлялись, опуская отяжелевшие руки. Лица у них были обветренные, залитые пламенем костров; люди ждали еды и сна. Так они стояли минут двадцать-тридцать. И вдруг все, как по команде, опустились на корточки и начали вынимать из костров картошку; тут же, сдувая с неё золу и обжигаясь, они жадно поедали её.

В стороне от костров, на сосновом, залапанном грязью бревне сидел человек и старательно выводил на серой бумаге красным карандашом:

«Маша! Считаю, прошло то времячко, когда спал на мягкой-то постели.

Загнали нас на такое, что страшно и говорить. Обеды так себе, и то нет их второй день, а ужин ищи-свищи: картошкой одной дышим, и то на кострах. Ну, ты, однако, пиши в наш город на завод, где самые высокие две трубы. Я, между прочим, работаю на монтаже, проще говоря, на сборке. Начальствует над нами татарин Зинуров. Руки у него, у пса, здоровенные, как у льва, впрочем, чего я никогда не видел»...

Татарин Зинуров, чуть-чуть скуластый, рябоватый, низенький, но в плечах широкий, долго и пристально смотрел на человека, сидящего в отдалении на бревне. Это был Пётр Завьялов, работающий в бригаде Зинурова.

— Пётра! Чего писал и зачем писал? А? — крикнул он.

— Про две трубы и руки твои, ой! — дружелюбно ответил Пётр Завьялов, с жадностью глядя на то, как Зинуров ест картошку. Такая же картошка, выданная сегодня всем рабочим по случаю ремонта столовой, лежала и под койкой Петра Завьялова. Но он считал себя человеком осмотрительным и, решив, что столовую будут ремонтировать «неделю, а, может, и год», припрятал картошку: «Уж лучше поговееу». Но сейчас ему страшно хотелось есть. Может быть, именно поэтому он и затосковал по дому — по тёплой избе, по сытному ужину.

— Руки что? Голова есть. Картошку хочешь? — и, достав из костра картошку, Зинуров кинул её Петру Завьялову.

Тот поймал её на лету и, обжигаясь, начал есть, приговаривая:

— Эх, Зинур! Вот у нас в деревне Чашки картошка. На Волге. По десяти фунтов, а то и больше каждая. Картошка! Ну, не сойти мне с этого места, — клялся он для пущей важности.

— Крепко врешь. Я говорю, крепко врешь, — проговорил Зинур, переламывая картошку. — Я сам в Казани был. А ты крепко врешь. Вот если бы так крепко работал. Э-э!

Петру Завьялову было двадцать восемь лет. На правую ногу он прихра-

мывал: когда-то лошадь отдавила. Лицо у него было какое-то странное. Яйцевидный лоб заканчивался на макушке. От уха к уху через всю голову шла бороздка, уросшая жёсткими волосами. Нос, в основании правильный и даже красивый, кончался широкими, как у лошади, ноздрями. Лицо казалось умным, но стоило только Петру Завьялову выпятить губы и пожевать ими, как оно становилось глуповатым и даже каким-то преступным.

Вот и теперь, прежде чем ответить Зинурову, он выпятил губы, пожевал ими, затем склонил голову набок и сказал:

— А ты за что горб гнёшь? За картошку? Эко невидаль!

Зинуров не нашёлся сразу, что ответить. Он человек был вспыльчивый; в минуты гнева у него терялись слова; бормоча на своём родном языке, сбывчась, он пускал в ход свой увесистый кулак. Но сейчас Зинуров только мегнул искры из глаз и, до хруста стиснув кулак, крикнул:

— Я тебе картошку давал? Свой картошку давал? Отдай! Ну?

«Пёс гололабый, жамкнет ещё кулачищем-то по башке» — с дрожью во всём теле подумал Пётр Завьялов и, криво улыбаясь, забормотал:

— Да нет, что ты? Шутю я, Зинур. А так, знамо, интерес большой. Понимаем мы, как сознательные... даже можем шагать с песней. Хэшь, я тебе спою, Зинур? А?

— Тебе башка надо крутить. Башка крутить, качан капусты ставить, всё одно дурак будешь. — Зинуров поднялся и зашагал, во все стороны разбрызгивая грязь.

«Эх, пёс! А ведь он и вправду может открутить башку!» — Пётр Завьялов поднялся с бревна, подумал о чем-то, пристально глядя, как рабочие едят картошку, затем сорвался с места и кинулся следом за Зинуровым, крича: «Зинур! Эй, Зинур! Шалтай-балтай нет? Ну, сдохнуть бы мне на этом месте!»

2.

При свете электрических фонарей было видно, как Зинуров шагал прямо через лужи, широко размахивая руками. Потёртая кепка его сползла на затылок. «Вот он поровнялся со сторожем и, не останавливаясь, крикнул ему:

— Зинуров! Бригадир! Монтаж!

Пётр Завьялов гнался за ним по пятам. Но в силу того, что он обходил лужи, боясь попортить сапоги, нагнать Зинурова никак не мог. Поровнявшись со сторожем, он, боясь, что тот его задержит, кинул так же, как Зинуров:

— Помощник Зинурова. Монтаж, — и хотел было идти дальше, но сторож дёрнул его за рукав:

— Постой-ка. Много вас тут таких, помощников! Пропуск кажи.

— Экий ты! Срочная работа, а ты тут, — с досадой проговорил Пётр Завьялов, доставая из кармана пропуск и стараясь не потерять из глаз Зинурова.

Пока он возился с пропуском, Зинуров уже скрылся за углом стройки, и у Петра Завьялова заныло сердце. «Не нагнать... Эх, ты!» — с тоской думал он, уже не жалея своих сапог и прыгая через лужи. → «Пожалуй, и по шапке меня!» — думал он. — «Эх, ты-ы! Верно говорят: язык мой — враг мой. Эх, ты-ы!..»

Когда в Поволжье приехали люди набирать рабочих на строительство электростанции и заглянули в деревню Чашки, Пётр Завьялов вызвался первым. «Ну, поеду, Маша, — сказал он жене, — свет хоть погляжу. А то что, двадцать восемь лет прожил в одной деревне». — «Да куда ты? Со своей ногой-то?» — возразила Маша. Но он только отмахнулся. А приехав на стройку, всем крепко интересовался. Всем, кроме своей работы. Дождавшись перерыва, он ни секунды не задерживался на стройке, бежал в столовую, обедал, затем шёл к своим соседям-арматурщикам, интересовался их работой. Цельми часами простаивал около экскаватора, удивляясь тому, «как жрет

землю-то». «А вот теперь стряслась беда, — с болью думал он, — меня, и по шапке. Приеду домой, спросят, как и что? То да сё. А тут бумажка — «Петра Завьялова со стройки в шею, как у него язык негодный. Это в такую-то годину». Ты-ы, окаянный!» — выругался он и нырнул под леса.

Здесь он постоял несколько минут. Леса тянулись вверх и там замыкались в причудливые переплёты. Пётр Завьялов, ни о чём уже не думая, — его в эти минуты давила тоска, — смотрел на леса, затем шагнул, вынырнул из-под них и очутился рядом с экскаватором.

Занималась заря, съедая яркость электрических лампочек и, как всегда на заре, людям неодолимо хотелось спать. Поэтому работали они без азарта, вяло.

Вяло устанавливали свои погнутые железные прутья арматурщики, вяло группа монтажников поднимала железную тяжёлую балку, вяло землекопы вбивали ломы в землю. Только экскаватор работал так же, как всегда: опускал широченную, зубастую пасть на жёсткую землю, грыз её и, фурча, отдуваясь, кидал землю в кузов грузовика.

И тут Петру Завьялову пришла спасительная мысль:

«А ну-ка, встану на работу! Зинуров там сейчас властям мелет: «У Петра Завьялова язык, что помело. А я — нате-ка вам, работаю. Батюшки ты мои! Без передышки работаю», — и он шагнул к монтажникам, произнося: «Эко зорька как вас сковала!» Не успел он ещё по-настоящему взяться за балку, как люди пришли в движение, и кто-то проговорил:

— Бригадир! Бригадир явился!

Петру Завьялову показалось, что речь идёт о нём. Он не без гордости промолвил:

— Ну, какой я бригадир? Нет ещё!

Тогда тот же человек крикнул:

— Тоже, бригадир нашёлся! Тебя спутать с бригадиром, это всё равно, что крысу с лебедем. Зинуров пришёл. Вот он уже где, — показал человек

вверх и с восхищением закончил: — Третью ночь на ногах, а поглядите-ка на него! Артиз! Прямо артиз!

Пётр Завьялов глянул вверх. Под переплётами крыши, на высоте сорока пяти метров он увидел пробежавшего по балке и освещённого электричеством Зинурова.

«Экий! Уже тут! И шагает на высоте, как по лужку. А если свихнется, да вниз башкой чебурахнется?» У Петра Завьялова даже мурашки пошли по телу. Но Зинуров вскарабкался ещё выше. Через минуту его снова увидели на балке. Он шёл, даже не балансируя руками.

3.

Зинурову тоже смертельно хотелось спать, и он уже несколько раз плескал себе холодной водой в лицо. Но, несмотря на страшное желание спать, он неутомимо перебегал с одного места на другое с той же свободой, как ходил по земле. Его видели то на высоте, под переплётами крыши, то внутри парового котла, то внизу на фундаменте. И где бы он ни появлялся, люди, ободрясь, приходили в движение, как приходит в движение трава от дуновения ласкового ветра.

«Картошкин сын, — наконец, придумал он кличку Петру Завьялову. — Картошкин. Ему бы только картошка. Война, а он: «за что горб гнёшь?» Совесть нет. Стыд нет. Не русс он. Нет. Но зачем я такой злой? Ведь они работают», — и он с высоты сорока пяти метров посмотрел вниз на тех, кто работал на монтаже котла, кто закладывал арматуру, рыл землю, готовя места для фундамента второго котла. Работа была трудная, тяжёлая, под дождями, под свирепыми уральскими осенними ветрами. Иногда Зинурову казалось, что в назначенные короткие сроки работа завершена не будет. Рядом со стройкой стояли две высокие трубы от котлов. Но эти два котла и две турбины в пятьдесят тысяч киловатт строились шесть лет.

Теперь предложено смонтировать котёл за три месяца. Смонтировать котёл, поставить турбину на пятьдесят тысяч киловатт и в конце третьего месяца дать электроэнергию.

За три месяца? Зинуров не впервые монтирует котлы. Девять месяцев — самый малый срок, а тут три месяца! Казалось, это фантазия. Но Урал поднялся на дыбы. Люди, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Киева — со всех концов страны, встряхнули седой Урал, и со всего Урала несётся голос: «Стоят электропечи! Стоят станки! Электроэнергия — это снаряды, это самолёты, это пушки, это пулемёты. Электроэнергия — это удар по врагу!» И все, строившие электростанцию, понимали это. Особенно глубоко понимал это Зинуров.

Когда расовело и бледные осенние лучи солнца заиграли в луже, начальник строительства Никольский и партторг Пелех нашли Зинурова внутри котла. Он был грязен, измучен бессонницей, но всё такой же жизнерадостный. Пётр Завьялов видел, как они разложили перед Зинуровым какую-то бумагу, советуясь с ним...

«А со мной не посоветуются. О чем со мной советоваться? О картошке?» — с тоской подумал Пётр Завьялов, и вдруг ему стало стыдно. И он, увлекаемый этим сильнейшим человеческим чувством, шагнул вперёд, бормоча: — «А ну-ка, я сам втиснусь», — и, помехивая руками, пошёл навстречу начальнику строительства и партторгу.

Остановившись шагах в двух, глядя в глаза Никольскому, он проговорил:

— Вторую ночь не сплю, вот что, товарищ начальник.

Никольский глубоко сунул руку в карман, вынул оттуда трубку, машинально постучал ею по ладони и пустило в рот:

— А я четвёртую. Так чем же ты лучше меня?

— Дома, поди, всё лето не спал? — вступился партторг Пелех, высокий человек с шрамом на подбородке.

— А у меня не жалоба, я по охоте, — быстро ответил Пётр Завьялов

— А-а! Это хорошо, брат, — проговорил Никольский.

«Ишь, ты, — глядя им в след, думал Пётр Завьялов. — Братом назвал. Брат? Ну, конечно: он не спит, я не сплю, Зинура не спит — значит, свою силу в общий котел...» — и он ринулся на работу, как это делают крестьяне во время жатвы, когда надвигается туча: надо убрать до дождя, нето хлеб промокнет, потом его подсушит ветер и зерно попусту падёт на землю.

Он работал крепко, ловко, выкладывая все свои способности. Работал и покрикивал, обращаясь то к тому, то к другому рабочему: «А ну, брат! Давай, брат! Ничего, брат! Поработаем, брат! Потом поедим малость, выспимся и опять за работу, брат!»

С этого дня его уже никто иначе и не звал, как «брат».

Так он работал в этот день до смены. А потом, когда шёл к себе в землянку, ему всё время казалось, что на него все смотрят и говорят:

— А ведь Пётр-то Завьялов сегодня вторую смену без передышки работал!

Но хорошее слово сказал ему только Зинуров. Он перехватил его при входе в землянку и, крепко пожимая руку, произнёс:

— Якши! Отец мой всегда так говорил, когда хорошо было: «якши». И я тебе говорю, Пётра. И ты не картошкин сын.

Губы Завьялова затряслись, на глазах навернулись слёзы, и он тихо проговорил, глядя куда-то вдаль:

— Тоскливо мне было... жену вспомнил, колхоз... ну, и сболтнул... А теперь, Зинура, не отставать же мне от тебя?

Так они подружились. А когда перешли в новый барак, то койки свои поставили рядом.

4.

Прошло восемьдесят дней. Зима свирепствовала на Урале. Она бросала охапки снега, обжигала морозами. И вот, на восемьдесят первый день, жи-

тели огромного города увидели, как на окраине, рядом с двумя высокими, всегда дымящимися трубами, задымила третья высокая труба. В этот день был дац промышленный пар из котла и заработала новая турбина на пятьдесят тысяч киловатт.

Зинуров и Пётр Завьялов по случаю выходного собрались в город. Они пересекли площадку. Пётр Завьялов задрал голову вверх и, глядя на новую дымящуюся трубу, сказал:

— Дымит ведь, Зинура! Как это мы мёртвый камень в живое существо превратили? Гляди, дымит!

— Дымит, — ответил Зинуров. — Она и должна дымить.

Зинурова окликнули и позвали в управление к начальнику строительства.

— Пойдём и ты, Пётра, — пригласил Зинуров. — Начальник что-нибудь спросить хочет.

Но, войдя в кабинет Никольского, они чуточку растерялись, увидя тут и партсрга Пелеха, и редактора местной газеты, и гостей из города. Сам Никольский в чёрном костюме, на борту котсрого сиял орден Ленина, стоял за столом и по-праздничному улыбался.

— Ага! Вот и Зинуров, — проговорил он и, взяв со стола бумагу, начал читать: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину». Он читал о том, что турбина на пятьдесят тысяч киловатт смонтирована рабочими всего за пятьдесят дней, а котлоагрегаты за восемьдесят дней и что Уралу сегодня дана дополнительная электроэнергия. Прочитав, он подписался. Затем подписался Пелех, потом другие. Тогда Никольский взял письмо и, подавая его Зинурову, сказал:

— И вам, товарищ Зинуров, надо подписать. Вы ведь согласны?

Зинуров решительно шагнул к столу. Вытер ладонь о рукав, взял ручку, обмакнул перо и потянулся к письму. И тут увидел, что в первый раз за всю его жизнь сильные, обветренные пальцы его задрожали...

— А пальчики-то у тебя как задрожали, а? — сказал Пётр Завьялов, когда они вышли из управления.

— Да ведь... кому подпись-то свою послал? Вон ведь кому! Получит, прочитает и скажет: «Ага, есть на земле Зинуров». Эге!

Тут они увидели, что люди стройки, обожжённые морозом, бегут к новой трибуне. А на трибуне стоят Никольский, Пелех, секретарь обкома Баранов. К Зинурову подошла девушка и сердито сказала:

— Товарищ Зинуров, почему вы бежали? Вам же надо выступать.

Несмотря на то, что стоял мороз, у Зинурова на носу выступил обильный пот. Он вытер его ладонью и ничего не сказал.

Тогда Пётр Завьялов горячо зашептал ему на ухо:

— Не робей! Говорю, не робей! Так прямо и бухай — построили и ещё построим. Ступай, Зинура, милый, ступай!

Первый выступил Пелех. Он в своей речи сказал: «Поздравляю вас, товарищи, с большим праздником», — и ему аплодировали. Затем выступил началь-

ник строительства Никольский, он сказал: «Нам ещё надо построить пять труб», — и ему аплодировали. Потом выступил секретарь обкома Баранов и сказал, снимая шапку: «Спасибо вам, товарищи», — и ему аплодировали.

Но вот к барьеру подошёл Зинуров. И все стихли. Зинуров держал в руках какую-то бумажку. Но вряд ли что видел на ней. Он смотрел на стройку, на то, как вгрызался в землю экскаватор, расчищая место для второго котла, и говорил резко, отрывисто, как бы вбивая в дуб гвозди. Скажет — и вгонит в дуб гвоздь.

— Сказано, строй. Сердце Южного Урала строй. Ну! Война требует. Ну! Пётр Завьялов в это время стоял среди рабочих и, вертя во все стороны голову, выкрикивал:

— Вот как мы! Эх, вот как мы!

А вечером они вместе со строителями сидели в новой обширнейшей столовой. Пётр Завьялов, чокнувшись с Зинуровым и выпив чарку водки, сказал:

— Зинура! Я теперь своей Маше так напишу. Посылай, мол, мне письма по такой линии: в наш город, на завод, где самые высокие три трубы... и никакой тоски у нас нет. »

ПРОЧЬ ОКОВЫ

ОНДРА ЛЫСОГОРСКИЙ

★

Там, где сошлись Карпаты и Судеты,
Как два стиха созвучием одним,
Где Одер тянется к Дунаю—«Где ты?»,
Там — Ляхия, родной мой край, сдетый
В бескидскую лазурь, в остравский дым.
Там, со скалы, над пеной Остравицы
Грозит фридекский замок облакам.
Сосновый бурелом накрыл темницу,
Но старых башен поднятые шпицы
Взнеслись, подобно мстящим кулакам.
Закован в цепи — Ондраш здесь томился,
Повстанцев ляхских вольный атаман.
Но не ослаб, не сдался, не сломился,
Он цепи разорвал и устремился,
Как вихрь, на волю — в тёмный лес, в туман..
И в лес к нему со всех углов судетских
Спешит повстанский люд на смелый клич.
Секиры, ружья... Посвист молодецкий —
И в трепете господский сброд немецкий.
Их 'гснят, бьют, как бешеную дичь..
Идут века — меняются знамёна,
Но Ондраша в стране витает тень.
В народном сердце, как во время оно,
Он копил ярость, чтоб одновременно
Дать выход ей, когда настанет день.
О, край родной! О, сень холмов укромных!
Кому свой труд ты ныне отдал, лях?
На что ты роешь уголь в шахтах тёмных?
На что металл поставишь в жарких домнах?
На то, чтоб рекам крови течь в полях!
Но близок день: замрут твои машины,
Клеть не спустится в рудничный зев,
Дым не овеет горные вершины.
Но, обойдя леса, холмы, долины,
Бессмертный Ондраш свой пожнёт посев.
Гряди, мой Ондраш! Ты дождался срока!
Вставай, срывай оковы, мой народ!
Ты видишь солнце братского Востока, —
Иди за ним из чёрной тьмы жестокой,
Потоком хлынь из заводских ворот!

Перевёл Лев Пеньковский.

РАССКАЗЫ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

★

САМПО

Не пойду, пока живу я,
И пока сияет месяц,
В избы мрачные Похьёлы,
В те жилища Сарнолы,
Где героев пожирают,
Где мужей бросают в море.

Калгвала.

На реке Пожве в Карелии была малая деревня Пожва-тож, а в той деревне был колхоз по названию «Добрая Жизнь», и всю деревню с колхозом звали Добрая Пожва.

Ото всей Доброй Пожвы осталось теперь одно водяное колесо, потому что оно было мокрое и не сгорело в пожаре. А всё другое добро, издавна нажитое и бережённее, погорело в огне и сошло в угли, уголь же дотлел далее сам по себе, искрошился в прах и его выдул ветер прочь.

По деревне Доброй Пожве немцы и финны били из пушек, её палили бомбами с неба, и деревянная Добрая Пожва погорела и умерла.

Одно водяное колесо осталось целым; оно, как и прежде, в мирное время, вращалось на своём деревянном валу и крутило деревянную же шестерню; только цевки этой шестерни теперь не задевали другой шестерни: вся снасть погорела, и то, что эта снасть крутила в работу на пользу народа целое машинное устройство, тоже сошло в огне.

Лишь одно водяное колесо безостановочно трудилось теперь впустую; по верх, по жолобу на него, как и прежде, вступала вода, она наполняла ковши и

своим весом велела колесу кружиться день и ночь, потому что поток воды был живой и он не убывал.

Битва русских и карелов с белофиннами и немецкими фашистами прошла в этом краю и удалась отсюда и не стала более слышна. В наступившей безлюдной тишине одно водяное колесо в Доброй Пожве поскрипывало от старости и работало напрасно.

Вокруг росли и шевелились обгорелыми ветвями леса, и безмолвно лежала под ними чуткая материнская земля, всё породившая, но сама неподвижная и неизменная. Однако от этой земли, серой и равнодушной, отвыкнуть было нельзя никому, кто на ней родился однажды. И кузнец, карел Нигарэ, тоже не мог отвыкнуть от привычной земли. Он вернулся в пустую Добрую Пожву, где он когда-то родился и жил всю жизнь до войны.

Нигарэ служил в морской пехоте, спешенной с Ладожской флотилии, рядовым бойцом. Чтобы лучше и привычнее было, его в части прозвали Киреем, и он теперь сам привык к себе, что он есть Кирей; он вытерпел в боях всю зимнюю кампанию и не был поврежден врагом, но недавно его оглушило близким взрывом бомбы, и он пал на

поле сражения без памяти; опомнившись, он остался целым, но говорить слова стал хуже, он начал заикаться и при звуках музыки или поющего человеческого голоса или от вида цветущих растений он сразу плакал в сердечной тревоге. Тогда его отпустили из армии на бессрочное время, и Кирей прошёл с партизанами через фронт, а здесь, возле родного места, отошёл от них, чтобы побыть дома, а после опять вернуться к партизанам и помогать им в починке оружия и железных изделий, в чём Кирей с молодых лет был достаточный мастер. Кирей понимал, что, куда идёт война, даже покалеченный или убогий человек должен быть в деле при войне, потому что другой жизни, кроме войны, нету, пока по избам и земле Карелии ходит мучитель-неприятель.

Кирей обошёл тихим шагом всю погибшую, погорелую Добрую Пожву и сел возле шумящего, одиноко работающего водяного колеса.

Человек стал грустным. Его осветило вечернее солнце, уже слабое на севере в эту пору позднего лета. На пеньке сидел утомлённый, постаревший человек в изношенной серой шинели; лицо его стало теперь худым и обросло бородой серого, выветрившегося цвета, тело состояло более всего из костей, а свободного мяса давно уже не было, и глаза его доброго льняного цвета спокойно глядели на опустевшую землю, не выражая сейчас ничего, кроме равнодушия. Тело краснофлотца Кирея усохло в боях, отошло в тревоге и в походах, а сердце его, увидев смерть Доброй Пожвы, наполнилось горем до той меры, когда оно больше уже не принимает мученья, потому что человек не успевает одолевать его своим сердцем. И тогда весь человек делается словно равнодушным, он только дышит и молчит, и горе живёт в нём неподвижно, сдавив его душу, ставшую жёсткой от своего последнего терпения; но горе тогда уже бессильно превозмочь человека на смерть.

Кирей не нашёл в Доброй Пожве ни одного жителя, и его жена и четверо

детей тоже пропали со света. Теперь осталось тут одно водяное колесо и ещё подальше чего погрузилось в почву мёртвое железное тело электрической машины, которую в мирное время вращало водяное колесо. От этой электрической машины шла проволока по всей Доброй Пожве, и далее её окрест — на ферму, на огород и на лесопилку. Сила воды крутила машину, а от машины рождалось электричество, которое работало всё, что полезно человеку. Электричество делало свет и тепло в избах, равно оно обогревало скотину и птицу в зимнюю стужу, чтобы скотина не убывала в теле, а птица давала мясо, перо и яйцо; электричество молотило зерно на мельнице, мяло лён, крутило прялки, давало воду по трубе к середине деревни, чтобы ходить за ней было близко, разделяло лес на доски; кочевало пни, дробило камень на постройку дорог и грело молоко для питания детей. И ещё работало электричество — всё, что надобно для пользы и в чём есть нужда, потому что силы машины хватало для работы, и ещё оставался остаток.

Жить было тогда сытно, свободно и рукам не трудно. Кирей, когда у него родился младший сын, устроил от электричества маленькую машину — самосуйку, чтоб она качала потихоньку колыбель ребёнка, а мать не трудилась и дремала возле него. Позже, уже перед войной, председатель колхоза велел Кирею поставить на мельнице вальцы, чтобы молоть из зерна самую мягкую, сладкую муку, потому что стало рожаться много детей, а малолетним мука грубого помола вредна для желудка, и у них начинаются поносы от жёсткого хлеба. Кирей начал было вязать бревенчатый фундамент под вальцовую мельницу, но не управился и ушёл на войну, а теперь и следа не стало от его работы.

Кирей вспомнил сейчас, как его жена, кроткая нравом, похожая лицом на ребёнка, хоть и сама уже рожавшая детей, как его жена читала ему однажды вечером вслух старую карельскую книгу Калевала; там было написано про

одного мастера Илмаринена, который сделал самовольную мельницу Сампо: она сама молотила зерно, и хлеб шёл из неё даром, чтобы кормить всех досыта и чтобы не нужно никому было заботиться о пропитании.

— Это неправда, — сказал тогда Кирей своей жене. — Это зря написано в книге. Зачем хлеб даром нужен? Народу без заботы жить нельзя, у него сердце салом покроеется и ум станет глупым.

— А хорошо бы так было, — сказала в то время жена. — Мели да мели зерно, а ни сеять, ни жать не надо...

— Это плохо, — рассудил Кирей. — По телу жир пойдёт, в голове пустые мысли будут... Нам такое ни к чему — у нас лучше есть, чем Сампо, у нас электричество.

— Оно не такое, оно не даром, — сказала жена, — к нему старание нужно.

— Потому оно и лучше, что оно не даром, а требует от человека разума, — ответил Кирей. — Нужно чтобы человек имел развитие, а не жил в одно своё мясо.

— Может, и правда твоя, — задумчиво сказала жена. — Всё у нас было, а всё будто чего-то не доставало, неизвестно чего...

— Неизвестно чего не бывает, — произнёс Кирей. — Колхоз наш полон добра был, иль всё тебе мало?

Жена промолчала; неизвестно, что она думала и чего хотела.

И всё это теперь миновало. В Доброй Пожве было сделано лучше, чем в сказке о самовольной мельнице Сампо; электричество было искусней сказочной силы, умевшей лишь молотить зерно, и разумнее, потому что требовало от человека задумчивой работы, и жить ему зря не давало.

Что же теперь нужно было делать бедному, больному Кирею, когда вся жизнь в Доброй Пожве, бывшая сильнее и разумнее, чем написано в сказке, погорела, исстрадалась и погибла, как небывшая никогда, когда остался только ветер и пустая земля?..

Кирей не знал, что ему нужно те-

перь делать и как быть. И он стал делать сначала то, что было прежде; пусть будет всё обратно, что умерло и погорело в Пожве.

Пришелец пошёл на место своей избы, потрогал там, погорелую землю и решил вновь сложить жилище. Обойдя деревню, он нашёл топор без топорница, увидел брёвнышко в лесу и сел стругать перочинным ножом новое топорнище... Народ не может умереть до последнего человека, кто-нибудь останется, и старые люди вернутся жить на прежние места, а вдобавок к ним нарождаются новые люди, и Добрая Пожва построится разумнее прежнего и опять электричество станет светить и работать на пользу и счастье. Опять будет хорошо, но только убитые и умершие никогда не возвратятся в свои избы, и лучшая жизнь им не достанется.

Что же это такое? — Кирей перестал трудиться, почувствовав мучающую горе в сердце, которое уже не может зажить в нём ни от какого добра или счастья. Его жена и дети домой не придут, и Сампо-электричество для них более не нужно. Жене нужно было, кроме хлеба и хорошей жизни, ещё что-то, неизвестно что, — она о том говорила. Что же это было, что неизвестно было ей самой и что ей было необходимо? Пусть бы она была живой, и дети живыми... Но они погибли.

— Отчего же они погибли? — с затруднением спросил Кирей, глядя на всю опустевшую, замученную землю. — У нас всё было, а они умерли... Иль и правда, у нас недостаток был чего-то, о чём жена горевала, и оттого погорела и померла вся наша Добрая Пожва... Я того не знаю, я только живу и мучаюсь один.

Кирей мало чего знал. Сделав топорнище к топору, он начал подрубать дерево в лесу, решив по привычке к жизни строиться сызнова. Боль в сердце от горя и воспоминаний мешала ему иногда работать, и тогда он опускал топор и думал, занятый своей печалью: «Отчего наше добро не осилило сразу ихнее зло?.. Оно же было могучее, добро и сила нашей жизни!»

Кирей осерчал и с размаху стал вновь трудиться топором. Он не знал всей тайны жизни, и не знал того, почему зло хоть на время может одолевает добро и убивать безвозвратно любимых людей. А это горе уже не на время, а навеки.

До самого позднего вечера с усердием трудился Кирей, терпя свою печаль. Он хотел, чтобы опять настало такое время, когда в новой Доброй Пожве электричество будет молотить зерно, освещать тьму, нагнетать воду и крутить самопрялки. Но это всё будет одно лишь добро, а его мало для жизни, потому что добрая жизнь податлива на смерть, как видно стало по войне.

«Мы сделаем так теперь», соображал в своем уме Кирей, «чтоб в Новой Доброй Пожве молотилось не одно хлебное зерно, а смалывалось ещё в смерть зло жизни. Электричество того делать не умеет, и никто, должно, не умеет. Но мы помучаемся и тогда сумеем. Хлеб тоже нужен, а одолеть смерть от зла,

от врага-неприятеля ещё нужнее. Жена — покойница — чуяла правду, и умерла она оттого, что мы её не чуяли».

Кирей решил отстроить пока-что одну избу и сделать в ней кузню для починки партизанского оружия. А далее он хотел жить до конца, до самой дальней смерти, пока станет мочи, чтобы строить всю Добрую Пожву, какой она была, и ещё лучше, и сработать своими руками самое важное и неизвестное: добрую силу, размалывающую сразу в прах всякое зло.

Самому Кирею уже ничего не нужно было, потому что его сердце ушло в вечное горе о погибших детях и жене. Но совесть перед мёртвыми давала ему теперь силу для жизни. И Кирей не хотел уйти к любимым мёртвым, не отработав своей вины для живых. Пусть живые будут не его дети и чужие люди, однако их сердце никогда не должно быть порушено ни железом врага, ни горем вечной разлуки.

★

ДЕРЕВО РОДИНЫ

Мать с ним просталась на околице; дальше Степан Трофимов пошёл один. Там, при выходе из деревни, у края просёлочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, — там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево «божьим», потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и ещё гуще прежнего одевалось листьями, и потому ещё, что это дерево любили птицы. Они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замирало всё целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не

расставаясь, что выросло на нём и было живым.

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил его за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижился и стал неощутимым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него.

Отходя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать ещё стояла у ворот и глядела сыну вослед; она просталась с ним в своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть, — маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдёт целый век, она всё равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.

— Потерпи немного, — произнёс ей сын в своей мысли, — я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться.

Старая мать осталась одна вдалеке — у ворот избы за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нему, а сын ушёл. Издали он ещё раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и ещё не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелонном был отправлен воевать с врагом на фронт.

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, чуть-чуть, высунули наружу, ожидая, навстречу неприятелю. Позади пустого поля рос мелкий лес, с листвою, опалённой огнём пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел поскорее увидеть своего врага, — того тайного человека, который пришёл сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать, и пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это — человек или другое что?» — думал Степан Трофимов о своём неприятеле. «Сейчас увижу его». И красноармеец глядел в свое поле, далекое от его дома, но знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пахут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна, — что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и более не поднялось расти.

«Полежи и отдохни, — говорил пустой земле красноармеец Трофимов, — после войны я сюда по обету приду, я тебя

запомню и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь; не скучай, ты не мёртвая».

Из темного горелого мелколесья, на той стороне поля, вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел, — сказал Трофимов о стрелявшем враге, — лучше б сейчас потерпел стрелять, а потом терпеть тебе долго придётся — помрешь от нас и соскучишься».

Командир его загодя сказал красноармейцам, чтоб они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча.

Немцы постреляли ещё, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов заскучал. Он жалел, что время на войне проходит зря: надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трата народных харчей. «Вот и ночь скоро, — размышлял Трофимов, — а что толку? Я ещё ни одного немца не победил».

Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно итти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперёд за командиром. Он помнил, что, чем скорее он будет бежать вперёд на врага, тем раньше возвратится назад, в деревню к матери.

В лесу было неудобно бежать и невидно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперёд с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.

Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха.

Трофимов с хода вонзил свой штык вперед в туловище неприятеля долгим, затыжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше вольно, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его шты-

ком насмерть. Командира теперь не было—он, наверно, ушёл далеко вперёд. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку из чащи кустарника начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону, перепрыгнул через пень и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнём. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную; он обнял его и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал, сопротивлялся и норовил ухватить за горло Трофимова.

Степан заметил свою винтовку, она лежала близко на земле; он дотянулся рукой до неё, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове.

— Не томись, — сказал Трофимов.

Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка была наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля, а помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками стояла среди ржи одна деревня; туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны, — там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова и у последней избы росло одинокое божье дерево.

Автомат ударил вблизи Трофимова: «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага, он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для

жизни—его убивать не должно и убить никто не может.

Трофимов побежал на врага, бывшего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живёт. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился, оттого что было теперь не больно и пусто жить, и стало всё равно, ни грустно, ни радостно, но он ещё по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди — я потом помру», — и он упал в траву и откинул винтовку, как ненужное оружие: пусть пропадёт в траве и не достанется врагу.

Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотою радости подумал Трофимов. Он ощупал себя по телу—оно теперь было усохшее и томное; из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась, и только тепло жизни постоянно выходило из неё, и холодела душа.

— Вы у нас, — сказал Степану Трофимову чужой человек.

— Ты немец, что ль? — спросил Трофимов; он понял, ещё тогда, когда тот человек сказал свои слова, он понял по одежде и не русскому звуку языка, говорившему по-русски, что он погиб.

«А я не погибну, — решил Трофимов, — я как-нибудь буду».

— Говорите быстро, что знаете? — опять спросил его немецкий офицер.

«А что же я знаю? — подумал Трофимов. — Да ничего!» — и ответил вслух:

— Я знаю, что хоть все мы в дырява насквозь тела будем простреляны, а все одно твоя сила нас не возьмет.

— Говорите — где ваши силы, какие номера частей, номер вашей части? — приказывал офицер. — Быстро, быстро.

Трофимов огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. «И ты здесь, со мной, — прошептал Трофимов Пушкину. — Изба-читаль-

ня здесь, что ль, была? Потом всему ремонт придётся делать».

— Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части? — сказал офицер.

— Как где? — удивился Трофимов. — Наш командир впереди меня на фашистов наступал. — Он не отвечал на вопросы, и говорил мимо них, словно был тёмён сознанием.

— Командир — это вы, — убеждённо сказал офицер. — Вы напрасно переоделись в солдата.

— Ага, — промолвил Трофимов, — ну, тогда ты отсталый. Какой же я командир, когда я человек неученый и сам простой.

Немецкий офицер взял со стола револьвер:

— Сейчас вы научитесь.

— Убьёшь, что ль? — спросил Трофимов.

— Убью, — подтвердил офицер.

— Убивай, — сказал Трофимов.

Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в темя по голове.

«Опять мне смерть, — слабея, подумал Трофимов. — Дитя живёт при матери, а солдат при смерти», — пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось.

Вспомнил Трофимов о себе нескоро — в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый на каменном полу, он озяб, измучился в беспомощности и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо — тоже не отогреешься», — произнёс про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо, как здесь, на том свете не может быть, значит, он ещё живой.

Он находился в неизвестном деревянном колодце, сухом изнутри и пахнущем кислой травой. Внизу по земле он был широкий, а кверху шёл на-нет и кончался тьмою. Но прежде тьмы, на большой высоте, еле горела маленькая

электрическая лампа, испускающая серый свет неволи. В узкой дубовой двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов долго осматривался тут, пока не сообразил, что он сейчас пребывает внутри полости колхозной силосной башни. Выше над узником в стену были вбиты железные прутья, согнутые в подковы, чтобы по ним можно было подниматься. Трофимов для проверки поднялся по ним, но железки скоро окончились, далеко не дойдя до верха.

Сойдя обратно на землю, Трофимов вытянулся во весь рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас её не чувствовал. Лист с божьего дерева родины присох к телу на груди вместе с кровью, и так жил с ним заодно.

Трофимов осторожно, не повреждая, отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к тесовой стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было теперь легче жить, и он начал немного согреться.

«Я вытерплю, — говорил себе Трофимов, — мне надо ещё пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве».

Он опустился на землю, закрыл лицо руками и стал тихо плакать — по матери, по родине и по самому себе.

Потом ему стало легче. Он отёр своё лицо и захотел представить себе — какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица — ни в зеркале, ни в покойной чистой воде. «Сейчас я на вид плохой — зачем мне смотреть на себя», — сказал Трофимов.

Он встал и снова загляделся на лист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево родины растёт вечно и сохранно, а

Трофимов и здесь, в плену врага, будет думать и заботиться о нём. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в помещение, потому что если одним неприятелем будет меньше, и то Красной Армии станет легче.

Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против дубовой двери в ожидании врага.

Проходило время и проходила жизнь. Трофимов было задремал, но, почувствовав человека за дверью, очнулся и забрался по стене вверх, до самой последней железки, сажени на две с лишним.

Дверь отворилась, и в помещение вошёл неприятель. Трофимов сразу бросился на него сверху всею тяжестью своего тела, и оба они долго потом в рукопашную умерщвляли один другого, пока Трофимов не задушил врага на смерть.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

СТЕПАН ЩИПАЧЁВ

✽

Я давно ли брал тебя за руки,
Нежно имя повторял твоё.
Снова камские стучатся вьюги
В деревянное твоё жильё.

Часто длинною была дорога
От письма до нового письма,
И тебя осулила немного
Прошлая жестокая зима.

Но, я знаю, после нашей встречи,
(Словно силой поделились мы)
Худенькая, не согнёшь ты плечи
Перед вьюгами второй зимы.

★

В давке жали нас со всех сторон.
Нежных слов ты мне не досказала.
Вспомнишь ли сегодня тот перрон
Затемнённого вокзала?

Я, обняв тебя, глядел в глаза.
Новые ремни на мне скрипели.
Да, друг другу многого сказать
За двенадцать лет мы не успели.

ПЕРЕД БУРЕЙ

(Отрывки из воспоминаний)

И. МАЙСКИЙ

*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Зимой 1939—1940 годов в Лондоне, когда настоящая война ещё не началась, а вместе с тем вся Англия с закатом солнца уже стала погружаться в «ромешный мрак» («black out» (затемнения)), обычная вечерняя жизнь, всегда отнимающая так много времени у посла, внезапно прекратилась. В густо набитом всякими делами и обязанностями дне образовалась неожиданная пустота. Меня невольно потянуло к письменному столу. Результатом явилась небольшая книга воспоминаний о моём детстве, отрочестве и ранней юности. Надеюсь, в своё время она целиком увидит свет. Пока же помещаю на страницах «Нового мира» лишь некоторые отрывки из моей книги. Время действия описываемых событий — конец 90-х годов прошлого века. Место действия — Омск, где я вырос и окончил гимназию. Материалом для моей работы послужила не только запись собственной памяти (далеко не всегда надёжная), но — и это гораздо важнее — также ряд моих дневников, писем и т. д., относящихся к описываемому периоду и по прихоти случая сохранившихся до настоящего времени. Таким образом, в основе последующего изложения лежат подлинные факты, как они занесены на страницы моих «человеческих документов» в момент самого совершения событий.

1. ГИМНАЗИЯ

Гимназия! Когда я сейчас произношу это слово, в моей памяти невольно встаёт целая галерея давно забытых картин и образов...

Жёлтое двухэтажное каменное здание с большой иконой над входной дверью. Длинные полутёмные коридоры, в которых даже в самый жаркий летний день почему-то холодно. Выбеленные в серую краску классы с рядами жёлто-грязных, изрезанных ножами, забрызганных чернильными пятнами парт. В каждом классе также пострадавшая от времени и бурь кафедра, а по обе стороны её чёрные доски с губками и мелками. Большой актёрский зал в

конце нижнего коридора, где нас, гимназистов, изредка собирают по торжественным дням и где обычно мы занимаемся гимнастикой. Широкий двор с несколькими тощими деревьями, где с шумом и гамом в тёплые дни мы проводим «большую перемену». Здесь можно побегать, покричать, поиграть в пятнашки, покрутиться на гигантских шагах или подняться на руках по лестнице или канату. В конце двора низкий, точно приплюснутый деревянный дом — квартира директора. Это особый мир, отделённый от гимназии невысоким почерневшим забором, откуда часто доносятся вкусные запахи и аппетитный стук ножей по тарелкам. Там иногда смутно мелькают женские силуэты, возбуждающие любопытство гимназистов. Но туда нам доступа нет. Оттуда нами только правят...

Хмуро, неуютно, холодно, неприветливо в этом двухэтажном жёлтом здании. Оно не привлекает, а отталкивает. Каждый лишний час, проведённый здесь, кажется потерянным. Но дело не только в здании.

Вот наш «гимназический Олимп», как иронически зовут гимназисты учительский персонал, — какие люди! какие типы!

Директор гимназии — «русский чех» Шрамек. Не знаю, какой ветер занёс его из родной Чехии в Россию, но знаю, что он прочно окопался и пустил крепкие корни в бюрократической машине своего нового отечества. Высокий, толстый, с гладко причёсанными на пробор седыми волосами, он редко показывается гимназистам. Он вообще не любит двигаться, а сверх того считает, что того требуют интересы субординации и дисциплины. «Народ» не должен слишком часто и близко видеть своего «властителя» — нет, не должен! Иначе исчезнет «расстояние», потеряется «уважение», начнётся «анархия». Шрамек сидит у себя в директорском кабинете, подписывает бумаги, вызывает к себе учителей. Говорит Шрамек сухим скрипучим голосом, с сильно выраженным иностранным акцентом, брызжет при этом слюной и в такт словам делает равномерные движения рукой. Кажется, будто он заколачивает мысли в голову своего слушателя, как молотком заколачивают гвозди. Учителя и

любят Шрамека и с удовольствием рассказывают о нём всякие сплетни и анекдоты. Гимназисты Шрамека просто ненавидят — за его высокомерие, за его бездушный формализм, за его мёртвенный, но весьма эффективный бюрократизм.

Инспектор гимназии — Соловьёв. Полная противоположность директору по внешности и характеру: маленький, кругленький, необычайно подвижный, он, точно шарик, целый день катается по коридорам, классам, уборным, совершенно не давая жить гимназистам. Лысина Соловьёва блестит издалека, на маленьком носу потешно торчат стальные очки, на висках забавно топорщатся кочья нечёсанных седоватых волос. Соловьёв — гроза гимназии. Он везде и нигде. Он внезапно вырастает перед любой собравшейся группой учащихся, неожиданно ловит каждого преступившего правила гимназиста и тут же, на месте, творит суд и расправу. То-и-дело слышится:

— Почему у тебя расстёгнута пуговица?..
Стань столбом!

— В чём это ты перемазал руки? В чернилах?.. Стань столбом!

— Что это у тебя там, в рукаве? Покажи, покажи! Не бойся!.. Эге! Папироса!.. Стань столбом!

Таких «столбов» Соловьёв наставит десятка два и затем на четверть часа убегает в учительскую. Но ему не сидится. Он вновь появляется в коридоре и начинает действовать. Почему-то гимназисты окрестили Соловьёва именем «Чижа», и, как только он показывается на одном конце коридора, так по всей его длине, точно какой-то лесной разбойный клич, несётся предостерегающее:

— Чи-и-ж! Чи-и-ж!

Соловьёв приходит в ярость, кидается на первого попавшегося, хватая его за шиворот и, тыкая носом в стену, бешено кричит:

— Ты кричал! Ты кричал! Стань столбом! Стань столбом!..

Учитель латинского языка — Михновский. Высокий, рыжий, с круглыми золотыми очками, сквозь которые он любит смотреть на ученика «пронзительным» взглядом. Он знает свой предмет и считает, что это «пуп» гимназической науки. Он так именно и выражается: «пуп». Всё преподавание Михновского построено на системе жестокой зубрёжки. Никакого другого метода он не признаёт. Мы читаем с ним Цезаря, Вергилия, Горация, но мы не имеем ни малейшего представления ни об этих авторах, ни об их эпохе, ни об условиях их творчества и развития. Мы знаем лишь отдельные строчки и стихи. На сегодня нам задано выучить пятнадцать строчек из «Галльской войны» Цезаря, на завтра нам задано выучить двенадцать стихов из «Метаморфоз» Овидия, на послезавтра — выучить «Оду» Горация и т. д. Мы выучиваем, но не понимаем, почему Цезарь так интересовался войной с галлами, а Овидий писал о превращениях. Однако, если ученик бойко произносит и переводит отрывок, Михновский доволен. Если же нет...

— Никуда не годится, — гремит его голос.

И затем в классном журнале против соответствующей фамилии каллиграфическим почерком, с сладострастной медлительностью выводится «двойка». Но это было бы ещё с полгоря. Само же худшее начинается после. Михновский возводит очи к грязному потолку и, сделав благочестивый вид, приступает к «словосечению» своей жертвы. Он долго, нудно, противно измывает над гимназистом, то-и-дело показывая классу свои чёрные гнилые зубы. Кажется, будто Михновский бесконечно жуёт этими зубами длинную, тоскливую резинку. «Всю душу измотает», говорят о нём ученики и при этом раздражённо плюются.

А вечером Михновский бродит, как тень, по Любинскому проспекту, ловит и записывает в книжку гимназистов, оказавшихся вне дома позже восьми часов.

Учитель русского языка — Воронин. Мрачный, сосредоточенный, с шатеновой козлиной бородкой и яркочерным носом, выдающим его пристрастие к алкоголю. Про него рассказывают, что, приехав в Омск лет десять назад, он был полон либеральных стремлений и добрых намерений. Однако жизнь очень скоро показала ему свои шипы. Начальство преследовало Воронина, семья быстро росла, положение становилось безвыходным. Воронин не сумел «приспособиться» к окружающей среде и просто «сломался». Его надлом принял слишком частую в то время форму, — он стал пить. Воронин — прекрасный преподаватель: он хорошо знает предмет, умеет понятно изложить самое трудное правило, идеально справившись, у него нет «любимчиков» и «спасинок». Но Воронин пьёт, жутко пьёт. Иногда он является в класс с красным возбуждённым лицом, с горячечными глазами и запахом перегара изо рта. Иногда он вдруг совсем исчезает на два-три дня, — тогда все знают: Воронин запил. Потом он приходит в гимназию бледный, сердитый, бешено раздражительный. В такие минуты каждый из учеников трепещет, как бы на него не обрушился страшный гнев учителя. Но в общем всё-таки гимназисты относятся к Воронину хорошо: они уважают его за справедливость и знание дела. И, кроме того, они смутно понимают внутреннюю трагедию этого человека и сочувствуют ему...

Учитель истории — Борткевич. Человек округлых форм и сибаритских наклонностей. Большой говорун и остролов. Когда он садится на кафедру и каким-то игриво-небрежным жестом вскидывает на свой плоский нос пенсне, весь класс замирает в ожидании чего-нибудь «интересного». И Борткевич редко обманывает эти ожидания. Сегодняшний урок — об Александре Македонском (конечно, в глубокомысленной интерпретации знаменитого Иловайского), но для Борткевича это не имеет ни малейшего значения. Он подходит к доске и мелом быстро рисует две линии — острый угол и полукруглость. Затем, сделав хитрое лицо, он обращается к великовозрастному ученику, сидящему на второй парте:

— Киселёв, скажи, что тебе кажется более красивым: угол или полукруглость?

Киселёв в недоумении смотрит на Борткевича, потом на класс, потом опять на Борткевича и, в конце-концов, нерешительно отвечает:

— Ну, допустим, полуокружность, хотя...

— Вот то-то же, — в восхищении перебивает его Борткевич. — Конечно, полуокружность. А почему?

На это Киселёв уже совершенно не знает, что сказать. Тогда Борткевич вновь поднимается на кафедру и с торжеством провозглашает:

— А потому, что человеческому глазу округлость легче воспринимать, чем углы... Оттого-то женская фигура считается более красивой, чем мужская.

Класс громко ржёт в ответ на последнее замечание учителя. Борткевич оправдал возлагавшиеся на него ожидания.

Потом мы переходим к учению. Борткевич спрашивает, Борткевич говорит, Борткевич комментирует события прошлого. Но если вы послушаете его в течение нескольких месяцев, то должны будете прийти к выводу, что вся история есть в сущности лишь история царей и набор салных анекдотов. Не вполне ясно, любит ли Борткевич царей, но зато в салных анекдотах он понимает толк. Ого! Ещё как понимает! Он знает их сотни и всегда рассказывает смачно, захлёбываясь от удовольствия, с энтузиазмом.

Ещё бы! Борткевич имеет репутацию первого ловеласа в городе. Об его любовных похождениях рассказывают самые невероятные истории. Рассказывают и при этом, покачивая головой, недоумённо прибавляют:

— И чем только берёт, подлец?! Добро бы красавец был, а то ведь, прости господи, смотреть не на что: ни кожи, ни рожи...

Учитель словесности — Петров. Молодой, белобрысый, с лихо закрученными усами и наглыми голубыми глазами. Вид такой, что невольно хочется сказать: «Из молодых, да ранний». Способен, недурно знает русскую литературу, понимает в ней толк. Но прежде всего и раньше всего карьерист. Прекрасно гнёт шею пред начальством и потрафляет ему антисемитизмом. Однако не хочет ссориться с гимназистами и шеголяет перед ними либеральной демагогией. Непрочь иной раз, особенно подвыпив, поплясать в рубашке с учениками, но ещё более склонен доносить директору на «крамольное вольномыслие» своих питомцев. О Петрове говорят:

— Он далеко пойдёт.

Но именно поэтому гимназисты, несмотря на все усилия Петрова, не чувствуют к нему доверия. Они отдают должное его уму и знаниям, но общее мнение гласит:

— Скользок, как угорь, — продаст ни за грош.

Учитель французского языка — Галэн. Красивый брюнет лет под пятьдесят. Чёрные волосы с яркой проседью. Говорят, в прошлом был парикмахером, и действительно, от него и сейчас исходит запах фиксажура и душистого мыла. Ученьем занимается мало, а больше всё строит страшные рожи и рассказывает о

постановках в парижских театрах. Никто у него ничего не делает и, конечно, ничего не знает. Изредка Галэн вызывает кого-нибудь и спрашивает урок. Результат обычно оказывается плачевный. Тогда Галэн сердится и скороговоркой кричит:

— Скверно, скверно! Сесть на место! Надо подучиться.

Затем делает очередную рожу и переходит к очередному сообщению о французском театре...

Учитель немецкого языка — Берг. Он оправдывает свою фамилию (по-немецки «Berg» означает «гора»). Это не человек, а какая-то огромная мясная туша три аршина в обхвате. Весит Берг десять пудов, съедает за обедом пять тарелок супу и десяток котлет. Рассказывает всем и каждому, что он «кончил на Дерптский университет» и является «спесналист» по немецкой литературе. Может быть, это и так, но за тяжеловесностью особы Берга ничего такого не заметно. Берг, конечно, больной человек, и ему следовало бы заняться своим здоровьем. Вместо этого он занимается с нами немецким языком или, точнее, тихо похрапывает на уроках. Придёт, сядет на кафедру, которая начинает трещать под его могучей фигурой, вызовет одного-двух учеников и вдруг... голова Берга уютно склонилась на подставленную правую руку, глаза закрылись и из громадного мясистого носа торопливо поехали лёгкие подозрительные звуки. Проходит несколько минут. Кто-нибудь из учеников из озорства громко хлопнет верхней крышкой парты... Берг внезапно дернется, вздрогнет, откроет глаза и будто ни в чём не бывало спросит:

— Николаев, ты почему замолчал?

— Да вы меня не вызывали, — с удивлением отвечает Николаев.

— Как не вызывал? — начинает кипятиться Берг. — Что ты выдумываешь? Отвечай, отвечай!

И когда ошеломлённый Николаев встаёт для того, чтобы ответить сегодняшнему уроку, голова Берга вдруг опять уютно склоняется на его руку и по классу начинает разноситься сладкий храп.

В одном из классов был такой случай: когда Берг по обычаю задремал, все ученики — один за другим — потихоньку вышли. Случайно забегавший Чиж был потрясён открывшейся его взору картиной: пустой класс, а на кафедре громко храпящая гигантская груда костей, жира и мяса, именуемая учителем немецкого языка Бергом...

Надо ли продолжать зарисовку портретов этой педагогической галереи? Не думаю. Мне кажется, сказанного выше совершенно достаточно.

Таков был наш омский «гимназический Олимп». Чем больше я вглядывался в него, тем резче бросался мне в глаза два момента.

Во-первых, мертво-бездушный формализм, пронизавший всю нашу учебную систему и определявший собой отношение учительского персонала к учащимся. Всё преподавание было

построено на бессмысленной зубрёжке, а всё воспитание состояло в последовательном проведении принципа «тащи и не пушай». Гимназист был связан по рукам и ногам десятками нелепых стеснительных правил: он должен был обязательно посещать церковь, он должен был обязательно носить ранец, он не должен был ходить в театр, он не должен был позже восьми часов вечера появляться на улице и так далее. Всё внимание гимназической администрации было обращено на то, чтобы непременно уложить молодёжь в эти тугие рамки. Я только-что говорил, что латинист Михновский ловил по вечерам запоздавших учеников. Но он был не один. Директор Шрамак систематически посылал классных наставников и их помощников на обнаружение «неподобающих поступков» (как он выражался) со стороны гимназистов и требовал от них обязательного представления компрометирующего материала. Кто такого материала не приносил, получал реприманд в таком виде:

— Дурак! Деньги получаешь, ходишь, ничего не видишь! Дурак!

А инспектор Соловьёв нередко прятался у подъезда и записывал учеников, которые не носили ранца за плечами. Да, наши учителя были настоящие «человеки в футляре», которые прекрасно выполняли задание царского режима — душить мысль и парализовать волю подрастающего поколения.

Во-вторых, меня глубоко возмущало бесстыдное подхалимство, которое стало второй натурой педагогического персонала. Была целая лестница: инспектор ходил на задних лапках пред директором, преподаватель — пред инспектором, классный наставник — пред преподавателем и т. д. Начальству кланялись, пред начальством лебезили, у начальства лизали пятки. Я помню один замечательный случай. Приехавший из Томска попечитель учебного округа посетил нашу гимназию. Ещё за два дня до его визита все классы и коридоры мыли, скребли, начищали, приостановив обычные занятия. Накануне дня посещения Михновский, придя в класс, весь свой час убил на «подготовку» учеников к «счастливному событию». Куда девалось его олимпийское величие! На глазах у всех гимназистов он показывал в лицах, что надо делать, если попечитель зайдёт к нам в класс: как выходить из-за парты, как кланяться, как улыбаться, как выражать восторг пред мудростью начальства. На следующий день попечитель, как на грех, миновал наш класс, и Михновский был страшно разочарован. Зато в коридоре гимназии разыгралась изумительная сцена: когда в нём появился попечитель в сопровождении директора Шрамака, Чиж побежал петушком впереди и полушопотом, в котором слышались злость и раздражение, зашипел, обращаясь к толпившимся ученикам:

— Кланяйтесь! Кланяйтесь! Что же это вы, батеньки, стоите, как чурбаны?

А в это же время сзади попечителя и директора семенил высокий учитель гимнастики и, страшно жестикоулируя и свирепо вращая

глазами, из-за спины «олимпийцев» сигнализировал гимназистам:

— Руки по швам! Кланяться!

Глядя на эту картину, мне было тошно и противно.

2. ГИМНАЗИЧЕСКИЙ БУНТ

В шестом классе, подражая Писареву, которым я в то время сильно увлекался, я начал писать большую статью под заглавием «Наша гимназическая наука». Не знаю, почему, собственно, я стал писать. Опубликовать такую работу в то время было нельзя по цензурным условиям, да к тому же у меня не было никаких связей и знакомств в литературных кругах. Тем не менее я стал писать... просто потому, что хотелось писать, потому, что наполнявшие голову новые мысли и запросы властно искали выхода. Возможно также, сказывались заложенные во мне литературные склонности. Работа моя была написана горячо, но наивно, сумбурно и свыше всякой меры цветисто. Она имела, однако, один полезный для меня результат: в процессе писания я поневоле должен был привести свои мысли в известный порядок, суммировать свои наблюдения, точнее формулировать свои выводы и заключения.

Этот опыт не прошёл для меня даром. В последующей жизни всякий раз, когда мне приходилось разбираться и находить путеводную линию в хаосе внезапно нахлынувших новых мыслей, чувств, фактов, соображений, я брался за перо. Часто я писал при этом только для самого себя, но игра, несомненно, стояла свеч. Такая работа всегда сильно просветляла голову и помогала найти точку опоры в пёстрых и противоречивых явлениях действительности.

В моей статье о гимназической науке выводы, к которым я пришёл, чётко формулировались в двух лозунгах:

Долой классицизм!

Да здравствуют естественные науки!

Конечно, в этих выводах не было ничего оригинального. Они носились тогда в воздухе, их делали тысячи людей во всех концах России, о них кое-что полунамёками уже писалось даже в журналах и газетах. Но лично для меня эти выводы были почти откровением. Я поспешил, конечно, поделиться ими с более близкими мне товарищами по классу. Мои идеи им очень понравились: все ненавидели латинский и греческий языки, по крайней мере в той форме, в какой они у нас преподавались. И все чувствовали большую пробел в своём образовании ввиду отсутствия естественных наук в программе мужских гимназий. В классе пошла толки и обсуждения поставленного мной вопроса, причём особенно горячо мою точку зрения отстаивал один белокурый, голубоглазый гимназист с забавно коротеньким носом, который он постоянно утирал пальцем, — по имени Николай Олигер. Мы учились с ним вместе уже несколько лет, но до сих пор как-то далеко стояли друг от друга. Теперь, в процессе перебариванья новых мыслей о классицизме и естественных науках, мы

сблизились и подружились с ним. Это, как увидим ниже, сыграло большую роль в моём дальнейшем развитии.

Брожение, вызванное в классе моими «еретическими» мыслями о гимназической науке, очень скоро довольно бурно прорвалось наружу и породило крупный «скандал» в жизни гимназии — первый скандал в истории этой «беспокойной» зимы 1898—1899 годов. Как-то латинист Михновский пришёл в класс в очень плохом настроении. Он вызвал одного за другим пять учеников, к каждому страшно придирался, каждому «выматывал душу» грозными нотациями и в результате украсил классный журнал пятью каллиграфически выведенными «двойками». Это сразу накалило атмосферу. Шестым он вызвал сына военного топографа Гоголева — мальчика шустрого и развитого. Гоголев совсем неплохо ответил урок — как сейчас помню, небольшой отрывок из Горация — и в нормальных условиях ему была бы обеспечена «четвёрка». Но сейчас Михновский набросился на Гоголева и закричал:

— Никуды не годится!

— Как никуды не годится? — возмутился Гоголев. — Гораций очень трудный автор, и я вчера долго учил урок.

— Молчать! — проревел Михновский. — Я же нуждаю в вашем мнении о Горации.

Напряжение в классе становилось всё выше. Бедный Гоголев то краснел, то бледнел. Поведение Михновского возмутило меня до глубины души, и в ответ на последние слова латиниста я промолвил, с расстановкой, на весь класс сказал:

— Век живи — век учись.

Михновский вскочил с места, как ужаленный, и бешено заорал:

— Встать на ножки!

Я неохотно поднялся со своего стула и затем демонстративно сел на парту. Я чувствовал, что в меня вселился бес, и знал, что теперь пойду напролом. Михновский был до такой степени потрясён моей дерзостью, что почти лишился дара слова и только бессмысленно бормотал:

— Это... это... это...

Гоголев был забыт. События принимали гораздо более сенсационный оборот.

— Я давно хотел вас спросить, Александр Игнатьевич, — продолжал я, — зачем мы изучаем древние языки? Мы тратим на них десять-одиннадцать часов в неделю, то есть больше трети всего нашего учебного времени, а для чего?

Я остановился и с самым невинным лицом ожидал ответа от Михновского, но тому было не до ответа. Зато по классу прокатилась волна возбуждения. Со всех сторон послышалось:

— Правильно, зачем нам забивают голову этой дребеденью?

— Нас душат глаголами и грамматикой!

— Мы ничего не понимаем в Виргилии и Горации!

— Мы зря тратим время на пустяки!

Вмешался Олигер и саркастически заметил:

— Мы полгода потратили на «Воспоминания Сократе» Ксенофонта, а запомнили только

то, что всё справедливое Сократ относил к букве «а», а всё несправедливое к букве «б». Кому это нужно? И стоит ли овчинка выделки?

Михновский был совершенно ошеломлён этим неожиданно прорвавшимся бунтом. Он сразу потерял всю свою самоуверенность и в растерянности смотрел на возбуждённые лица своих питомцев. Потом он как-то обмяк и заговорил уже более человеческим тоном. Михновский «снизошёл» до того, что вступил с нами в спор.

— Как же можно отрицать значение древних языков? — говорил он, с недоумением разводя руками. — Какая у древних авторов глубина мысли! Какое совершенство формы! «Одиссея» Гомера, «Энеида» Виргилия — это же что-то несравненное... Это сокровищница красоты и поэзии.

Мы бешено возражали. В сущности, никто из нас тогда толком ничего не знал о древней литературе, ибо изучали мы в гимназии не писателей, а строчки и предлоги. Но классицизм был для нас символом всего того гнусного, ненавистного, реакционного, с чем мы каждодневно сталкивались в опостылевшем нам ученье, и потому мы били по Михновскому из наших самых тяжёлых орудий.

— Почему такое предпочтение писателям древности? — возмутился я. — Чем Софокл лучше Шекспира, а Ювенал лучше Гейне? Чем Эврипид выше Гёте, а Виргилий выше Шиллера? Писатели нового времени нам ближе, понятнее, а насчёт глубины мысли или совершенства формы они ничем не уступят корифеям античного мира.

— Все лучшие мысли древних давно уже восприняты и развиты новейшими, европейскими авторами, — вторил мне Олигер. — Надо изучать новые языки, на которых они писали! Теперь не XV век. Вы сами нас учили, что «tempora mutantur et nos mutamur in illis» («времена изменяются, и мы изменяемся с ними» — известное латинское изречение).

Оправившийся от испуга Гоголев теперь тоже перешёл в наступление и своим звеняще-металлическим голосом кричал:

— Зачем нам классические дряхлости? Лучше изучать естественные науки!

Все остальные ученики, каждый по-своему, энергично поддерживали нас — кто метким словом, кто шумно выражаемым одобрением. Михновский оказался атакованным со всех сторон и не знал, куда деваться. На его счастье прозвучал звонок, урок окончился, и наш рыжеголовый латинист, точно ошпаренный, вскочил из класса. По бледному лицу его ходили красные пятна. А все ученики шумной, возбуждённой толпой высыпали за Михновским в коридор, вихрем разнося по гимназии волнующие новости о событиях, только-что разгравшихся в шестом классе.

Весть о «скандале на уроке Михновского» очень скоро вышла за стены гимназии и стала самой сенсационной городской новостью. И вот что было замечательно. Хотя кое-кто из людей «с положением» резко осуждал гимназистов, большинство носителей «обществен-

ного мнения» Омска, включая многих представителей губернской и военной бюрократии, явно сочувствовало «бунтовщикам». Разложение царского режима на рубеже XX века зашло уже так далеко, что всякий протест против этого режима или против того или иного проявления этого режима находил больший или меньший резонанс в самых разнообразных, подчас совершенно неожиданных кругах. Именно сочувствие «общественного мнения» вынудило Шрамека, который первоначально собирался «примерно наказать зачинщиков», отказаться от своего намерения и вообще постараться «замять» всю эту неприятную для него историю.

3. КРУЖОК

Однажды в конце ноября мы возвращались домой из гимназии вместе с Олигером. Мы жили поблизости и часто шли пешком, ведя по дороге разговоры и дискуссии на самые разнообразные темы. Вдруг Олигер неожиданно выпал:

— Знаешь, Иван, давай устроим кружок!

— Какой кружок? — с удивлением спросил я.

Я был в то время ещё так наивен, а Омск в то время был ещё таким медвежьим углом, что до того я никогда не слышал ни о каких кружках.

— Как какой кружок? — в свою очередь изумился Олигер.

Олигер был года на полтора старше меня и больше слышал о различных явлениях жизни.

— Мы устроим кружок, — всё больше увлекаясь своей идеей, продолжал Олигер, — привлечём самых развитых из наших гимназистов, будем вместе читать и обсуждать книги, журналы... Потом, что ещё мы сможем сделать?... Ну, конечно, вырабатывать взгляды, учиться... Но не так, как в гимназии, а для себя... Понимаешь ли, для себя?

Идея Олигера мне тоже начинала нравиться. Скоро мы обнаружили в этом отношении полное единство мнений. Вместо того, чтобы идти домой, мы пошли гулять на Иртыш и по дороге стали обсуждать детали заманчивого предприятия. Мы знали, что родители ждут нас к обеду и что наше отсутствие в положенный час вызовет с их стороны беспокойство, а позднее громы и молнии на наши головы. Но что всё это значило в сравнении с теми изумительными перспективами, которые теперь перед нами открывались? Радостно возбуждённые, с беспечно расстёгнутыми шубами, несмотря на мороз, противозаконно сбросив с плеч францы и неся их подмышками, мы долго ходили по запорошенному снегом льду широкой реки. Ходили и разговаривали, разговаривали и ходили.

Прежде всего надо было определить цель кружка. Это не заняло у нас много времени. По существу, цель кружка уже была сформулирована Олигером, и с маленькими дополнениями с моей стороны она была утверждена нами обоими.

Без труда был разрешён также вопрос о месте собраний кружка. Большинство «радикалов» нашего класса жило с семьями, семьи были по преимуществу чиновничьи, военные, среднекупеческие, — стало быть, квартиры имелись. Правда, со стороны некоторых родителей можно было ждать оппозиции к нашей затее, но всё-таки несколько домов, где кружок мог бы собираться, сразу же намечалось.

Гораздо сложнее оказался вопрос о составе кружка. Кого пригласить в кружок? Горячая дискуссия на льду Иртыша концентрировалась главным образом около этой темы.

Класс наш состоял из двадцати трёх человек. Дух в нём господствовал «радикальный», и число «развитых гимназистов» было сравнительно велико. Все крепко стояли друг за друга, фискалов не было, и потому начальство смотрело на наш класс очень косо, а инспектор Соловьёв даже считал, что подобный класс не может быть терпим в гимназии. Мы с Олигером стали перебирать всех наших товарищей, и в конце-концов, остановились на пяти-шести человеках, которые вместе с нами двоими должны были составить первоначальное ядро кружка.

Здесь на первом месте стояли два брата Марковичи — старший Михаил и младший Натан. Они происходили из довольно зажиточной еврейской семьи, связанной с местным торговым миром. У них был двухэтажный дом в Омске и заимка верстах в ста от города. Отец Марковичей давно умер. Детей воспитывала мать — красивая и изящная женщина большой интеллигентности, но мало практичная и болезненная. Около неё постоянно вертелись какие-то дяди и кузены, которые «помогали ей в делах». Мне всегда казалось, что эта «помощь» обходилась вдове Маркович в копеечку и оставляла звонкий металлический след в карманах её благодетелей. Дом Марковичей был уютный, хлебосольный, с большим количеством мужской и женской молодёжи разного возраста. В этот дом можно было притти в любое время дня и ночи и быть вполне уверенным, что тебя ласково встретят, обогреют, напоят чаем, покормят, а если хочешь, то и дадут интересную книжку для чтения. Ибо вдова Маркович любила хорошие книги и имела обширную культурно подобранную библиотеку. Вдобавок дом Марковичей стоял у самого Иртыша, — это так ловко вязалось с катаньями на лодке, с купаньем и другими развлечениями, естественными на берегах большой реки. Старший из братьев Марковичей — Михаил — был несколько неподвижный, философствующий еврейский мальчик, много читающий, развитой, любящий смотреть «в глубь вещей». Младший — Натан — был живее, практичнее, действеннее, но меньше читал и ещё меньше философствовал. В гимназии я был ближе с Михаилом, который впоследствии стал адвокатом. В дальнейшей жизни мне чаще пришлось сталкиваться с Натаном, ставшим доктором. В тот памятный день, когда мы с Олигером на льду Иртыша набрасывали организационную схему на-

шего кружка, братья Марковичи и их дом занимали почётное место в наших соображениях. Этот дом должен был стать главной штаб-квартирой кружка.

Далее мы решили включить в кружок того самого Гоголева, который явился зачинщиком «скандала» на уроке Михновского; Ковалёва — рыжеволосого, веснучатого гимназиста из Семипалатинска, отец которого держал лавку красного товара; Петросова — бойкого и способного сына омского адвоката и, наконец, Веселова — крестьянского парня (как теперь мы сказали бы, «из кулацких слоёв»), обнаруживавшего редкие способности и резкую оппозиционность. Мы долго обсуждали с Олигером ещё две кандидатуры — Михаила Усова и Коли Понягина. Усов был первый ученик, много знал, много работал. Он пользовался большим престижем в классе, но стоял как-то в стороне от общественных интересов. Впоследствии из Усова вышел крупный учёный-геолог, ставший одним из корифеев сибирской науки. Понягин был сын преподавателя естествознания в женской гимназии, умный, симпатичный мальчик, страстно увлекавшийся ловлей бабочек, собиранием растений и т. п. Однако за гербариями и коллекциями насекомых Понягин мало замечал окружающий мир со всеми его неурядицами и противоречиями. По зрелом размышлении мы с Олигером решили, что ни Усов, ни Понягин не подходят к задачам нашего кружка, и оставили их в стороне.

Вскоре наш кружок заработал полным ходом. Это было так ново, так увлекательно, так непохоже на всё, что мы знали и делали до тех пор. Собирались мы большей частью у Марковичей, иногда у меня, иногда у Олигера или Петросова. Никакой строго определённой программы работ у кружка не было. Не было также и какого-либо руководителя из старших. Наоборот, мы скрывали свою затею не только от гимназических преподавателей, но и от родителей, ибо далеко не были уверены в их отношении к нашему предприятию. Как я писал около того времени Пичужке*, у нас в кружке процветала «буйная демократия», и все были равны. Фактически наиболее активную роль в кружке играли Олигер и я, нам секундировали прочие члены. Однако между Олигером и мной была большая разница в темпераментах, умонастроениях, вкусах, подходе к вещам. Несмотря на то, что Олигер был сыном военного аптекаря из прибалтийских

* Пичужка была моя двоюродная сестра Е. М. Чемоданова, с которой я был очень дружен в годы детства, отрочества и ранней юности и которая сыграла большую роль в моём развитии того периода. Она была моя ровесница, жила в Москве и поддерживала со мной постоянную переписку. В этой переписке мы обменивались с Пичужкой своими взглядами, мнениями и впечатлениями. Случайно большая часть данной переписки сохранилась и послужила для меня чрезвычайно ценным материалом при работе над своими воспоминаниями.

немцев, натура у него была художественная, эмоциональная, порывистая, с резкими сменами настроений и необычайной впечатлительностью. Он ненавидел какой-либо строгий порядок, его стихийно тянуло к анархизму. Он увлекался романтизмом, любил красивую форму, пышный образ, охотно уносился в облака, теряя почву под ногами. Я по сравнению с ним (но только по сравнению с ним!) являл образцу трезвости и рационалистичности, я стоял ногами на земле, поклонялся науке и имел тенденцию к известной организованности. Мы часто с Олигером сталкивались, вели полемику, спорили до изнеможения. Остальные кружковцы делились в своих симпатиях и, смотря по обстоятельствам, примыкали то ко мне, то к Олигеру.

В результате жизнь кружка шла шумно, сумбурно, беспорядочно, но страшно весело, подъёмно, с огромной пользой для нашего развития. Предоставленные самим себе, мы экспериментировали, делали петли и зигзаги, открывали давно открытые истины, но всё время кипели в интенсивной работе мысли, в искании и нахождении правильного пути.

Мы начали с коллективного чтения Писарева и Добролюбова. Особенно сильное впечатление на нас произвела знаменитая статья Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?». Мы долго обсуждали её, сравнивали «тёмное царство» середины прошлого века с «тёмным царством» наших дней и единодушно приходили к выводу, что до «настоящего дня» не близко и сейчас. Очень много споров вызвала также статья Писарева «Пушкин и Белинский». Я целиком поддерживал «развенчание» Пушкина и точку зрения «утилитаризма», развиваемую Писаревым. Олигер, наоборот, отстаивал великого поэта. Это повело к оживлённой дискуссии о задачах литературы и искусства вообще, о реализме и эстетизме, о «чистой поэзии» и «поэзии трагической». Уже тогда, в этих полудетских спорах, я твёрдо стал на сторону реализма и «гражданской поэзии», — этим установкам я остался верен и в последующей жизни. Несомненно, было много наивного, мальчишеского, смешного, но одновременно в этих спорах и обсуждениях оттачивалась мысль, зрело сознание, накапливались знания.

Большую роль в работе кружка играли проблемы науки, в особенности проблемы астрономии. Об этом больше всего позаботился я. Моё увлечение астрономией тогда стояло на очень высоком уровне, и «звёздные влияния» постепенно покоряли себе всех членов кружка, включая Олигера. Я принёс и прочитал модную в то время книжку французского астронома К. Фламмарияна «Конец мира», в лёгкой и увлекательной форме трактующую вопрос о гибели земли, — это дало толчок горячей дискуссии, продолжавшейся несколько вечеров, о происхождении солнечной системы, о рождении и угасании звёзд, о жизни на других мирах, о бесконечности вселенной. В ходе нашей дискуссии мы камня на камне не оставили от религиозной концепции о сотворении мира.

Мало-помалу мы перешли к чтению собственных произведений в кружке. Я ознакомил кружок со своей статьёй «Наша гимназическая наука», о которой упоминал раньше. Она нашла горячий отклик в сердцах всех членов кружка, и мы долго и страстно обсуждали те «реформы», которые следовало бы внести в систему средних учебных заведений. Потом — это было уже в начале 1899 года — Олигер прочитал нам только-что написанную им повесть «Друг», которая произвела на нас тогда сильнейшее впечатление. Повесть была выдержана в стиле полудетской трагической романтики, но от этого она только ещё больше нам нравилась. Содержание её вкратце сводилось к следующему.

Герой повести Николай, от чьего имени ведётся рассказ, имеет друга Петра Дартани, которого считает гением и на которого почти молится. Пётр — сын итальянского анархиста и белокурой русской красавицы — молод, умён, энциклопедически образован, но безнадежно болен туберкулёзом. Мать Петра умерла, когда он был маленьким мальчиком, отец после того с отчаянья покончил с собой. Сирота Пётр остался без призора и средств, и ему пришлось бы совсем плохо, если бы какая-то бабушка во-время не умерла, оставив внуку порядочное состояние. В минуту растроганности и откровенности Пётр рассказывает Николаю самый замечательный эпизод своей жизни — встречу с знаменитым чудаком-астрономом Стеклевым, устроившим свою собственную обсерваторию на вершине горы в юго-западной части России. Петру тогда было шестнадцать лет, и он явился к Стеклеву с просьбой взять его к себе в ученье. Услышав фамилию Петра, Стеклевыч пришёл в сильное волнение: оказывается, он был другом его отца. Пётр поселился у Стеклевого и начал обучаться у него астрономическому делу.

Спустя некоторое время Стеклевыч серьёзно заболел и перед смертью открыл свою тайну Петру: в молодости Стеклевыч был польским революционером-националистом и участвовал в подготовке восстания 1863 года. Он уже тогда поселился на горе, но сделал это из соображений конспирации: здесь, в уединении, он писал пламенные обращения к польскому народу, которые потом печатались в соседнем городе. Скоро, однако, Стеклевыч, столкнувшись в среде революционеров с одним предателем, разочаровался в революционерах вообще и решил посвятить себя астрономии. Он уехал за границу, где, между прочим, впервые встретился с отцом Петра, и спустя три года вернулся опять на свою гору, привезя с собой полное оборудование обсерватории и в первую очередь её гордость и красу — знаменитый рефрактор, изготовленный по его собственным указаниям, рефрактор, давший при шестнадцати дюймах в диаметре изумительно ясное изображение с увеличением в пять с половиной тысяч раз! С тех пор Стеклевыч превратился в учёного-отшельника, зарылся в книги и астрономические наблюдения, изучил химию, физику, геологию, ботанику, зоологию, даже теологию и историю, сделал массу важ-

ных открытий и изобретений, — и вот теперь безвременно умирал на руках Петра. И когда, наконец, знаменитый учёный испустил дух, Пётр решил, что он заслуживает совсем исключительной могилы: он вложил тело Стеклевого в трубу его шестнадцатидюймового рефрактора, а трубу эту замуровал в каменном склепе в толще горы. Так навсегда исчезли и Стеклевыч, и его ни с чем не сравнимый инструмент.

Закончив свой рассказ, Пётр хватает в руки скрипку (вдобавок ко всему прочему он был ещё замечательным виртуозом-композитором) и импровизирует величественную «Песнь солнца», которая в потрясающих звуках воспроизводит трагическую историю могучего светила — его зарождение; его развитие, его буйный расцвет, его угасание, его смерть.

Легко себе представить, как должно было действовать подобное произведение на разгорячённое воображение пятнадцатилетних мальчишек! Олигер сразу, одним ударом, был вознесён в наши глаза на пьедестал «настоящего писателя» (каковым он впоследствии и стал).

Но кружок не только имел для нас огромное воспитательное значение, — он мобилизовал также нашу общественную энергию, и нужен был только известный толчок со стороны для того, чтобы эта энергия сразу же отлилась в форму практических действий. Такой случай очень скоро представился.

Россия в то время уже была беременна революцией 1905 года. Уже по промышленным центрам прокатилась волна широких экономических стачек рабочих. Уже в Минске состоялся первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии. Уже либеральная буржуазия крупных городов громко заговорила о необходимости конституции. Уже радикальствующая интеллигенция стала усердно перекрашиваться в розоватые тона легального марксизма. Уже в тёмной глубине крестьянских масс началась медленная, но грозная раскочка, несколько лет спустя приведшая к мощному «аграрному движению». Правда, всё это происходило где-то там, далеко, в большом и широком мире, от которого до нашего Омска «три года скачи — не доскачешь». Но всё-таки глубокое волнение, охватившее страну, какими-то неведомыми, подпочвенными путями проникало и в наш медвежий угол, находя здесь различные, подчас довольно неожиданные отклики.

8 февраля 1899 года в Петербурге произошла первая большая студенческая демонстрация, во время которой казаки избili нагайками сотни представителей учащейся молодёжи. По тем временам это было событием перво-классного значения. Весть о студенческой демонстрации очень быстро разнеслась по всей стране, и даже царское правительство вынуждено было опубликовать «официальное сообщение» о ней в печати. Высланные из Петербурга студенты приехали в Омск с целой кучей самых сенсационных рассказов и привезли с собой вновь сочинённую в столице песенку, припев которой гласил:

Нагаечка, нагаечка,
 Нагаечка моя!
 А помнишь ли, нагаечка,
 Восьмое февраля?

Петербургская демонстрация, конечно, стала предметом горячего обсуждения в нашем кружке, причём особенно волновался по этому поводу Олигер. Разумеется, все мы сочувствовали студентам и возмущались поведением царского правительства, однако никаких продуманных политических выводов мы ещё не в состоянии были сделать. Мы чувствовали только, что откуда-то из далека, из столицы, на нас пахнуло струёй свежего воздуха и что это должно иметь какое-то практическое отражение и в нашей привычной омской жизни.

Однажды, в начале марта, после очередного собрания нашего кружка, мы возвращались втроем — я, Олигер и Гоголев. Олигер был в каком-то особенно приподнятом настроении и вдруг ни с того, ни с сего воскликнул:

— Непременно нужно выпустить прокламацию!

Я не знал, что значит «прокламация», но считал неловким обнаруживать своё невежество. Поэтому я сделал умный вид и ответил:

— Что ж, давай выпустим!

Гоголев знал ещё меньше меня, но, конечно, поспешил присоединиться к большинству.

Олигер пришёл в чрезвычайный восторг и предлагал не откладывать дела в долгий ящик. Он звал нас с Гоголевым к себе домой, и все мы трое спешно приступили к «выпуску прокламации», или, точнее, Олигер командовал, а мы с Гоголевым исполняли его приказания. С необычайной быстротой сам Олигер набросал текст «прокламации». Я сейчас не могу восстановить её точного содержания, но помню, что вся она была выдержана в довольно высокопарных выражениях, грозила «страшной расправой» всем «кровавым собакам», пьющим народную кровь», и призывала «граждан г. Омска проснуться и взять в руки дубину покрепче». Мы с Гоголевым не знали, что сказать по поводу произведения Олигера, но, в конце концов, решили, что возражать нечего: очевидно, все «прокламации» так пишутся. Олигер должен это лучше знать. Автор же «прокламации», составив текст, долго мусолил карандаш во рту и всё придумывал, как бы подписать своё произведение. Не найдя, видимо, ничего более подходящего, он вдруг выхватил карандаш изо рта и размашистым почерком поставил под текстом «прокламации» коротенькое слово «Мы».

Теперь надо было «прокламацию» размножить. Олигер сбегал в военную аптеку, которой управлял его отец, и тайком притащил оттуда небольшой гектограф с чернилами. «Прокламация» была быстро переписана печатными буквами (чтобы не узнали почерка) при помощи гектографских чернил и затем отпечатана в количестве полусотни экземпляров. Я в первый раз в жизни имел дело с гектографом, и работа на нём мне очень понравилась. В дальнейшей жизни эта гимназическая учёба мне весьма пригодилась. Затем был сварен

мучной клейстер, и мы стали обсуждать, как лучше организовать расклейку нашего произведения. Решено было так: каждый берёт с собой стакан клейстеру с кисточкой и пачку «прокламаций», и все мы отправляемся в различные части города для расклейки. По окончании своей миссии вся тройка вновь собирается у Олигера для обмена сообщениями о результатах.

Признаюсь, у меня сильно билось сердце, когда я, распрощавшись на углу с Олигером и Гоголевым, отправился в своё первое нелегальное приключение. Было уже поздно — около часу ночи. Омск спал глубоким сном. Фонарей в городе в то время не было, и на улицах царил жуткая тьма. Только в высоте сверкали звёзды. Снег крепко хрустел под моими ногами, а под шубой о колено бился подвязанный к поясу стакан с клейстером. Я быстро побежал по своему участку, выбирая дома и наклеивая на них «прокламации». От времени до времени я останавливался и прислушивался: не идёт ли кто? Но везде царил мёртвая тишина. Только на базаре я услышал издали равномерный стук колотушника (в Омске в то время ночные сторожа на главных улицах ходили с деревянными колотушками) и поспешно притаился за одной из лавок. Последний листок я наклеил на парадные двери жандармского управления и, чрезвычайно довольный удачным выполнением своей миссии, быстрым шагом направился к дому Олигера, по дороге глотая свежий морозный воздух. К двум часам ночи весь наш «триумvirат» вновь собрался: дело было сделано, проसотни ребяческих «прокламаций» белели на домах и заборах омских улиц. Мы были страшно взволнованы и стали ждать последствий своего выступления.

На следующий день город был полон шопотов, слухов, толков о «подмётных письмах» (слова «прокламация» не существовало в лексиконе тогдашних омичей), а жандармский полковник Розов находился в состоянии полного остоленения. Обленившийся и обрюзгший от полного безделья, ибо до того в Омске никогда не было никакой «крамолы», Розов ездил к генерал-губернатору с докладом, нарядил следствие для поимки «злоумышленников» и бестолково метался по своему кабинету в ожидании его результатов. О «прокламации» стало известно в гимназии, и все — ученики и преподаватели — терялись в догадках о том, кто был мог это сделать. Мы же, трое мальчишек, крепко держали язык за зубами (ничего не знали даже другие члены нашего кружка) и с смешанными чувствами гордости и трепета наблюдали вызванную нашими действиями суматоху. Через неделю стало ясно, что Розов не сумеет открыть «злоумышленников», а ещё через неделю шум, порождённый «прокламацией», стал стихать, тем более что на горизонте нашей гимназической жизни внезапно обнаружились новые крупные события.

В конце марта учитель словесности Петров задал нам для домашнего сочинения тему «Литература екатерининской эпохи». Тема имела весьма отдалённое отношение к совре-

менности, но такова уже атмосфера предреволюционной эпохи, что любая, даже самая маленькая искра способна вызвать сильный электрический разряд. Мы обсуждали заданную тему на нашем кружке и решили разработать её так, чтобы «небу было жарко». Как всегда, Олигер, с своим горячим темпераментом, вынесся вперёд и задал тон всему нашему выступлению. Щеголяя цитатами и словечками, Олигер в своём сочинении писал, что «Екатерина столкнула с престола своего слабоумного мужа», что, будучи очень капризной женщиной, она «раздаривала сотни тысяч крепостных своим многочисленным любовникам», что, ведя просвещённую переписку с Вольтером и Дидро, царица в то же время не терпела критики своих действий со стороны русских писателей и что все эти и многие другие обстоятельства наложили свой отпечаток на «литературу екатерининской эпохи». Всё изложение Олигера было красочно, бойко, складно, но несколько беспорядочно, а, главное, недопустимо «дерзко» по условиям того времени. В таком же духе, хотя несколько скромнее по форме, написал сочинение я. И так же поступили Гоголев, Марковичи, Веселов и прочие члены нашего кружка. Не все обладали литературными данными Олигера, не все шли так далеко, как он, в «политическом освещении» темы, но основное настроение у всех было одинаково. В назначенный срок мы сдали свои тетрадки Петрову, а три дня спустя в гимназии разразилась небывалая гроза.

Когда Петров с целой кипой просмотренных сочинений вошёл в класс и грузно опустился на кафедру, мы сразу по выражению его лица поняли, что предстоит буря. Действительно, раздав почти все тетрадки их владельцам, Петров отложил в сторону три-четыре (в их числе я узнал и свою) и затем, метнув грозный взгляд в мою сторону, он громко крикнул:

— Олигер!

Олигер медленно поднялся с своей парты.

— Я поставил вам, Олигер, за ваше сочинение два балла, — продолжал зловещим тоном Петров — пятёрку и единицу. Как вы думаете, почему?

— Не знаю, — недоумеваяще подняв плечи, ответил Олигер.

— Не знаете? Не знаете? — вдруг, точно сорвавшись, закричал Петров. — Так знайте: пятёрка вам поставлена за литературную форму, а единица — за содержание. Да-с, содержание у вас возмутительное! Вы осмеливаетесь нападать на наши государственные законы и учреждения! Это неслыханно! Это попрание основ!

Олигер молчал, угрюмо смотря вниз на свою парту, а Петров, взяв в руки моё сочинение, грозно продолжал:

— А вы что тут понаписали? Вы изобразили великую императрицу какой-то жалкой плагиаторшей у французских энциклопедистов. Вы осмеливаетесь утверждать, что Екатерина писала свои либеральные послания западным философам под вопли крепостных, которых по-

роли на конюшне по приказу самой императрицы. Это же возмутительно!

И, заметив, что я как ни в чём не бывало спокойно сижу на парте, Петров вдруг дико заорал:

— Встать! Встать, когда я говорю!

Я неохотно поднялся и бросил вызывающий взгляд на учителя.

Петров взялся за третью тетрадку и возмущённо обрушился на Гоголева. Особое преступление Гоголева состояло в том, что он рассказал в своём сочинении знаменитую историю о «потёмкинских деревнях». Далее атаке, хотя уже в более мягких тонах, подверглись сочинения Михаила Марковича и Петросова. Теперь в классе стояло у своих парт уже пять человек, а грозное красноречие Петрова лилось попрежнему неудержимой рекой. Мне это надоело, и я, воспользовавшись первым перерывом в его «филлиппике», сказал:

— Не понимаю, Николай Иванович, чего вы возмущаетесь? Каждый имеет право высказывать своё мнение.

— Что? Что вы сказали? — возопил Петров. — Вы хотите, чтобы каждый негодяй мог пачкать бумагу как ему заблагорассудится. Слава богу, у нас есть цензура!

Тут вмешался Гоголев и бросил:

— А зачем цензура? Она не нужна.

Бешенство Петрова дошло до точки кипения. Он громко застучал кулаком по кафедре и стал кричать, что ученики, подобные Гоголеву, недостойны пребывания в стенах гимназии и что он поставит вопрос об его исключении пред педагогическим советом. Эта угроза разъярила весь класс: мы стали оглушительно хлопать крышками наших парт и создали такой шум, что поблдевший от испуга Петров поспешил выскочить в коридор, не дождаввшись конца урока. В страшном волнении и предчувствии «грозных событий» в дальнейшем мы разошлись в тот день по домам.

Наши ожидания сбылись. На следующее утро нам было объявлено, что урока словесности не будет, а вместо него к нам придёт... сам Шрамек! Мы сразу поняли, что это не просто. Действительно, в одиннадцать часов утра в класс ввалилась грузная, большая фигура директора в сопровождении нашего классного наставника. Шрамек не вошёл на кафедру, а остановился около неё и уставился пристальным взглядом на вставших при его появлении учеников. Так молча, переводя взор с одного гимназиста на другого, он простоял несколько минут. Не думал ли он нас этим путём гипнотизировать? Затем директор откинулся назад, отставил одну ногу вперёд и, засунув два пальца правой руки между жилетными пуговицами, начал своим противным скрипучим голосом:

— Я хочу с вами поговорить. У вас неправильные мысли в голове. Вы будете иметь неприятности. Но я ещё вас спасу.

Убеждённый в магической силе своих слов, Шрамек стал длинно, нудно, с сильно выраженным иностранным акцентом доказывать, каким счастьем для нас является быть «верными подданными его величества государя импера-

тора». Ссылаясь на собственный опыт, Шрамек рисовал самую мрачную картину политического хаоса, слабости, продажности, преступления, господствующих в странах с конституционным образом правления, и при этом всё время повторял:

— Так есть в Австро-Венгерской империи.

И затем, в виде противопоставления, Шрамек широкими мазками набрасывал порядок, мощь, благополучие, неподкупность, процветание, которые якобы господствуют в Российской империи, где нет никакой конституции, а есть только царь, считающий всех подданных своими «детьми». Этот чех, продавшийся с потрохами самодержавию, приходил в состояние умиленной слезливости, говоря о царе и его благолепии. Он поднимал при этом глаза к потолку и почти молитвенно складывал руки. Закончил Шрамек так:

— Я вам сказал, и вы должны меня слушать. А не слушаете, — худо будет.

И затем, круто повернувшись, директор, не глядя ни на кого, величественно вышел из класса.

Как ни были мы тогда политически наивны, но эффект от речи Шрамек получил совсем не тот, на который он, очевидно, рассчитывал. Нам трудно, конечно, было судить, насколько правильна нарисованная им картина австро-венгерских порядков, но зато порядки российские мы знали очень хорошо. И потому Олигер довольно правильно отразил общее настроение (у одних более, у других менее осознанное), когда после ухода директора смачно плюнул на пол и с расстановкой бросил:

— У-у! Продажная шкура!

Рассказанная история имела своим последствием довольно чувствительные «оргвыводы»: половине класса была поставлена за год «тройка» за поведение (взыскание очень суровое по тем временам), — в эту половину попал и я, — а Олигера решено было исключить из гимназии. Отец Олигера, понимая, что это означало бы «волчий билет» для Николая, пустил в ход все свои связи и добился того, что Олигеру предоставлена была возможность уйти из гимназии «по собственному желанию». Весной перед экзаменами он исчез из нашего класса, а осенью уехал в Саратов, где поступил в химико-техническое училище. Около того же времени Гоголев перевелся в Петрозаводск, а Петросов — в Екатеринбург. Наш кружок расстроился, но память о событиях минувшей зимы осталась. В своём дневнике от 8 сентября 1899 года я в несколько высокопарно-романтических тонах писал:

«А какова была прошлая зима! Она явилась бурной, боевой эпохой в моей жизни, но сколько счастья в этих бурях и боях! Борьба мне доставляет огромное наслаждение».

4. ТРАГЕДИЯ ЦЕРКОВНОГО ОРГАНИСТА

Осенью 1900 года я стал брать частные уроки немецкого языка. Моя мать считала, что каждый интеллигентный человек должен хорошо знать по крайней мере один иностранный

язык, но предоставила мне самому выбор языка. Я остановился на немецком, — и виной тому был Гейне. Ещё в шестом классе я начал почитать его произведения, и они сразу произвели на меня чарующее впечатление. Эта любовь к великому немецкому поэту в дальнейшем всё больше росла — параллельно с моими увлечениями другими авторами, в частности Байроном, — и к восьмому классу превратилась в настоящую страсть, которая постепенно отодвинула назад всех моих прежних литературных «богов». Пичужка прислала мне портрет Гейне, я повесил его над своим столом и поминутно им любовался. «Я не видел лица лучше, чем у Гейне», писал я в то время Пичужке и затем прибавлял:

«С каждым днём я открываю в Гейне всё новые и новые достоинства и убеждаюсь, что этот вечно насмешливый, вечно скептический Аристофан девятнадцатого века — один из величайших гениев и знатоков человеческой души вообще, а души людей нашего века в особенности. Гейне — это человечество. Он олицетворяет его в своём лице с таким совершенством, как никто. В нём нашли своё отражение все хорошие и дурные стороны человечества, вся широкая и пёстрая панорама житейского рынка, вся его боль и скорбь, вся его злость и негодование. И за это-то я так люблю Гейне! Короче, я останусь ему неизменно верен».

Последнее замечание было пророческим. Из всех моих литературных увлечений гимназического периода самым длительным и прочным оказалось увлечение Гейне. Я сохранил его на всю жизнь и даже сейчас, в минуту раздумья или отдыха, я люблю перелистать томик стихов этого выдающегося и ни на кого не похожего поэта. В те годы мне больше всего хотелось читать Гейне в подлиннике. И потому я решил изучать немецкий язык.

Моим учителем был органист лютеранской «кирки» в Омске, по фамилии Браун. Хотя в нашем городе он сходил за «немца», на самом деле Браун был латыш из Риги, окончивший там немецкую гимназию. Сколько ему было лет, сказать не могу: Браун всегда обходил этот вопрос, как и вообще все вопросы, относящиеся к его прошлому. Только позднее я понял, почему. На вид моему учителю можно было дать лет под пятьдесят, и весь он с своим полуседым низким «ёжиком» на голове, всегда ярко отливавшим помадой, со своими бритыми усами и бородой, с глубокой сетью морщин на бледно-впалом лице казался каким-то полусасохшим сморщенным лимоном. Лишь глаза — чёрные, острые, чуть-чуть испуганные — как-то не гармонировали с общим обликом Брауна: точно они были взяты от другого человека и не попадая приставлены к этому лицу. Одевался Браун скромно, но чистенько и аккуратно и, ходя по улице, любил курить трубку.

Вначале наши занятия шли очень официально. Один урок мы посвящали чтению «Путевых картин» Гейне, другой — разговору, причём беседовали мы на самые «беспартийные» темы — о погоде, о достопримечательностях

Омска, об отметках за четверть и тому подоб-ных мало интересных вещах. Понемногу, однако, лёд стал таять, и наши отношения начали принимать более человеческий характер. Большую роль в сближении с учителем сыграла моя любовь к органу. Этот инструмент всегда возбуждал во мне искреннее восхищение. До сих пор я считаю, что орган — самый могучий, самый вдохновенный музыкальный инструмент из всех изобретенных человечеством. Больше, чем какой-либо иной, он способен покорять и завоевывать душу. Браун стал водить меня в «кирку» в часы, свободные от богослужения, и разыгрывать предо мной изумительные органнне концерты. Музыкант он был хороший и дело своё любил страстно. Раз или два я присутствовал также на церковной службе в «кирке»: мне хотелось сравнить её с так хорошо знакомой православной службой.

Орган проложил дорогу к моему сближению с учителем. Он жил при «кирке» в маленькой квартирке из двух крохотных комнаток с кухней и часто после «концерта» приглашал меня к себе выпить стакан чаю. Жил он один, старым холостяком, помещение своё содержал в идеальной чистоте и сам вёл всё своё несложное хозяйство. Мало-помалу я так освоился в квартирке Брауна, что стал чувствовать себя здесь, как дома, и позволял себе иногда рыгаться на его книжных полках и в разных укромных уголочках. Как-то раз мы зашли к учителю после великолепного концерта Баха,—оба в очень приподнятом, почти радостном настроении. Были ранние зимние сумерки, и учитель сразу пошёл на кухню ставить чай. Я же подошёл к небольшой этажерке и, порывшись немощко в каких-то старых иллюстрированных журналах, вытащил сильно полинявший от времени альбом фотографических карточек. Машинально я стал его перелистывать. Лица мне были совершенно незнакомые, но по костюмам и причёскам женщин видно было, что все портреты относились к эпохе 70—80-х годов прошлого века. Одна фотография привлекла моё особенное внимание: она изображала молодую девушку с длинной толстой косой, сильно напоминавшую по типу гётевскую Гретхен. Лицо нельзя было назвать красивым, но в нём было много какого-то нежного очарования.

— Кто это? — спросил я учителя, когда он поставил на стол чай и печенья.

Я никогда не забуду эффекта, произведённого моим невинным вопросом. Браун внезапно изменился в лице, потемнел, ещё больше сморщился. Из груди его вырвался какой-то страшный звук, похожий не то на икоту, не то на сдержанное рыдание. Учитель круто отошёл от стола и неподвижно остановился у замёрзшего окна, уткнувшись в него лицом. Я не мог понять, в чём дело, но сразу почувствовал, что своим вопросом я затронул какую-то скрытую незажившую рану. Я был смущён, но не знал, как выйти из положения. Прошло несколько минут неловкого молчания. Наконец, Браун овладел собой, вернулся к столу и налил мне и себе по стакану чаю. Однако всё его недавнее оживление, вызванное Бахом, исчезло без

следа. Он был теперь мрачен, угрюм и показался мне гораздо более сутулым, чем обычно. Не говоря ни слова, мы в тяжёлом напряжении выпили чай, и я поднялся, чтобы поскорее уйти. Я хотел, однако, как-нибудь загладить свою бестактность и на прощанье сказал:

— Извините меня, пожалуйста, за необдуман-ный вопрос... Я не знал... Я не думал причинить вам неприятности...

Какая-то тень прошла по лицу учителя, и он вяло ответил:

— Нет, нет, что же?.. Я понимаю.. Не беспокойтесь... Всё проходит...

Я надел на себя шинель и собрался уходить. Но когда я уже взялся за ручку двери, учитель вдруг судорожно сорвался с своего места, подбежал ко мне и, схватив за руку, молящим голосом заговорил:

— Не уходите, ради бога! Посидите со мной!.. Я боюсь, я боюсь! Она опять придёт! Она опять будет мучить меня!..

— Кто она? — с недоумением спросил я.

— Вы знаете, кто эта женщина, о которой вы спрашивали? — глухо пробормотал учитель.

— Нет, не знаю. Кто она? — откликнулся я.

Браун передохнул, точно ему трудно было выговорить слово, которое он собирался сказать, и затем почти прошептал:

— Это моя жена...

Вдруг голос учителя сразу перешёл на крик:

— Нет, я сказал неправду! Это не моя жена!.. Это моя невеста...

Я почувствовал, что предо мной какая-то тяжёлая тайна, какая-то старая, ещё не изжитая драма, и мне стало жалко этого глубоко раненного человека. Я разделся и вернулся в комнату. В быстро надвигающихся сумерках очертания вещей и предметов стали как-то смягчаться и туманиться. Я сел на кресло в двух шагах от учителя, но в полумраке мне плохо было видно выражение его лица. Он тяжело дышал и никак не мог успокоиться.

— Вы извините меня, что я вас задерживаю, — виноватым голосом проговорил органист, — это скоро пройдёт... это скоро пройдёт!

Я стал его успокаивать, как мог. Я не просил учителя рассказать мне, что его так волнует, — мне казалось это бестактным и жестоким. Но он сам, видимо, искал случая облегчить свою душу — должно быть, он долго, очень долго молчал, — и скоро из его уст полились слова... Сначала трудно, коряво, с запинками и заминками, как телега по дороге с ухабами, а потом всё легче, всё быстрее, всё неудержимее. Хорошо, что были сумерки. В сумерки, когда не видно выражения лица, легче всего говорить на интимные, волнующие темы.

В тот вечер я услышал жуткую историю, которая могла бы показаться страницей из мрачного средневекового романа, если бы она — увы! — не являлась живой реальностью в обстановке царской России.

Мой учитель был сыном мелкого лавочника из окрестностей Риги. Отец его почитал образование, тянулся изо всех сил и дал мальчику возможность окончить немецкую гимназию в Риге. Ставши на свои ноги, Браун пошёл учительствовать. Он получил должность в школе, расположенной в одном из крупных латышских сёл, а сверх того выполнял обязанности органиста в местной церкви. Дела у него сразу пошли хорошо. Он был молод, полон надежд и энергии, будущее рисовалось ему в радужных красках. Работы было много, но он её любил и справлялся с ней хорошо. Население относилось к учителю с симпатией, а скоро в дополнение ко всему этому пришла любовь. На одной вечеринке Браун познакомился с дочкой местного начальника почты — той самой девушкой, портрет которой я видел в альбоме, — почувствовал, что сердце его забилось сильнее, и быстро убедился, что другое сердце отвечает взаимностью. Роман продолжался несколько месяцев. Взаимная страсть разгоралась всё сильнее. Наконец, назначена была свадьба — через несколько дней после большой осенней ярмарки, устраивавшейся как-раз в том селе, где работал Браун. Молодой жених находился в состоянии восторженного опьянения, приготавливая своё жилище к приёму дорогой гостьи и с нетерпением ожидал дня, когда это счастливое событие должно совершиться.

Наступила ярмарка. Со всей округи собралась масса народу. Приехала на ярмарку также сын важного немецкого барона, имевшего замок поблизости от села. Ходили слухи, что предки барона разбойничали на большой дороге и что его родной дед был пиратом на Индийском океане, но попал в руки англичан и погиб на виселице. Нынешний барон, однако, был большой человек при царском дворе и занимал разные высокие должности. Жил он большей частью в Петербурге, а находившийся на месте управляющий драл три шкуры с окрестных крестьян и грозил тюрьмой каждому недовольному. В этот год сын барона — молодой конногвардейский офицер — проводил лето в замке, пьянствуя и безобразничая с привезённой им из столицы компанией. На ярмарке вся эта компания держалась шумно и вызывающе, переворачивая телеги, сбивая с ног прохожих, нахально приставая к женщинам. На беду невеста Брауна попалась на глаза баронскому сыну. Хорошенькая девушка понравилась гвардейцу, и он бесцеремонно, на глазах всего народа, облоупил её и стал целовать.

Видевший это Браун не мог удержаться, бросился на офицера и оттолкнул его от невесты. Баронский сын пришёл в ярость и, наверное, тут же избил бы Брауна нагайкой, если бы не вмешательство окружающей толпы. Гвардеец отступил пред разъяренными лицами и возмущёнными криками, но, уезжая, крепко выругался и погрозил Брауну кулаком:

— Я тебе это припомню!

И действительно припомнил.

В назначенный день сыграли весёлую свадьбу. Было много гостей, много вина, много добрых пожеланий. Когда все разошлись и

разъехались, молодые остались одни и, полные счастья и любви, стали готовиться ко сну. Было уже за полночь. Вдруг у входа в учительский дом, помещавшийся на окраине села, раздался шум колёс и вслед за тем послышался громкий стук в дверь. Думая, что это вернулся кто-то из недавних гостей, Браун открыл дверь и сразу же был бит с ног сильным ударом кулака в голову. Четверо здоровых парней из двора барона ворвались в дом, схватили жену Брауна, заткнули ей рот, накинули на голову мешок и бросили в стоявшую у подъезда повозку. Браун пытался вырвать жену из рук насильников, но был отброшен, смят и осыпан ударами. Вслед за тем повозка с женой и её похитителями скрылась в темноте ночи. Не помня себя, не понимая толком, что он делает, Браун бросился вслед за повозкой по дороге к замку. Он бежал и кричал, призывая жену, проклиная насильников, грозя всякими карами баронскому сыну. Когда Браун оказался, наконец, пред замком, ворота его были наглухо закрыты. В окнах не видно было ни одного огня. Он стал барабачить в ворота замка, стучал, кричал, требовал, чтобы его впустили и отдали ему его жену. На все вопли Брауна мрачный замок отвечал лишь мёртвым молчанием. Наконец, ключ заскрипел в воротах замка. В душе Брауна вспыхнула невероятная, потрясающая надежда: может быть, это она, это его жена? Может быть, гвардейский офицер всё-таки опомнился? Может быть, уступая мольбам девушки, он, в конце-концов, решил отпустить её?.. Но нет, три огромных волкодава выскочили из ворот и бросились на Брауна. Он едва успел отскочить и, схватив тяжёлый сук, стал отбиваться от наседавших на него собак. Ворота вновь захлопнулись, и Брауну стало ясно, что оттуда, из замка, пощады ждать нельзя. Преследуемый волкодавами, гонимый собственным отчаянием, Браун в темноте ночи пожегал назад, в село. Он поднял с постели ничего не подозревавшего отца девушки и рассказал ему о происшедшем. Начальник почты отправил душераздирающую телеграмму в Ригу по начальству, прося помощи и защиты. Но было четыре часа утра, все власти в Риге спали; а дежурный телеграфист не решился в такую рань беспокоить высокое начальство. Он просто ответил:

— Мало ли что бывает. Разберёмся завтра.

Тем временем весть о похищении жены Брауна стала распространяться по селу. Несмотря на ранний час, к дому начальника почты стал собираться народ. Все возмущались, кричали, ругали баронского сына, но никто не решался сделать отсюда практических выводов. Напрасно Браун умолял собравшихся вместе с ним итти к замку и требовать немедленного освобождения его жены, — крестьяне переминались с ноги на ногу, чесали затылки и не двигались. А один, более откровенный, сказал:

— Н-да, поди-ка, попробуй!.. Тебе тоже шею наломают... Барон-то при государе состоит.

Часы проходили. Наступил день. Начальник почты вновь послал в Ригу отчаянную телеграмму. В ответ ему сообщили, что обе телеграммы переданы по начальству, но от началь-

ства не было ни слуху, ни духу. Брауну казалось, что он сходит с ума.

Между тем по селу пошли неизвестно откуда взвзвисящие тёмные слухи, что вныче ночью в замке произошло что-то страшное. Слухи эти росли, усиливались, пока, наконец, не пришли из замка люди и шопотом, по секрету не рассказали, что случилось: похищенная жена Брауна была передавая в руки баронского сына и его компании. Все они были вдребезги пьяны и едва ли даже ясно сознавали, что делали. Несчастная девушка была изнасилована всеми по очереди. Совершенно обезумевшая, рано утром она выбросилась из окошка замка и разбилась насмерть...

Трудно описать состояние Брауна после этой истории. Рассудок его помутился. Он пытался поджечь замок, но это ему не удалось. Он хотел повеситься, но его от этого спасли. Он заболел тяжёлой нервной горячкой и много месяцев прблежал в больнице. Он вышел оттуда разбитым человеком: весь как-то сломался, постарел, потерял почву под ногами. Он не мог больше оставаться в родных местах, где всё ему напоминало о только-что пережитой трагедии, и стал бродить по России. Был в Одессе, на Кавказе, на Волге. В конце-концов, восемь лет назад судьба закинула его в Омск.

Браун навсегда остался холостяком: самая мысль о женитьбе теперь стала для него предметом ужаса.

— А что же случилось с баронским сыном? — спросил я, когда Браун кончил свой рассказ. — Был ли он наказан?

— Наказан? — с горечью повторил мой вопрос Браун. — Разве таких людей наказывают?.. Ведь его папаша был близок к царю... Ну, на другой день после всего происшедшего приехало начальство в замок, их там хорошо угостили и напоили, а потом они составили протокол: смерть, мол, произошла от того, что девица была сильно выпивши и в состоянии опьянения, случайно оступившись, выпала в окно. Вон оно как вышло! Она же, мол, сама и виновата... Тем дело и кончилось. Н-да, недаром говорится: с сильным не борись, с богатым не судись.

Браун глубоко задумался. Я тоже молчал, потрясённый рассказом, который только-что услышал. Наступил вечер, и в комнате было совсем темно, но лампу зажигать не хотелось.

Браун, наконец, очнулся и проговорил:

— Спасибо, что вы остались. Я выговорился, мне стало легче. Обычно я не думаю об этой давней истории. Временами мне даже кажется, что я её забыл. Но потом вдруг что-нибудь напомнит мне о ней. Будто ножом по сердцу полоснёт... И тогда... И тогда ко мне приходит она... Я вижу её такой, какой она была в момент её похищения: руки связаны, лицо белое, без кровинки, а глаза смотрят на меня укоризненно, будто спрашивают: почему же ты меня не спасёшь?.. О! О!.. В такие минуты я готов повеситься...

Браун застонал и хрустнул пальцами. Я схватил его за руку и стал успокаивать. Постепенно он оправился и как будто бы при-

шёл в себя. Потом уже совсем другим — обыкновенным, повседневным — голосом он сказал:

— Совсем стемнело. Надо лампу зажечь. И вам пора идти домой, а то ваша мамаша будет беспокоиться.

5. Я НАЧИНАЮ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Целую неделю после того я ходил под впечатлением рассказа Брауна. Всё думал и передумывал, всё старался доискаться до того основного, главного, что вытекало из этого рассказа. Кровь закипала у меня, когда я вспоминал о той ужасной несправедливости, жертвой которой стал Браун, и о том, что виновник гнусного преступления остался безнаказанным. А почему? Только потому, что сам он был гвардейский офицер, что отец его был близок к царю, что оба они были представителями высшего сословия в государстве. Классовая структура царского общества впервые встала передо мной в столь обнажённой, в столь отталкивающей форме, и я невольно должен был задуматься. Я начал рыться в памяти и перебирать факты и впечатления прошлого, лежавшие там до сих пор как случайно набросанные камни. Я вспомнил фельдфебеля Степаныча и моего друга новобранца Карташёва, я вспомнил штурвального Горюнова и рассказы «дедушки-политического», я вспомнил заботость и нищету подмосковных крестьян, с которой мне приходилось сталкиваться, когда мы жили на даче в Мазилове и Кирилловке, я вспомнил полуголодное существование омских ремесленников, у которых я учился слесарному делу*,

* Все перечисленные факты и имена относятся к более ранней части моих воспоминаний, которая не помещается на этих страницах. Фельдфебель Степаныч на моих глазах преследовал и избивал новобранца Карташёва, желая получить с него три рубля, подаренные ему матерью «на чёрный день», когда он уходил в солдаты. Штурвальный Горюнов, с которым я подружился, плавая на барже, перевозившей арестантов, участвовал в «аграрных беспорядках» 80-х годов прошлого века, за что и был сослан в Сибирь. На той же барже я познакомился с группой пересыльных «политических заключённых», которые оказали на меня сильное влияние. Попал я на эту баржу так: мой отец, как «врач для командировок» при Омском военно-санитарном управлении, был в 1896 году, когда мне исполнилось двенадцать лет, направлен для сопровождения арестантской баржи, регулярно курсирующей между Тюменью и Томском, и взял меня с собой на всё лето. Вместе с семьёй наших родственников Чемодановых мы прожили два лета — в 1894 и 1898 годах — на даче в подмосковных деревнях Мазилово и Кирилловка. В возрасте двенадцати-тринадцати лет я сильно увлекался столярным и слесарным ремёслами и даже брал уроки в кустарных омских мастерских.

я вспомнил сотни других неприглядных «мелочей жизни», которые раньше как-то незаметно проходили мимо моего сознания, но которые теперь приобрели в моих глазах совсем особенное значение. Я вспомнил всё это, собрал вместе, суммировал и впервые пришёл к выводу, который в точной формулировке должен был гласить: «Долой самодержавие!» Я не хочу сказать, что у меня в тот момент нашлась именно такая точная формулировка, — конечно, нет! Я окончил гимназию, не выдав ни одной нелегальной брошюры или листовки, и лозунг «Долой самодержавие!» воспринял уже только в Петербурге после поступления в университет. Однако существо тех заключений, к которым я пришёл в результате размышлений, вызванных рассказом Брауна, было именно таково. С этого момента в моей душе загорелась та острая, жгучая ненависть к царизму, которая спустя короткое время привела меня в лагерь революции.

Итак, путеводная цель была найдена. Но каков ведущий к ней путь?

Здесь всё для меня оставалось в тумане. Зимой 1898—1899 годов мы часто спорили с Олигером по вопросу о легальных формах работы. Олигер отстаивал идею создания подпольного органа вроде «Колокола» Герцена (мы в то время в нашей омской глуши не подозревали, что подпольные органы уже существуют), я же, наоборот, находил, что передовой легальный орган вроде «Русского богатства» может приносить гораздо больше пользы. Вообще в то время я доказывал, что сейчас в России важнее всего просвещение народа и что только просвещение может подготовить широкие массы к восприятию «идей равенства и свободы». Отсюда я делал вывод, что «мирный путь прогресса» прочнее и успешнее, чем революционные катаклизмы. Мы много беседовали на ту же тему с Пичужкой, причём моя кузина оказывалась ещё более прямолинейной сторонницей «культурничества», чем я. Отчасти под её влиянием я любил в то время провозглашать:

— Культура и только культура приведёт человечество к счастью!

Но теперь у меня появились сильные сомнения в правильности этой «культурнической» концепции, и как-раз около того времени я с некоторой издёвкой писал Пичужке, что она собирается «малыми делами приносить великую пользу». Мои сомнения ещё больше возросли, когда осенью 1900 года в Омске вдруг опять внезапно появился Олигер.

За год нашей разлуки с моим другом произошло много интересного. Саратов, где после ухода из нашей гимназии он поступил в химико-техническое училище, не в пример Омску, был в то время уже крупным революционным центром. Здесь имелись уже социал-демократические группы, организации учащихся, кружки на заводах, нелегальная литература, прокламации. Олигер очень быстро ориентировался в этом подпольном мире и стал играть довольно крупную роль в организации молодёжи. Учился он мало и плохо, но зато охотно брался за различные рискованные поручения. В конце-

концов Олигер «провалился» и вынужден был бежать от ареста. С большим трудом и разными приключениями он нелегально перешёл границу и очутился в Кракове, находившемся тогда в Австро-Венгрии. Здесь он побоялся месяца два, проел все имевшиеся у него деньги, пытался, но не сумел как-нибудь устроиться и в конце-концов решил «пробраться до дому». Олигер вновь нелегально перешёл границу, но уже в обратном направлении, и затем, далеко объезжая Саратов, сторожась по дороге от жандармов, прибыл потихоньку в свою отчину — в Омск.

Мы встретились, как старые друзья, и наши отношения стали крепнуть с каждым днём. Планы Олигера вначале были самые неопределённые и подчас фантастические. То он собирался стать актёром, то хотел идти в моряки, многозначительно подчёркивая, что дядя его пятнадцатилетним мальчиком бежал на корабль и после того проплавал всю жизнь. В конце-концов Олигер решил готовиться на аттестат зрелости и держать экзамен экстерном вместе со всеми нами весной 1901 года. Я стал помогать ему в подготовке. В конечном счёте и из этого проекта ничего не вышло, и Олигер так и вышел в жизнь гимназическим «недоучкой», что, впрочем, нисколько не помешало его дальнейшей карьере.

Мы виделись с Олигером почти ежедневно. Нам никогда не было скучно, и мы всегда находили темы для самых оживлённых разговоров, засиживаясь друг у друга до глубокой ночи. Особенно я любил бывать у Олигера в его маленькой, убого обставленной комнатке. Обычно он ложился на кровать, я ложился на стоявший поблизости старый продавленный диван, и мы начинали разговаривать или, вернее, «мыслить вслух». С невероятной лёгкостью мы облетали воображением весь мир, касались самых разнообразных проблем, обменивались мнениями и спорили по самым сложным и запутанным вопросам. Часто один начинал высказывать какую-либо мысль, другой на лету её перехватывал и развивал дальше, потом первый вновь вступал в игру, вносил поправки и дополнения, потом мы оба лихорадочно неслись вперёд в своих выкладках и построениях, потом мы вдруг обнаруживали, что зашли в тупик и со смехом бросали в мусорный ящик заинтересовавшую нас идею. Всё это было очень весело и занятно, и в процессе такой умственной гимнастики наши диалектические способности, несомненно, развивались. Мы постоянно делились с Олигером мыслями и чувствами, мечтали о своём будущем (которое, конечно, должно было принести нам славу и успехи!), говорили о человечестве, о его прогрессе, о завоеваниях науки, о достижениях литературы и искусства.

Чаще всего и серьёзнее всего мы говорили, однако, о том, что нас тогда больше всего занимало, — как, каким путём можно было бы покончить с самодержавием? Несмотря на то, что Олигер уже несколько потёрся в революционных кругах и даже побывал «в эмиграции», ясного ответа на этот вопрос у него не было. В голове у Олигера стояла почти такая

же путаница, как и у меня, дополнительно ещё одобренная горячим воображением и пылкостью темперамента. То он мечтал об убийстве царя и его министров, то он предрекал массовое крестьянское восстание, которое должно всё снести с лица земли, то ему рисовался великий учёный, который делает изумительное, небывалое открытие, благодаря ему приобретает власть над миром и грозно заявляет всем нынешним владыкам:

— Уходите или я вас уничтожу!

Всё это казалось мне мало убедительным и вероятным, и я ему постоянно говорил:

— То да не то!

На что Олигер отвечал своим любимым изречением:

— Полюби нас чёрненькими, а беленькими-то нас всякий полюбит.

Постепенно, из споров, бесед, обмена мнений у нас стала вырисовываться известная концепция. Она сложилась в результате многих влияний, но главными из них были: бунтарство Стеньки Разина, культ «героев», пропагандировавшийся народническим идеологом Н. К. Михайловским, и аристократическое презрение к «толпе», столь ярко выраженное у Байрона. Выводы, к которым мы пришли, были мрачны и фантастичны.

— Мир должен быть очищен огнём! — со свойственной ему горячностью восклицал Олигер.

— От старой жизни не должно остаться камня на камне! — вторил ему я.

И затем мы оба начинали усердно рыться в истории, выискивая великих «героев», в своё время пронёсшихся грозой над миром. Атилла, Чингис-Хан, Тамерлан, Наполеон вдохновляли наше воображение.

— Мне страшно импонирует Наполеон, — как-то сказал я Олигеру. — Это колоссальная фигура! Он действовал кроваво, но зато до самой глубины всколыхнул стоячее болото европейской жизни начала девятнадцатого века...

И в дополнение я с чувством продекламировал «Воздушный корабль» Лермонтова и «Два гренадера» Гейне. Оба эти стихотворения в то время производили на меня сильнейшее впечатление.

Однажды, в начале 1901 года, я пришёл к Олигеру и, вытащив из кармана несколько мелко исписанных листочков, повелительно сказал:

— Слушай!

И затем с некоторым волнением я прочитал ему написанное мной накануне стихотворение в прозе под заглавием: «Я хочу быть великой грозой». Здесь была ярко изложена вся наша тогдашняя философия. Начиналась моя фантазия с того, что «великий дух предстал предо мною» и, как водится в подобных случаях, весьма кстати спросил меня, чего я желаю. Желаю ли я стать великим поэтом, или великим мудрецом, или великим музыкантом, скульптором, художником? Дух обещал исполнить всякое моё желание. Но я отвечал:

— Я не хочу быть ни певцом, ни мудрецом, ни художником, ни скульптором, ни ваяте-

лем, я хочу быть великой грозой старого испорченного мира! Я хочу быть мстителем за кровь, за слёзы, за боль и обиды тысяч поколений, я хочу быть грозным вождём всех униженных и оскорблённых земли! Я не хочу любви, я хочу ненависти!

«Великий дух» омрачился, услышав моё желание, и обратился ко мне с просьбой подумать хорошенько, прежде чем решать окончательно. Но так как я настаивал на своём желании, то «великий дух» в конце-концов сказал:

— Хорошо, я исполню твою волю.

И вот я стал «великой грозой». Толпы народа теснились вокруг меня, знамена развевались в воздухе, мечи сверкали, города горели, поля опустошались, кровь лилась бесконечным потоком, и глубокая ночь освещалась заревом старого мира, Бурным, всеуничтожающим потоком прошли мы шар земной от края до края и смели с лица земли грандиозное здание старой, живой и затхлой жизни. А миллионные толпы оглушительно кричали:

— Слава нашему великому! Слава ему во веки!

Но когда гроза, наконец, прорчалась и «настало время творить и созидать», люди приступили ко мне и стали спрашивать:

— Скажи нам, что же нам теперь делать?

Но в ответ я молчал. Ибо я был грозой, а не миром. Я умел разрушать, но не умел строить. Тогда толпа пришла в ярость, забунтовалась против меня и стала кричать:

— Зачем ты увлёк нас за собой, проклятый безумец?

Я был низвергнут с высоты в бездну. Великий подъём сменился великим разочарованием.

«И вдруг вся жизнь человечества со всеми её печальми и радостями, тревогами и волнениями показала мне такой грустной, безотрад-но грустной и жалкой и смещной историей...»

Олигеру моя фантазия страшно понравилась. Он находил её не только хорошо написанной, но и очень «глубокой» по содержанию.

— Знаешь что? — вдруг воскликнул он с энтузиазмом. — Почему бы тебе не напечатать своё произведение в газете? Ну, например, в «Сибирской жизни»?

«Сибирская жизнь» была крупная по тому времени томская газета, к которой все мы относились с почтением. Это было не то, что наш омский «Степной край». То обстоятельство, что Олигер упомянул в данной связи именно о «Сибирской жизни», сильно льстило моему самолюбию. Тем не менее я не чувствовал полного внутреннего удовлетворения. Хотя моё стихотворение в прозе нравилось мне как литературное произведение, оно лишь в особо яркой форме подчёркивало незааконченность всей нашей концепции, зияющую пустоту в столь увлекавших нас тогда построениях. Прекрасно: мы приводим в движение миллионные толпы угнетённых и обиженных, мы пронесимся грозой над миром и разрушаем до основания старую мерзкую жизнь, а дальше что? На этот основной вопрос у меня не было ответа,

и отсутствие его меня беспокоило и раздражало.

Тем не менее совет Олигера пришёлся, как говорится, кстати. Я снёс своё произведение омскому представителю «Сибирской жизни» — старому народнику Шахову — и с трепетом стал ждать результатов. Каковы же были мои восторг и упоение, когда недели две спустя я увидел свою фантазию напечатанной в «Сибирской жизни»! Она занимала две трети подвала на второй странице газеты, и заголовок её был выведен такой красивой, тонкой, поэтической вязью...

Это было настоящее торжество. К тому же я получил гонорар, первый в моей жизни литературный гонорар — 6 рублей 69 копеек! Я повёл Олигера и ещё целую компанию моих друзей в гостиницу «Европа» (хотя это строго запрещалось гимназическими правилами), и мы там устроили настоящий «пир». Все поздравляли меня с успехом и предрекали мне большую литературную карьеру.

6. СТУДЕНТЫ

Со времени демонстрации 8 февраля 1899 года в Омске появилась совсем новая и необычная категория населения — «высланные студенты»; Студенческое движение в столицах и в провинции в то время быстро крепло и росло. То-и-дело в университетских городах происходили студенческие сходки, студенческие забастовки, студенческие демонстрации. Требования академические всё чаще дополнялись требованиями политического характера. Царское правительство отвечало на «студенческие беспорядки» массовыми репрессиями. «Вожаков» арестовывали и высылали в административном порядке в отдалённые места Российской империи, то-есть на север Европейской России и в Сибирь. Более рядовых участников отправляли под надзор полиции «в место жительства родителей». Так как в связи с «беспорядками» высшие учебные заведения часто закрывались на длительный срок, то множество студентов, получив неожиданные «каникулы», разъезжалось просто по домам. В результате в нашем захолустном Омске (ведь это был сибирский город!) создалась и систематически поддерживалась сравнительно многочисленная «студенческая колония», состоявшая из студентов всех трёх категорий. Само собой разумеется, она внесла в омскую «общественную жизнь» заметное оживление и стала притягательным центром для всех радикально настроенных гимназистов и гимназисток.

Ближе всего я сошёлся с «студенческим семейством» Королёвых. Состояло оно из трёх человек — старшего брата Сергея, его взрослой сестры Наташи и девочки-подростка Мани, которую все почему-то называли «Парочка». По происхождению Королёвы были омичи. Отец их умер очень давно, Мать в последние годы сильно страдала от рака желудка и в начале 1901 года вызвала старших детей, учившихся в Петербурге, домой, чувствуя приближение конца. Действительно, вскоре после их

приезда старухи Королёвой не стало. Сергей и Наташа собирались было затем вернуться к учёбу, но как-раз в это время в Петербурге произошли новые «студенческие беспорядки», в результате которых оказались закрытыми все высшие учебные заведения столицы. Королёвы застряли, таким образом, в Омске в ожидании лучших времён. Жили они в большом деревянном доме, покосившемся и почерневшем от времени и находившемся на окраине города, и гадали, что им с ним делать: дом остался им в наследство от родителей и требовал капитального ремонта. Денег же у молодых хозяев для этого не было. Сергей и Наташа не раз в моём присутствии обсуждали различные проекты (в том числе самые фантастические) «санирования» дома, но дело вперёд не двигалось, и с каждым новым посещением моих друзей я невольно замечал, как ступеньки их крыльца всё больше ветшают и расшатываются.

Глава семьи Сергей был приятный шатен лет двадцати пяти с типично русским интеллигентским лицом. Он был на четвёртом курсе историко-филологического факультета. Сверх того, «для хлеба» он работал в качестве корректора в известном в то время петербургском издательстве Маркса, выпускавшем, между прочим, знаменитый еженедельник «Нива». При первом знакомстве Сергей произвёл на меня чарующее впечатление — своей внешностью, своей живостью, своим юношески-радикальным задором, своими как будто бы обширными и разносторонними познаниями. А тот факт, что в качестве корректора он «был близок к литературе», сразу подымал Сергея в моём сознании на целую голову выше всех остальных смертных. Однако скоро у меня началось разочарование. Чем ближе становилось наше знакомство, тем больше я убеждался, что Сергей, в сущности, ничего толком не знает, что в своих мыслях и суждениях он плывёт по поверхности, что на словах он может всё решить и весь мир перековать, на деле же он пьётся назад пред самым маленьким препятствием. С горечью я говорил как-то Олигеру:

— Я думал, что Сергей сильный и твёрдый человек, а на деле — предо мной самый настоящий современный Рудин. Человек-нуль, пред которым должна стоять единица.

Сестра Сергея Наташа была человеком иного склада. Ей было года двадцать два, она училась на Высших курсах в Петербурге и несколько любила щеголять своей современностью и своими связями с «незаконной». Наташа не была красива, но она производила очень приятное впечатление, и в характере её было что-то «материнское». Она обо всех заботилась, всем готова была помочь, и только благодаря ей довольно беспорядочное хозяйство этого «студенческого семейства» кое-как сводило концы с концами. В противоположность брату Наташа была глубокая натура, если что знала, то знала хорошо, и сильно тяготела к марксистским взглядам, хотя и не состояла активным членом тогдашних социал-демократических организаций. Впрочем, услуги им постоянно ока-

зывала. Сергей же от марксизма был далёк и дальше чисто студенческого движения не шёл.

Третий член этого холостого «семейства» — Парочка — была в то время гимназисткой пятого класса, бегала с тоненькой косичкой, похой на мышиный хвост, и состояла у Сергея и Наташи на посылах: ставила самовар, колола дрова, таскала колбасу из лавочки.

Королёвы сдавали часть своего дома пожилой болезненной даме Санниковой, которая жила с своей дочерью Татьяной, милостивой блондинкой лет двадцати. Я встретился с Татьяной минувшим летом в поезде по пути от Омска до Москвы и теперь возобновил с ней знакомство. Санниковы и Королёвы жили дружно и составляли как бы одну общую семейную коммуны. В этой коммуны всегда было весело и шумно, здесь всегда можно было встретить много задорной молодёжи, в особенности же много «высланных студентов». Дверь дома Королёвых то и дело хлопала. На столе постоянно шумел самовар. Около стола шли горячие споры, слышался смех, раздавалось пение. Пели песни русские, народные, пели песни революционные — «Марсельезу», «Красное знамя», «Смело, товарищи, в ногу!» Здесь узнавались все городские новости и здесь же обсуждались все текущие события русской и международной жизни.

Мне нравилось бывать у Королёвых, и очень скоро я стал завсегдатаем их дома. До того я жил несколько изолированно, в одиночку, общаясь лишь с отдельными сверстниками — с Пичужкой, с Олигером, с Михаилом Марковичем, да и то не одновременно. В каждый данный момент у меня бывал обычно только один друг. Своей «компанией» у меня никогда не было. Это имело свои плюсы и свои минусы. Но сейчас я вдруг почувствовал, что мне страшно надоела моя отшельническая келья и что мне страшно хочется людей, шума, суеты, веселья. Всего этого у Королёвых было более чем достаточно. И я переживал какое-то до тех пор не испытанное мной блаженство. Я познакомил Олигера с моими новыми друзьями, и он тоже стал бывать у них. Вскоре у Олигера появилась совсем особая причина для частого посещения дома Королёвых: у него завязался роман с Татьяной Санниковой, который развивался гадопом и в дальнейшем имел самые серьёзные последствия. Я пробовал ввести в дом Королёвых и другого моего друга — Марковича, но из моей попытки ничего не вышло: Маркович в это время переживал тоже «роман» с одной гимназисткой, и предмет его воздыханий был связан с совсем другой компанией. Моё семнадцатилетнее сердце было тогда ещё совершенно свободно, и я не упускал случая подтрунить над моими влюблёнными товарищами. Когда однажды Маркович, просидев у Королёвых точно на иголках четверть часа, встал и начал прощаться, ссылаясь на необходимость поскорее вернуться домой к больной матери, я громким голосом во всеулышание воскликнул:

— Слушайте! Слушайте! Экспромт:

Ах, погиб толстоцев милый!

Вот судьбина злая:

Мрак очей его унылый

Приковала тайной силой

Лента голубая!

Раздался смех, послышались аплодисменты. Маркович, бывший полутолстоцев, покраснел, как рак, бросил на меня уничтожающий взгляд и быстро вышел. Он долго потом не мог мне забыть этой шутки.

Приятнее всего у Королёвых бывало за вечерним чаем. Я как сейчас вспоминаю эту картину. Парочка только-что поставила на стол кипящий самовар. На тарелках разложены хлеб, колбаса, масло, сыр, какие-либо домашние соленья и печенья. Под лампой-молнией, висящей с потолка, собрались человек семь-восемь. Наташа разливает чай, Сергей сидит на «председательском месте» и, задорно потряхивая своими кудрями, заводит разговор... О чём?.. О самых разнообразных предметах. Об англо-бурской войне, о назначении нового министра народного просвещения, о студенческой забастовке в Казани, о новом молодом писателе, выступающем под оригинальным псевдонимом Максим Горький.

Как-раз около того времени был только-что опубликован «Фома Гордеев». Мы читали за столом у Королёвых отрывки из этого романа, обсуждали его, горячо спорили.

— Не нравится мне «Гордеев», — подводил окончательный итог, заявил Сергей. — О, конечно, сильно написан! Этого отрицать нельзя... Но, как хотите, предпочитаю Чехова. То ли дело «Три сестры»! Вот это — да! Настоящая литература — от Тургенева и Достоевского.

Несмотря на свои двадцать пять лет, Сергей уже имел «изломанную душу», и в литературе его всегда влекло ко всему, что отдавало болезненностью, гнилью, безысходностью. Наташа осторожно возражала брату. Баранов — смышленый московский студент, часто бывавший у Королёвых и рядившийся под современного Печорина, — решил притти на выручку Сергею. Он стал доказывать, что жизнь есть душевный склеп, что в ней нет и не может быть радости, что люди по самой природе своей являются порождением схида и что все великие умы были пессимистами. В заключение Баранов торжественно провозгласил:

— Гениальный философ Шопенгауэр сказал: чем больше я узнаю людей, тем больше начинаю любить собак. Вот она истина!

Тут Баранов многозначительно поднял указательный палец к потолку. Меня это страшно взорвало.

— Вы рассуждаете, как могильщики, — сразу загорячился я. — Конечно, в жизни много зла, но с ним надо бороться. Что делают «три сестры»? Они всё время мечтают о Москве, но у них нехватает энергии даже на то, чтобы купить себе железнодорожный билет до Москвы. Гнилые люди. И Достоевский — гнилой писа-

тель. Великий талант, но болезненный и гнилой. Не люблю его! Прочтёшь его роман, и на белый свет смотреть тошно. А Горький мне нравится. Молодой, буйный, неудержимый. Прочитаешь его — и драться хочется. Так и следует.

— Вам бы только драться! — недовольно отозвался Сергей. — В жизни есть большие ценности — культура, наука, искусство, литература... А вы о драке!

— А как же иначе? — волновался я. — В жизни большая теснота. Если куда-либо стремишься, если хочешь что-нибудь сделать, непременно наступишь кому-нибудь на ногу... Что же, по-вашему, из боязни наступить не надо ничего делать?

Тут вмешалась Наташа и примирительно заметила:

— Мне нравится «Фома Гордеев», но я с удовольствием читаю и «Три сестры». Разве нельзя сочетать и то и другое?

— Нет, нельзя! — отрезал я, как ножом. — Помните, что говорится в «Апокалипсисе»? Так как ты не холоден и не горяч, а только тёпел, то не будет тебе спасенья. Хорошие слова.

— Ах, вы, Ванечка-Петушок, — ласково, как старшая сестра, воскликнула Наташа и затем ловко перевела разговор на другую тему.

Эта кличка «Ванечка-Петушок» с лёгкой руки Наташи так плотно прилипла ко мне, что потом в нашем кружке меня иначе не звали.

В доме Королёвых часто бывали две гимназистки последнего класса — Муся Лещинская и Тася Метелина. Муся была высокая смуглая полька с красивой фигурой и прекрасным голосом. Она мало читала и вообще не относилась к категории «развитых», но зато хорошо пела и хорошо играла на рояли. Тася, наоборот, была маленькая, несколько пухлая сибирячка, которая глотала книги, как конфетки, и глубоко болела разными философскими проблемами. Она любила разговаривать о смысле жизни, о праве на счастье, о моральных ценностях и тому подобных высоких материях. Когда мы встречались за вечерним чаем у Королёвых, Тася непременно поднимала какой-нибудь серьёзный вопрос и всегда просила моего разъяснения, ибо почему-то питала ко мне большое доверие. Помню, однажды Тася заговорила о том, что личное счастье и общественная польза несовместимы. Она поэтому утверждала, что личное счастье безнравственно и что от него надо отказаться вообще, раз и навсегда. Сергей и присутствовавший при разговоре Баранов решительно возражали. Они даже делали особое ударение на личном счастье и апеллировали при этом к «естественным правам личности».

— А каково ваше мнение, Ваня? — обратилась Тася ко мне.

— Каково моё мнение? — переспросил я.

И затем, скользнув лукавым взглядом по Тасе, я продекламировал:

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht,
Und küsse die Marketenderin!

Das ist die ganze Wissenschaft,
Das ist der Bücher tiefster Sinn.

Trommle die Leute aus dem Schlaf,
Trommle Reveille mit Jugendkraft,
Marschiere trommelnd immer voran,
Das ist die ganze Wissenschaft.

Das ist die Hegelsche Philosophie,
Das ist der Bücher tiefster Sinn!
Ich hab' sie begriffen, weil ich gescheit,
Weil ich ein guter Tambour bin.*.

— Вот что я думаю по этому поводу! — прибавил я и тут же продекламировал русский перевод этого знаменитого гейневского стихотворения.

Тася, однако, не была удовлетворена.

— Ну, а если вам всё-таки пришлось бы выбирать между личным счастьем и общественной пользой, что вы выбрали бы?

Я на мгновение задумался, желая быть искренним с самим собой, и затем твёрдо ответил:

— В таком случае я выбрал бы общественную пользу.

— Ну, вот видите, вы со мной! Вы со мной, а не с этими эпикурейцами, — удовлетворённо воскликнула Тася, делая презрительный жест в сторону Сергея и Баранова.

Как-то раз, придя вечером к Королёвым, я застал Сергея в состоянии большой ажитации. Он был чуть-чуть выпивши, ходил энергичными шагами по комнате, ерошил свои пышные кудри и громко напевал:

Мёртвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!

Кругом сидели, пили чай, курили, читали, разговаривали и вообще занимались самыми разнообразными делами члены домашней коммуны и ещё человек шесть-семь гостей, в том числе Олигер, Баранов, Муся, Тася и один весёлый томский студент по прозвищу «Пальчик». Вдруг Сергей внезапно остановился и воскликнул:

— Все мы закисло! Давайте как-нибудь встряхнёмся! Да так, чтоб не обычно было! Чтоб табаком в нос!

И затем Сергей вдруг неожиданно хлопнул себя рукой по лбу, точно его внезапно что-то осенило:

* Вот что это означает в переводе Вейберга:

Стучи в барабан и не бойся,
Целуй маркитантку под стук, —
Вся мудрость житейская в этом,
Весь смысл глубочайших наук!
Буди барабаном уснувших,
Тревогу без-устали бей,
Вперёд и вперёд подвигайся, —
В том тайна премудрости всей,
И Гегель, и книжная мудрость —
Всё в этой доктрине одной!
Я понял её, потому что
Я сам барабанщик лихой!

— Как же я это раньше не догадался? По-едемте в Захламино!

Захламино была подгородная деревня, верстах в восьми от Омска, куда подвыпившие купчики любили ездить на тройках для окончания кутежа и где они «гуляли» с местными красавицами. Репутация у Захламино была «сомнительная», и предложение Сергея в первый момент было встречено недоуменным молчанием. Но это продолжалось только мгновение. Потом весёлый Пальчик закричал:

— Поедем! Поедем!

Его поддержали Баранов и Олигер. Тася и Муся с загоревшимися глазами также дали согласие. Остальным было уже неловко возражать. Я охотно присоединился к инициаторам, ибо давно слышал о Захламине и был доволен случаем посмотреть на неё поближе. Сказано — сделано. Парочку тут же отправили к «извозчикам», и полчаса спустя вся наша компания, за исключением Парочки, оставленной дома за малолетством, уже рассаживалась в большой, широкой «кошеше», украшенной коврами и меховым одеялом.

Была морозная мартовская ночь. На небе сияла полная луна, заливавшая своим волшебноголубым светом занесённые снегом поля и опущённые серебром деревья загорной рощи. Воздух был чист и прозрачен. Подковы лошадей звенели, ударяясь о сбитый снег укатанной дороги. Под полозьями раздавался сухой, бодрящий хруст. Изо рта лошадей вырывались белые клубы пара. Привычный к своему делу кучер ловко подёргивал вожжами с бубенцами, и свежий морозный воздух, слегка щипавший нам щёки на ходу, дрожал красивым, мелодичным звоном. Я сидел рядом с Мусей, и в её чёрных глазах бежали искры лунного света. На душе было как-то весело, бодро, молодо, подъёмно. Хотелось ехать так без конца...

Кучер, который знал всех захламинских «хозяев» наперечёт, подвёз нас к большой деревенской избе на два фасада и громко постучал в ворота. Вышедший на стук «хозяин» — вертлявый одноглазый мужик без бороды, но с длинными казацкими усами — был несколько смущён и разочарован, увидав студенческие фуражки и гимназические шинели, да ещё в сопровождении молодых девушек. Он привык видеть у себя публику совсем иного сорта. Тем не менее одноглазое лихо провело нас в горницу, вдуло огоньку и спросило:

— Что прикажете?

Наташа, привыкшая к хозяйничанью, сразу же ответила:

— Самовар и хлеб с маслом... Да ещё молока и, если есть, мяса какого-нибудь.

«Хозяин» смерил Наташу презрительным взглядом, но сквозь зубы пустил:

— Слушаюсь.

И затем, оглянувшись на Сергея, продолжал:

— Водочки? Пивца? Сколько прикажете?

Сергей с видом человека, привыкшего к пьянству и кутежам, быстро оглядел нашу компанию и небрежно бросил:

— Дайте бутылку водки.

— Одну-с? — с изумлением, почти с ужасом спросил «хозяин».

Сергей смутился и хотел что-то прибавить, но Наташа поспешила его прервать:

— Да и одной-то много! У нас пьющих мало. Хватит полбутылки!

Королёв, однако, был раздражён этим вмешательством сестры и стремительно реагировал:

— Нет, целую бутылку да пивца полдюжины!

И чтобы не дать возможности Наташе ещё что-нибудь сделать, Сергей, круто повернув «хозяина» за плечи, поскорее выпроводил его из горницы.

Когда большой деревянный стол, стоявший в углу под иконами, покрылся разными яствами и снедью, Наташа по привычке села у самовара и спросила:

— Кому наливать чаю?

— Мне, — откликнулся я.

— Брось, как не стыдно? — вдруг взорвался в наш разговор Сергей. — Ванечка, выпей с нами по рюмашечке!

— Не выпью! — твёрдо отрезал я.

— Как не выпьешь? — продолжал уговаривать Сергей. — К чорту бабье пошло!

И он размашисто отодвинул стакан чаю, который тем временем налила мне Наташа. Меня разозлило это самоуправство, и я с некоторой рисовкой ехидно ответил, придвигая к себе опять стакан чаю:

— Алкоголь внешний нужен тем, у кого нет алкоголя внутреннего. А с меня алкоголя внутреннего хватает.

— Ты не остроумничай, а пей, — вмешался Олигер, державший в руках рюмку водки, — все должны быть веселы!

— Успокойся, я и без вашей водки буду весел, может быть, веселее вас всех, — откликнулся я.

— Докажи! — вызывающе бросил Олигер.

— И докажу! — в том же тоне отпарировал я.

В меня сразу вселился бес. Я насмешливо оглянул всю сидевшую за столом компанию и, остановившись на нежно сидевших рядом Олигере с Тасей, сказал:

— Дорогие девочки и дорогие мальчики! Позвольте повеселить вас трезвому алкоголику...

— Что это вы за чушь городите, Ваня? — с возмущением воскликнула благоразумная Тася. — Разве алкоголь может быть трезвым?

Я приподнялся и, сделав насмешливый реверанс по адресу Таси, продолжал:

— Представьте, Тася, что в богатой коллекции человеческой фауны имеется и такая разновидность. Если вы её до сих пор не встречали, так посмотрите на меня... Да-с, так позвольте вас позабавить! Шутка № 1. Николай, дай твою руку!

Я взял ладонь Олигера, как это делают хищники, и, посмотрев на её линии, сказал:

— Боги велели тебе сказать: «Никогда не закладывай своё сердце женщине безвозвратно, — не то погибнешь».

Тася страшно покраснела и с раздражением ответила:

— Коля не нуждается в ваших советах!

Олигер неловко ёрзал на месте, но старался делать вид, что ему страшно весело.

— Шутка № 2, — продолжал я, переводя взгляд на Баранова, который, как всем нам было известно, безуспешно старался завоевать сердце Муси. — Великий Гейне прислал мне для вас специальное послание, которое я позволил себе перевести на русский язык в следующих выражениях:

Когда тебя женщина бросит, — не плачь!
В другую влюбись поскорее!
Но лучше котомку на плечи возьми
И в путь отправляйся смелее!

Лазурное озеро в тёмном лесу
Тебе повстречается вскорее,
Там выплачешь ты все страданья свои
И всё своё мелкое горе.

Когда подойдёшь ты к высоким горам,
Смелее взбирайся на кручи!
Вверху над тобою там будут орлы,
Внизу же угрюмые тучи.

Ты вновь возродишься, могуч, как орёл,
Смирится на сердце тревога,
И гордо почувствуешь, как ты велик
И как потерял ты немного.

— Какой вы злой! — пробормотала смутившаяся Муся, но в глазах её сверкнула лукавая искра.

Вмешалась Наташа и, слегка дёрнув меня за рукав, прошептала:

— Бросьте, Ваня, зачем портить нашу вечеринку?

Потом, приняв весёлый вид, она громко сказала:

— Хватит поэзии, давайте споём! Муся, голубчик, спой нам что-нибудь!

Муся, как это всегда бывает с певицами, стала отнекиваться и говорить, что она сегодня не в голосе, но в конце-концов уступила общим настояниям. Она села посредине горницы на табуретку, положила ногу на ногу и, охватив колени руками, красивым сопрано запела:

Однозвучно звенит колокольчик,
И дорога пылится слегка,
И далеко по чистому полю
Разливается песнь ямщика.

Муся пела очень хорошо, с большим чувством, покачиваясь всем корпусом в такт звукам и устремив вдаль печально затуманенные гла-

за. Мы все ей подтягивали. Когда песня кончилась, раздались аплодисменты. Хлопали не только мы, — у входа в горницу хлопали также «хозяин» и выглядывавшие из-за его плеча парень и молодая девушка, оказавшиеся его детьми. Муся вдруг соскочила с табуретки, стукнула каблуками о пол и, подняв вверх одну руку, запела «Калинку». Переход от грусти к веселью был так резок и неожидан, что в первый момент мы все как-то оторопели. Но это быстро прошло. Муся приплясывала и пела, а вся наша компания, «хозяин», его дети залихватно подпевали:

Ах, калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода малинка, малинка моя!

Потом пошли танцевать. Сдвинули в сторону стол, табуретки, лавки, и на образовавшемся небольшом пространстве затопали ноги. Освоившиеся с нами хозяева вошли в горницу и присоединились к общему веселью. Танцевали вальс, мазурку, падеспань. Сергей с дочкой «хозяина» задорно сплясал русскую. Было шумно, жарко, весело, угарно. Хотелось пить. «Хозяин» принёс вторую бутылку водки, около которой возлились Королёв, Баранов и Пальчик. Олигер с Тасей сидели в уголку и нежно о чём-то ворковали. Совсем подвыпивший Сергей вздумал вдруг объясняться в любви Мусе, — девушка то краснела, то бледнела, не зная, что делать. Весёлый Пальчик подсел к Тасе и стал рассказывать ей о своей жизни в Томске. Мы с Натасей сидели у самовара и, хотя за весь вечер я не выпил ни капли алкоголя, общая атмосфера как-то пьянила меня, и мой разговор с Натасей был полон особой, совсем необычной задушевности.

Возвращались домой мы глубокой ночью. Луна уже склонялась к горизонту, и от деревьев по снегу побежали длинные причудливые тени. Стало ещё холоднее, на усах и бровях появились белые колючие пушинки. Все устали от водки, от пляски, от только что пережитых впечатлений. Говорили мало и лениво. Олигер слегка клевал носом, прижавшись к Тасе. Больше всех подвыпивший Королёв громко похрапывал, склонившись головой на грудь к Пальчику. Кучер залиvisto посвистывал и щёлкал жнутым. Лошади быстро неслись, и бубенцы мелодично разливались малиновой трелью. Я сидел, забившись в угол кошевы, и думал. Думал о том, что жизнь широка и в ней есть много прекрасного, что дружба, любовь, поэзия очень украшают жизнь, что, пожалуй, напрасно я так долго замыкался в своих исканиях и по-спартански сторонился от прелестей жизни, которыми так широко пользуются другие...

(Окончание следует.)

ПИСАТЕЛИ — ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ 1943 года



А. Н. Толстой



А. Е. Корнейчук



Л. М. Леонов



М. Ф. Рыльский



А. С. Серафимович



В. Л. Василевская



В. В. Вересаев



П. П. Бажов



Л. С. Соколов



К. М. Симонов



М. И. Алигер



М. В. Исаковский

КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

★

Моё детство прошло на степном хуторе «Сосновка» Самарской губернии. Я вспоминаю зимние вечера с такой тишиной, какой не знают городским людям. Лишь ветер завоет в печи, либо волк подвывает из сада. За круглым столом, над которым висит лампа, сидят трое: я, моя мать — детская писательница — и мой отчим — член земской управы. Он считал себя наследником шестидесятиков. Был человеком не слишком умным, настроенным оппозиционно и весьма рационалистически. Обычно он читал вслух Тургенева, Толстого, Некрасова. Эти книги перечитывались каждую зиму, не потому, что их забывали, а потому, что это был мир людей, с которыми было приятно снова общаться.

Для меня — мальчика — фантазия и действительность мало чем разделялись. Персонажи романов и поэм были действительно знакомыми людьми и очень дорогими. Не могу припомнить, кроме сказок Андерсена, ни одной детской книжки, должно быть, их у меня было мало. Сказки Кота-Мурлыки я не любил, в них была болезненность, какая-то безнадежность, которую никак не желал воспринимать мой здоровый детский оптимизм. Когда попадалась новая книжка, я сначала смотрел, как она кончается. Если печально, — мне её не хотелось читать, потому что всё уже было ни к чему.

Любимым писателем был Гоголь. Его страсти не отпугивали меня. С ними примирялась душа ребёнка. Его пышная романтика, его бесмертный юмор, его персонажи, написанные гением художника для вечности, дивная поэзия Украины — это был мир, куда снова и снова с упоением возвращалась душа ребёнка. Я любил Жуковского, но не всего. Теперь-то я понимаю, что не нравилось мне в нём всё, что было от немецкой романтики. Я очень любил былины и, конечно, одно время играл в богатырей. Я помню, мама привезла мне из города три тома Алексея Константиновича Толстого. Его стихи были первой поэзией, воспринятой мною. Странно — не Пушкина, а именно Алексей Толстой с его

нехитрым освещением природы и оперно одетыми богатырями. Пушкин у нас не был в фаворе, как и повсюду в те восьмидесятые, девяностые годы. Это, ведь, мы теперь во всю силу поняли его величие. Это над нами горит его бессмертная звезда. У мамы и отчима любимой книгой был Некрасов. Они плакали над «Русскими женщинами» и не могли начитаться поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Некрасов, а не Пушкин был желанным собеседником в занесённой снегами Сосновке.

Событием для меня была книга «Серебряные коньки». Немного позднее я стал читать «Войну и мир», Аксакова, Лермонтова и снова и снова Гоголя.

Ребёнок воспринимает искусство непосредственно, наощупь, как воздух, как воду, — это слишком холодно, или слишком обжигающе. У ребёнка здоровое восприятие искусства. Порою он лучше родителей разбирается, что ему нужно, а что не нужно читать. Иное дело, что его можно соблазнить и увлечь в дурную компанию Пинкертонов и прочее. Вот тут нужно, разумеется, вмешательство взрослых.

Товарищами моих игр были деревенские дети (братьев и сестёр у меня не было). От них я узнал чувство товарищества и дружбы. Товарищество и чувство чести было сильно среди детей и в реальном училище, где я учился сначала в Сызрани, потом в Самаре. Здесь мне открылся новый мир в заселённых, с замусленными уголками мнигах Майн-Рида и Фенимора Купера. Мама боролась с этой литературой, но тщетно. Американские прерии, индейцы, следопыты, всадники без голов, — это была здоровая романтика, раскрывающая новые горизонты. И эта, развивающая смелость, романтика тамагавков и мокасинов была нам, детям, особенно нужна в унылые и бездеятельные годы царствования Александра III.

Для советского ребёнка, разумеется, невозможна такая перегрузка эмоциями, которыми мы так счастливо жили. Современный ребёнок требователен к знаниям. Для нас в то

время паровоз казался чудом, и железную дорогу мы называли «чугункой». Советский ребёнок прекрасно разбирается во всех марках автомобилей и в лётных качествах самолётов. Он, может быть, меньше нашего эмоционален за счёт своей умственной пытливости, но это не значит, что нужно игнорировать его эмоциональное развитие. Должна быть найдена гармония его эмоционального и умственного развития, и это как-раз определяет план издания современной детской литературы. У нас недостаточно познавательных книг для внешкольного и школьного образования. Где книги, которые могли бы лежать на столе и каждую минуту удовлетворять пытливые вопросы ребёнка? Таких книг у нас почти нет. Было бы очень желательно издание в одном томе такой познавательной детской энциклопедии, в основу которой можно взять словарь Лярусса. Такая книга была бы ценным даром для ребёнка.

Русский народ и все советские народы встали сейчас во главе мировых событий войны. Закончив войну победой, они захотят продолжать стоять в авангарде народов. Культуры и ещё раз культуры — вот чего требует от нас народ и, в первую очередь, культуру нужно нести нашим детям. Помимо классики, какую литературу получают сейчас наши дети? Книжка о нашей современности, к сожалению, недостаточно; и среди тех, которые мы даём, есть один раздел порочной литературы. Это — литература сентиментальная. Так бывает, что автор и хороший, и серьёзный, и честный, когда начинает разговаривать с ребёнком, надевает на себя едакую благостную улыбочку и начинает сюсюкать своим маленьким читателям. Но ребёнок пытлив. Он, может быть, сначала и попадётся на эту удочку, но очень скоро бросит читать такие книжки. Его здоровое нутро возмутится против неправды, против этого варенья, которым иные авторы пытаются замазать нашу героическую и страшную, и бездонно глубокую жизнь. Ребёнок неминуемо разгребёт руками эту «благонамеренность», чтобы отыскать правду. Пытливость и стремление к правде так же присущи ребёнку, как его физический, умственный и нравственный рост. Ребёнок хочет всё познать и почувствовать и своими эмоциями, и своим умом.

Советская «сентиментально-благонамеренная» литература также вредна, как были вредны книжки Чарской, «Ключи счастья» Вербицкой или вся немецкая сентиментальщина, которой нас в своё время изрядно пичкали. Не забывайте, что дети читают газеты, слушают радио и рассказы взрослых о войне. Юноши наших дней — 14 и 15-летние — строят бомбардировщики, точат снаряды и делают миномёты. Нельзя этих детей угощать специальными, якобы на уровне детского понимания написанными рассказами о войне, где один мальчик взял в плен 20 фрицев, нельзя лакировать войну.

Дайте детям художественную, написанную

во весь голос, суровую и героическую литературу о войне. Дайте им очерки и рассказы Василия Гроссмана, дайте им морские рассказы Леонида Соболева. Я уверен, что из ста детей, которым дать прочесть его рассказы о будничной, деловой, подлинно романтической борьбе советского подводника с бурями, льдами и вражескими кораблями, все сто полюбят море и, может быть, многие из них в будущем станут моряками. Во всяком случае, все они по-детски жадно и много почерпнут у этих людей воли, чести и непреклонности.

Детей — не отпугнёшь суровостью, они не переносят только лжи. Писатель никогда не должен писать только специально для детей, — спускаться до уровня понимания ребёнка, приседать перед ним и притворяться, что он сам маленький. Ребёнок всегда посмотрит на такого писателя с большим удивлением: «Чего ты, дяденька, передо мной ломаешься?» Ребёнок всегда хочет лезть вверх. Ему всегда импонирует взрослый человек, потому что он сам хочет быть взрослым. Не нужно бояться, что ребёнок чего-то не поймёт, — пускай он чего-то не поймёт, непонимание всегда есть импульс к творчеству. Не поймёт, так спросит. Разжёванным мякишем кормят только грудных детей, да и то они от этого умирают.

В воспитании детей, в воспитании молодёжи у нас было много недостатков, а порою и ошибок. Была школа Покровского, была рашповщина, а ещё раньше пролеткультовщина. Не отсюда ли повелась некоторая стеснительность в произношении слова «русский»? В наши дни, когда русский народ, составляющий 80 процентов состава Красной Армии, вместе с другими братскими народами выходит на первое место в мире, нужно во весь голос говорить о русском народе.

У нас много недостатков, которые мы сами хорошо знаем, но у нас есть важное достоинство: мы видим наши недостатки и не считаем их достоинствами. Хотим их изжить и, быть может, многие из них диалектически превратить в достоинство. Русский народ хочет расти и идти вперёд. Русский человек — беспокойный человек. Самодовольство и успокоение на веками насыщенном месте, как например, немецкому бюргеру, ему несвойственны. Когда на него наваливалась тяжесть царской империи, так, что дышать было невозможно, он уходил к чорту на кулички или потрясал империю кровавыми бунтами. Широкая натура? — Это не определение русского человека. Он — неисчерпаемый и бездонный, человек невероятных возможностей. Я утверждаю, что мы сами мало знаем русского человека. Война раскрыла, развернула силы русского человека, и они будут расти.

Мы мало изучали нашу историю. Много ли мы знаем о самих себе? А ведь наши дети хотят знать прежде всего, почему Красная Армия одна, не боясь никакого чорта, ломает шею Германии, и непременно сломаёт. Что вы ответите хотя бы на этот

вопрос? Какие книжки вы дадите детям по этому вопросу? Книг таких мало. Такие книжки нам нужны.

Всё, о чём я говорю, мы называем патриотизмом. Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше. Это — беззаветный, во имя родины, тяжёлый труд всего народа в дни войны. Это — сознание, что русский должен победить немца. Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней. Это — любовь к русскому языку и ощущение его.

Уместно поговорить о русском языке. Может быть, мы не забыли наш язык, но говорим-то мы и часто пишем не на русском языке.

Наши газеты, а порой и беллетристика употребляют слово только как понятие. Но если слово — только понятие, то язык можно свести к пятистам фразам и на них объясняться, как на исперанто. Язык есть орудие мышления. Язык есть те магические волны, посредством которых художник — писатель, поэт из своего передатчика, находящегося на его плечах, передаёт приёмнику — читателю — свои чувства, свои пластические видения, свои идеи. Художник произносимыми или начертаемыми словами как бы играет на клавиатуре мозга своего читателя или слушателя. Язык — это магия. Искусство — это чудо.

Русский язык — один из наиболее магических языков, потому что он ближе, чем все другие европейские языки, к разговорной народной речи. В русской литературе были уклоны, когда литературный язык уходил от народной речи в некую искусственную форму. Иные писатели переносили на русскую почву французскую галантную, прекрасно сделанную литературную фразу, и недаром так боролся с этим Лев Толстой, который, ломая всё, обнажая правду, добивался вот этой самой магической силы слова. Русский язык — это прежде всего Пушкин — нерушимый причал русского языка. Это Лермонтов, Лев Толстой, Лесков, Чехов, Горький.

Почему так хорош и художественен язык народной речи? Потому что в народной речи живут и всегда действуют законы рождения языка. Язык рождается как подтверждение и обогащение человеческого жеста. Под жестом я разумею не только жест руки, но и всё внутреннее состояние человека в данное мгновение, всё его устремление. Вначале жест, затем слово — таково происхождение слова, подтверждающего, а затем и заменяющего жест. Магия языка в том, что художник, произнося слово, вызывает у слушателя внутренний жест, эмоцию, идею, мысль. Первый человек, наверное, увидев море, открыл в изумлении глаза и рот и произнёс звук, из которого впоследствии образовалось слово с большим круглым звуком «о». И русское слово «море» ближе к его подлинному опре-

делению через слово, чем, например, французское «мэр» или немецкое «зее».

Наш литературный язык моложе, чем на Западе, и это наше счастье. Пускай у нас нет канонов, и это хорошо. Каждый писатель пусть пишет на языке своего внутреннего жеста.

На каком языке написаны многие из книг, которые предлагаются детям для чтения? Разве у детей, читающих такие книги, захватит дух от радости познания русского языка? Разве дети разглядят что-нибудь сквозь фразы, находящиеся в длительном и каждодневном употреблении? Нельзя употреблять такие словечки, как зачитать, закоронить или слово «пара» по отношению к непарным предметам: например, пара книг, пара дней, пара лет. Это немцы употребляют слово «пара», но ведь на то у них и медные лбы.

Народ хочет знать своё прошлое и должен его знать, — это тоже входит в понятие патриотизма.

Какую историческую литературу даём мы детям? Кое-что о Ледовом побоище, да Куликовом поле, да Бородине. Для наших детей история России — тёмная ночь. Вы скажете, на русском языке мало хорошей исторической литературы. В таком случае нужно её создать. Это одна из главных задач Детского издательства. Нужно дать детям в сокращённом виде такие интересные книги, как «Севастопольская страда» Ценского, «Емельян Пугачёв» Вячеслава Шишкова, «Дмитрий Донской» Бородин, «Чингиз-хан» и «Батый» Яна, «Минин» Костылева, исторические романы Юрия Тынянова, «Великий Моурави» Антоновской и другие. Нам нужны книги о гражданской войне и о нынешней великой войне.

Исторические романы и, в особенности, книги о нынешней войне должны быть написаны со всей ответственностью художника перед своим читателем, без поправки на то, что это — маленький читатель. Личь в одном нужно делать исключение. Когда реалистические и страшные описания немецких зверств доходят до сознания 19-летнего юноши, который через несколько месяцев пойдёт убивать немцев, то это — нужное и патристическое, и полезное дело. Но когда душу 12-летнего ребёнка окунают в ужас крови и сотрясают её описаниями садических зверств, то это — вредное дело. Двенадцатилетнего ребёнка мы готовим прежде всего к строительству жизни, к борьбе за отечество и за наш социалистический строй. Ребёнок должен расти, как полноценное существо, не получая в нежном и деликатном возрасте тяжёлой травмы.

Гитлер воспитал поколение зверей, травмируя молодёжь в детском возрасте. Мы воспитываем детей для полнокровной, полноценной, гордой, весёлой, свободной и радостной жизни. Мы должны воспитывать в детях ненависть к врагу, ненависть здоровую, творческую, полнокровную.

Что должна дать ребёнку книга? Книга должна развивать у ребёнка мечту. Без мечты о всечеловеческом счастье была невозможна наша революция. Немечтающий ребёнок — это больной ребёнок. Книга должна развивать у него здоровую творческую фантазию. Книга должна давать ему знание. Книга должна воспитывать у него эмоции добра. Пример — книга Гайдара «Тимур и его команда», так широко подхваченная детьми во всём Советском Союзе. Детская книга должна быть доброй книгой, учить благородству и чувству чести. Книга должна углублять в ре-

бёнке любовь к родине, она должна питать и развивать все наши национальные особенности.

Ребёнок должен впитать в себя всеми порами благословенный воздух родины. Мы готовим наших детей для великого дела. Наши дети будут ходить по миру с гордо поднятой головой. Эта цель должна отразиться во всём плане издания детской литературы, во всей редакционной работе издательства. Я обращаюсь к советским, в первую голову, русским писателям — помогите нашим детям стать гордыми, культурными и сильными людьми.

ОБ А. С. СЕРАФИМОВИЧЕ

ФЁДОР ГЛАДКОВ

★

20 лет назад несколько писателей собрались на квартире Александра Серафимовича Серафимовича в Большом Трёхгорном переулке. В этот вечер Александр Серафимович должен был читать только-то что законченную повесть — «Железный поток». Такие дружеские вечера он устраивал нередко в те годы. Тут были и старые, и начинающие писатели. Живой, бодрый, весёлый, гостеприимный, он умел как-то сразу входить в душу каждого и «брать за сердце» человека.

В те дни, когда только-что собирались литературные силы и закладывались основы советской литературы, Александр Серафимович чутко интересовался успехами молодых литераторов, привлекал их к себе, возился с ними, умно и тонко руководил их работой, разбирал каждую строку, давал советы, указывал на причины неудач, предупреждал об опасностях и проникновенно подчёркивал удачные, яркие образы, особенности языка и восклицал возбуждённо:

— Ах, вы, леший втакий! Да вам же только работать и работать! У вас же силы — непечатый край..

Он брал за плечо какого-нибудь из молодых беллетристов и, лукаво улыбаясь, поощрительно покрикивал:

— Ну-у? Как, батюшка мой? Выкладывайте! Признавайтесь, что написали... Вы Неверова знаете? Вот, хай ему бес, пишет! Так и прёт из него, так и прёт!..

И каждый день молодые авторы шли к нему со своими литературными докуками за ободряющим словом. Мне кажется, что ему очень сильно мешали работать и назойливо нарушали его покой. Даже больной, он никому не отказывал в дружеской, участливой беседе и никого не забывал.

В этот вечер собралось у него человек двенадцать беллетристов, среди которых был и покойный А. С. Неверов. Он был уже известен как автор пьесы «Баба» и ряда ярких рассказов. В Москву он только-что приехал из Самары и сразу же развернул свой горячий талант. В первые же дни по приезде он пошёл в первую очередь к Серафимовичу и с первой же встречи полюбил его глубоко и нежно.

Сначала Александр Серафимович попотчевал гостей вкуснейшим пирогом, выпили по стаканчику вина.

— Я хитрый, хлопцы, — шутил он: — Вас ведь, леших, сперва надо подпоить — обезоружить, чтобы не лаялись. Сухая ложка рот дерёт.

За столом, как обычно, все чувствовали себя непринуждённо, а Неверов был в большом ударе, не уступал ему и Новиков-При-

бой. Но всё-таки чувствовалось взволнованное ожидание. А Александр Серафимович как будто нарочно оттягивал чтение и даже пробовал запевать песню.

Читал он часа три-четыре, но время пролетело незаметно: все были с первой же страницы захвачены широкими картинами народного движения — доблестного отступления отрезанной Таманской армии с жителями станиц и хуторов по черноморской дороге, через горы, для соединения с Красной армией. В этом бесконечном пути люди испытывают невероятные лишения, и кажется, что нет человеческих сил, чтобы выдержать муки голода, страшного изнурения, болезней, гибели детей... Поразительна выносливость, самоотверженность, вера русских людей в будущее и неугасимость духа. Вот Кожух, могучий, простой, грозный — настоящий вождь, рождённый народом. Он живёт у меня в памяти с тех пор, до иллюзии живой и самобытный. Он как будто теряется в этих бесчисленных толпах, которые сплошным потоком на много вёрст покрывают приморское шоссе, но в то же время он — всегда на виду: он чувствуется и впереди, и в самой гуще, и в задних рядах. Он во-время появляется там, где люди слабеют духом и начинают роптать, и весёлой шуткой ободряет их. Люди смеются, хотя и льётся кровь из потрескавшихся губ, потухающие глаза их загораются, им уже не страшны ни голод, ни жажда, ни дальнейшие страдания, ни трагическая их, смертельная дорога. Как настоящий вождь, Кожух в нужный момент может крикнуть промовым голосом, а тысячи людей — бойцов и станичников — пылают энтузиазмом. Он заразительно хохочет, заливается хорошей песней, отпускает ядрёные словечки, от которых люди кричат, как ст доброго вина. Но он бывает и страшен в своём гневе против смутьянов и малодушных. Он знает свой путь, он видит свою цель, и этот людской поток верит в него и знает, что Кожух приведёт их туда, куда надо. И какие все преграды и опасности не были на пути, все эти люди поборют всякие препятствия, сметут на своём пути все враждебные силы. Это были не обречённые люди, — нет, это была трудовая Россия, идущая на подвиги.

Повесть эта поразила нас своей величавой простотой и глубокой народностью. Мы восприняли её тогда, как подлинную поэму о революционном духе русского народа, о неистребимой его силе, самоотверженности и великом его назначении. Такой народ нельзя поработить и обезличить, такой народ, несмотря на бесконечные испытания, вынесет

всё, поборет всё и сам будет торжествовать победу.

Когда Александр Серафимович окончил чтение, все долго молчали под сильным обаянием этой поэмы. Не было слов, чтобы выразить глубокое волнение. И это волнение было в глазах у каждого — все понимали друг друга в этом молчании. Казалось, что сказанное слово только нарушит наше глубокое чувство. По лукавой улыбке Александра Серафимовича видно было, что и он хорошо понимал смысл нашего безмолвия. Он поглядывал на нас добродушно и хитренько и как будто трунил над нами:

— Ну, что? Проняло? То-то же! Вот как надо, судари мои, жечь сердца людей.

Лично мне было особенно интересно слушать эту повесть: я был непосредственным свидетелем движения «железного потока» через Новороссийск. Кубань изменой Сорокина отдана была на кровавую расправу белогвардейщины. Новороссийск оставался единственным оплотом советской власти. Моряки и тысячи пролетариев с оружием в руках готовы были драться до конца с бандами денкинцев. Ещё не утихла боль от трагической гибели флота в Цемесской бухте, слишком мучительна была мстительная ненависть к врагу у военморов. Но грозное и скорбное движение таманцев потрясло население Новороссийска. Душа омрачалась тревогой и тягостным предчувствием: белогвардейская контрреволюция уже приближалась к городу. Меньшевистско-эсеровские прохвосты нагнали день ото дня. Слушая «Железный поток», я заново переживал огненные дни лета 1918 года.

Вышли мы от Серафимовича поздней ночью. Неверов никак не мог успокоиться и всю дорогу повторял со свойственной ему горячностью:

— Ну, и старик! ну, и отчубучил! Дорого бы я дал, чтобы написать так хоть бы одну страницу. Прямо зависть берёт, до чего хорошо. Слушал я, слушал, и сердце замирало. Да и теперь вот: в душе — бунт, прибой сил чувствуешь... Хочется писать ненасытно... жить ненасытно...

Это было время молодости нашей советской литературы, большого простодушия, горячих привязанностей, целомудренной любви к искусству. И Александр Серафимович был для нас олицетворением лучших традиций русской литературы, как беззаветного общественного служения, и образцом личного поведения, как человека и гражданина.

Он всегда привлекал к себе своей жизнерадостностью, каким-то юношеским любопытством к человеку. И каждый сразу чувствовал эту нелицемерную его сердечную пристальность. Никогда в нём не было ни тени самообольщения, ни своенравного желания показать своё величие или снисходительность, как мётра. Мне думается, что это один из самых постоянных и неизменяющихся характеров: каким он был, таким и останется до гроба. Это ясное постоянство —

честность и любовь к людям. Ему интересен каждый человек, каждый его поступок, каждое его слово. И, когда он встречает вас, кажется, что он хочет вас обнять — с добродушной настороженностью, с высоко поднятым лицом и пристальным, ожидающим взглядом. И всегда с игривой лукавинкой в глазах вскрикнет певуче:

— Ну, батюшка мой! Что? Как? Вот тут-то она ему и сказала...

И обязательно заставит высказать ему даже сокровенные мысли. Нет, не будет выштыгивать, а дружеским участием и проникновенностью невольно вызовет потребность раскрыться перед ним, как на-духу. Он обладает особым умением слушать, внимательно, вздумчиво, терпеливо. И если будет не согласен или неодобрительно отнесётся к словам собеседника, похолодеет немного и с насмешливым упреком в глазах скажет:

— Ну, нет, батюшка мой, вы здесь неправы. Самое трудное — это вскрыть смысл человеческих поступков. Понять человека — это значит строго отнестись к себе. Суд с пристрастием только губит художника. Вавичность и нервность — нетерпимы в творчестве. Это — болезнь, если не порок.

Потом встрепенётся, глаза заискрятся, и весь загорится юношеским одушевлением. Нетерпеливо потрёт ладонью бритую свою голову и задорно вскрикнет:

— Знаете что, батюшка мой, — поедем-ка путешествовать! Возьмём лодку... движок у меня есть... Этак на месяц, на два. Вниз по Дону. А? Право, чудесно!

И начнёт рассказывать, как он плавал один в лодке по родному Дону, какие с ним забавные приключения происходили. Такие путешествия он совершал чуть ли не каждый год. Смотришь на него, бодрого, жадного до впечатлений, и думаешь: какой это большй жизнелюбец! И кажется, что в прошлом он никогда не болел, не слабел духом, а всегда отличался ядрёным физическим здоровьем. Вероятно, он был когда-то богатырского сложения, как его сын Игорь, и может быть, без особых усилий ломал подковы. Не поэтому ли у него такая неустанная потребность в движении? Помню наше совместное путешествие на машине в Горький. Он часто садился за руль, сменяя сына, Игоря Александровича. Машина плохо слушалась его — капризничала, останавливалась, внезапно рвалась вперёд, но он упорно боролся с нею и добивался своего. Игорь Александрович нервничал и постоянно вмешивался. Александр Серафимович инстинктивно хватался за голову, тёр её ладонью и, смущённо посмеиваясь, вскрикивал:

— Ах, ты, леший тебя возьми! Ну, погоди ж ты!.. Не мешай, Игорь!

По дороге нередко останавливались, и он выходил из машины, чтобы размяться. Он делал гимнастику — размахивал руками, приседал, бегал вокруг машины. Во Владимире все почувствовали утомление, хотелось отдохнуть, выспаться за ночь. Но Александр Се-

Серафимович вдруг живо и вызывающе предложил:

— А знаете что, ребята... Какого лешего!.. Что мы будем валяться здесь: и номер паршивый, и с чаем плохо, и клопы слопают... Подем в ночь!.. Как хорошо раненко влететь в Горький!.. Ока! Волга!..

И мы поехали в ночь.

Я не много знаю людей, которые так любили бы дружескую компанию и испытывали бы такую неустанную потребность чувствовать около себя людей. Часто у него можно было застать и рабочих, и юношей-литераторов, и борцов гражданской войны. Когда собирались у него друзья, непременно первый запевал песню. Пел он с наслаждением, самозабвенно. И очень был недоволен, если кто-нибудь молчал — сидел в сторонке.

— Пой, леший бодай тебя!.. Ну, дружно!.. — И размахивал руками, как дирижёр.

А любил он именно русские — широкие, размазанные — песни, особенно донские, казачьи.

Александр Серафимович глубоко русский человек и русского человека знает превосходно. В отличие от развинченных интеллигентов, от упадочных писателей 90-х годов, которые, в сущности, не имели никакого понятия о народе, хотя нередко клеветали на него, он всегда глубоко верил в творческие силы русского человека, в его таланты, в его великое будущее. Всю свою жизнь он шёл с ним плечом к плечу и с юности связал с ним свою судьбу. Он был непосредственным свидетелем и участником русского общественного и рабочего движения. Про него можно сказать словами поэта: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые».. А сколько таких «роковых минут» было за эти годы! И на все эти события он отвечал яркими, острыми повестями и рассказами. Он — подлинный летописец общественной борьбы минувшего столетия. И широкие рабочие массы любят и читают его. Когда праздновали его 60-летний юбилей, рабочие поднесли ему много подарков. Однажды он встретил меня в своей скромной квартирке на Трёхгорном с блестящим паровозом в руках и с юношеской радостью сообщил:

— Вот-с, извольте полюбоваться, сударь мой. Рабочие депо преподнесли. Ну-с, беситесь от зависти! Вот тут-то она ему и сказала... Разведу пары и покачу, куда душа хочет.

Но глаза его были влажны от волнения.

Я чувствую его, как мудреца, который всё видел, всё испытал и поэтому ничему не удивляется. Он чаще волнуется от радости, чем от возмущения. Гнев его спокойный. Но он нетерпим к неправде, к лицемерию, к двоедушию и политиканству. Одно из его выступлений против некоторых, печальной памяти, руководителей Раппа навсегда останется у меня в памяти. Он, как обличитель,

стоял перед нами твёрдый, с болью в лице. Голос его дрожал, дрожали руки, но его слова хлестали этих людей в упор.

Он всюю душой любит литературу, как выражение человеческого духа, как голос правды и совести, как проявление человеческого достоинства и благородства. С искусством нельзя играть, преступно делать его ареной карьеристских вожделений, политиканского шантажа, беспринципной борьбы. Литература — дело народное, дело священное. Она должна воспитывать и поднимать людей до высокого идеала. Творчество писателя — это его личное поведение. Вот почему Александр Серафимович любовно и нежно относился всегда к начинающим и молодым писателям. Очень и очень многим он помог укрепиться, стать на ноги и выйти на большую дорогу. Я с благодарностью вспоминаю его дружескую помощь мне в первый год пребывания моего в Москве. Он сам приходил ко мне в подвал на Смоленском бульваре, терпеливо слушал мои рассказы и настаивал меня с отеческой лаской. Этой отеческой лаской он смятчал самые суровые свои оценки незрелых произведений многих литераторов, укреплял в них веру в свои силы и указывал пути к достижению художественного совершенства.

Но Александр Серафимович — большой скромник: он никогда не подчёркивал своей роли учителя. Подходил он к каждому, как равный, как друг и соратник. Он охотно спорил, твёрдо отстаивая свою точку зрения, но никогда не показывал вида, что больше знает, чем молодой, неопытный автор. Он не подавлял своей личностью, своим авторитетом; а, наоборот, всегда старался возвысить человека, открыть его, одушевить для новых замыслов, для новой, более трудной борьбы. Когда праздновали его семидесятилетие, он сказал:

— Вот Шолохов — это настоящий командир в литературе. А я — только простой рядовой боец.

И это было, конечно, не «смирение паче гордости», а искреннее отношение к себе. Разумеется, мы оставляем за собой право не согласиться с ним.

Александр Серафимович славно прожил свои 80 лет, как неустанный борец за правду, за высокое реалистическое искусство, за великие идеалы человеческой свободы и счастья. Целомудренно-честный, благородный рыцарь, с любвеобильной душой, скромный, простой и милый, он для нас является образцом писателя-подвижника и гражданина-творца. И теперь, в дни отечественной войны, он, как старый ветеран, идёт в передних рядах писателей, среди которых много и его воспитанников. Он никогда не складывал оружия бойца и не сложит его до конца своих дней. Это человек — во всём значенье слова.

ПОБЕЖДАТЬ И ЖИТЬ

(Поэзия Павла Тычины)

ЛЕВ ОЗЕРОВ

★

1.

Книги стихов Павло Тычины — «Солнечные кларнеты», «Плуг», «Ветер с Украины», «Партия ведёт», «Чувство единой семьи», «Сталь и нежность», «Побеждать и жить!» — подобно всякому большому явлению искусства перерастают сугубо эстетические, узко профессиональные рамки. Это явления художественного и общественного порядка одновременно, потому что по ним можно проследить не только становление личности автора, развитие его поэтической системы, но, что гораздо существенней, — историю духовной жизни украинского народа на протяжении важнейшего в его истории советского периода.

Павло Тычина — непрерывно и целеустремлённо развивающийся поэт, многоцветный и трепетный, как радуга, совершенствующий своё поэтическое оружие, меняющийся, как и сама жизнь. Тычина поэт современности, потому что на каждом историческом этапе жизни советской Украины находит самые точные и нужные слова, выражающие духовное богатство украинского народа, его силу воли и уверенность в правоте своего дела. Павло Тычина всегда искал соответствия между способами достижения поэтической изобразительности и характером жизни украинского народа. Так было у него на первом этапе революции (сб. «Плуг»), в годы восстановления хозяйства и строительства (Сб. «Вітер з України»), в период пятилеток (сб. «Партія веде»), так и в дни отечественной войны (сб. «Перемогать і жить!»). Сказать поэтому, что стихи Тычины производили на нас впечатление, значит, почти ничего не сказать. Его сборники становились для читателей фактами народной жизни, её развития, помогали жить и работать.

О Тычине немало написано. Многие ещё будут написано. Но сегодня хочется говорить о Тычине, живущем в труднейший и ответственный период истории Украины, в период её кровавой борьбы с фашизмом, о собранности и подтянутости поэта, об его силе и нравственном здоровье, о непреходящей молодости его («Ти ж молодий із молодих»), рассматри-

вающего свою жизнь как часть истории своего отечества. Одна из замечательных особенностей поэзии П. Тычины — её подлинная народность, которая в час самых тяжких для Украины испытаний ничуть не ослабела, не поблёкла, а, наоборот, стала ещё более яркой и целенаправленной.

В утверждении, что книги Тычины — поэтические явления большой социально-эстетической значимости, нет ни натяжки, ни преувеличения. Генеалогию Тычины следует выводить не от символистов или акмеистов — поэтических школ, которые во всю ширь развернули свою деятельность, когда впервые прозвучал голос украинского поэта, — а от великих традиций украинской классической поэзии, от безымянных кобзарей — слагателей дум и песен народных, от Сковороды, Шевченки, Франка, Грабовского Леси Украинки, от классиков русской и мировой поэзии. В первых своих стихотворениях («Де тополя росте», «Що місяцю зіроньки кажуть ясенькі?», «Ви знаєте, як липа шелестить?») поэт более всего близок к стихии народной песни, к Шевченке.

Тычина начал свою поэтическую работу, как ревностный продолжатель великих демократических и просветительных традиций украинских классиков. И хотя поэт не был их непосредственным по времени продолжателем (декадентское распутье легло небольшой, но тёмной полосой между классической и советской поэзией Украины), но именно он оказался их подлинным и фактическим наследником. Впрочем, непосредственное и глубокое влияние на Тычину творчества и личности Михайла Коцюбинского, а через него и Максима Горького, не подлежит сомнению. Тычину нужно рассматривать, как связующее звено между классической и новейшей советской поэзией Украины. Не ощущаете ли вы дух, могучее веяние «Вічного революціонера» и «Каменярів» Ивана Франко в «Плуте» («Вітер — не вітер, буря») и «Вітрі з України». Не перекликаются ли послания «Народові єврейському» и «До Русі-України» Павла Грабовського со стихами Павла Тычины «Єврейському народові» и «Шевченко і Черны-

шевский)? Не являются ли стихи из книги «Сталь і ніжність» ответом Павла Тычины — поэта эпохи осуществления дум и чаяний народа — на полный горечи и надежды вопрос великой и мужественной Леси Украинки — «Слово, чому ти не гострая криця?»

Да, только в такой связи, только при учёте этой культурной преемственности может быть правильно понята сущность творческой деятельности Тычины.

Поэт живёт в эпоху больших политических и историко-культурных сдвигов, происходящих на его родине. История Украины, её борьба за самое существование своё и свободу, бурный расцвет всей её жизни при советской власти были факторами, формировавшими самый характер, личность и работу поэта. В этом смысле поэзия Тычины является в украинской духовной жизни воплощением того великого возрождения человеческой личности, которому служили в России Горький, Брюсов и Маяковский, в Белоруссии — Купала и Колас, в Грузии — Табидзе и Леонидзе, в Армении — Аюпян и Исаакян, в Башкирии Мажит Гафури, в Дагестане — Сулейман Стальский. Это тем более важно отметить, что Тычине в высокой степени свойственно «чувство единой семьи», по слову самого поэта. Он певец многонационального товарищества народов нашей родины. Дружбе народов посвятил Тычина много стихов и статей. Владея несколькими языками народов СССР, Тычина даёт образцовые переводы с армянского, еврейского, русского, башкирского. «Понять душу другого народа — как это нежно, глубоко и дружественно звучит! — пишет Тычина в статье «Священное братство» (ноябрь 1942 г.). — Неудивительно, что к нам всё время льнут и те народы, что живут за морем-океаном, и те, что живут — не живут, а мучаются за колючей проволокой немецкой. Разве не знала сербская партизанка Вера Драгич о нашей партизанке Зое Космодемьянской, о Владимире Рябок и Михаиле Семёнове, и Батьке Минае?»

Павло Тычина — явление глубоко украинское, воплощающее в себе самые лучшие черты своего народа. Но с этих только национальных позиций не понять работы Тычины всесторонне, во всём объёме. По вине некоторых горе-теоретиков украинской литературы, имена которых не стоит называть, творчество Тычины некоторое время рассматривалось изолированно от развития литературы народов СССР, от мировой поэзии. Националистические «теоретики» понимали национальное неверно, узко, однобоко, как бытовое, этнографическое. Они не видели дальше плетня своего двора, не пытались взглянуть поверх домотканых полотенец с яркими петухами на них. Их интересы были по сути дела интересами пресловутой Кайдашевой семьи из одноимённой повести И. Нечуж-Левицкого. А между тем, деятели украинской культуры, в целях правильного и всестороннего понимания их

роли в истории родного народа, могут и должны быть сопоставлены с деятелями культуры других народов.

В этой связи поэтические достижения Тычины должно сопоставлять с работой Маяковского, Леонидзе, Исаакяна. Новаторское влияние Тычины на поэзию своего народа, начиная с В. Чумака и кончая И. Неходой, — неоспоримо. Но оно не ограничивается этим. Любой школьник на Украине знает «На майдані», и это стихотворение в сознании читателей сплелось с образом революции, каждый знает стихотворения «Партія веде» и «Пісню трактористки», и эти стихи у читателей ассоциируются с самым блистательным периодом истории Украины. Строки Тычины прочно, накрепко, как поговорки, пословицы и крылатые слова, вошли в язык народа и бесспорно внесли в самый строй речи украинской много нового и существенного. Тычина, как поэт-языковед, — тема специального исследования. Чувство культурной преемственности неотделимо у него от новаторства, как существенной части народности, которая не может жить без прогресса идей, образов и способов их выражения.

Несомненно также, что поэтические достижения П. Тычины оказали влияние на целую группу русских поэтов.

2.

В Тычине воплотились наиболее характерные черты национального возрождения Украины в годы советской власти. Он — один из виднейших деятелей этого возрождения. Выразилось это прежде всего в универсальности его творческих исканий. Кроме стихов и поэмы, Тычина пишет научные исследования, много переводит из западных и восточных литератур, выступает, как своеобразный публицист, близко примыкая к публицистике Горького. Это всё факты не только личной одарённости, но и черты, характеризующие национальное, политическое и культурное возрождение Советской Украины. От её имени он был послан в Париж на Всемирный конгресс защиты культуры, как виднейший украинский антифашист, писавший в одном из стихотворений того периода, задолго до вероломного нападения Гитлера на нашу родину:

... ще потішимо
фашиста проклятого: —
ми його ще рішимо!
Ех, скоріш дождать того.

«Ех, скоріш дождать того!» — говорит поэт о грядущей победе, и слова его повторит каждый честный украинец. Ех, скоріш дождать того — слова эти так убедительно просты, что в них пропадают особенности авторской интонации. Их можно было бы услышать из уст старухи-матери красноармейца, в речи рабочего-арсенальца, в песне кобзаря-сказителя.

Поэт-философ, поэт-трибун, Павло Тычина понимает свою работу как широкую демократическую просветительскую деятельность.

Тычина очень щепетильно и ревностно относился и относится к своей работе. В этом смысле он пример для других поэтов, чересчур спешащих с публикацией своих произведений. Он печатает лишь малую долю того, что делает, и поэтому читатель с жадностью и доверием следит за творческой кристаллизацией замыслов поэта. Дело критики донести её до читателя, показать, как за этой сложностью кроются большие идеи и интереснейшая личность поэта.

Беда, если между поэтом и адресатом его стихов — народом — образуется средостение. Иногда в этом повинна критика.

Спору нет, Тычина — сложный поэт, но это, однако, не значит, что он недоступен для понимания читателя. Он высоко культурный поэт, но из этого не следует, что читатель не может близко чувствовать его. Нет, читатель, любящий в стихах мысль, идею, будет обрадован возможностью, в результате работы «над собой, войти в сложный мир поэта, «пропутешествовать к поэту», как сказал Гёте. От такого «путешествия» читатель только выиграет, и философски, и эстетически. Он будет обогащён, и его усилия вознаграждены сторицей.

Хотя Тычина и вошёл давно в школьные хрестоматии, но всё же поэзия его долгое время была по вине националистической критики грамотой за семью печатями.

Сам Павло Тычина разрушил косное критическое средостение, отделявшее его от народа. Он пришёл к народу без посторонней помощи — одновременно и как тонкий лирик, и как поэт-трибун, и как мыслитель-публицист. Он сам помог всем увидеть, что в «Соняшних кларнетах» и в «Плуге», — сборниках, которые критики оплели символистскими туманностями, содержатся золотые жилы фольклора и богатейшие перспективы реалистического развития поэзии.

Тычина не довольствуется достигнутым, не смотря на высокую оценку его работы, сделанную народом. Его сердце полно жаждой совершенствования, роста, движения вперёд. Он непрерывно ищет, он не перестаёт учиться. Девиз И. Франко «Semper tigo», то-есть «Всегда ученик», стал для Тычины путеводной звездой. Это составляет одну из обаятельных черт его творческого облика. Надо сказать, что в этом смысле Тычина может служить показательным примером для некоторых современных украинских поэтов, которые остановились на традиционном, зачастую архаическом стихе и законстенили в старой форме, оправдавшей себя в веках, но требующей, однако, постоянного совершенствования.

Поэт не отказался от новаторства и теперь. Способность к изменению и совершенствованию своего поэтического оружия была всегда свойственна Тычине. Ещё на заре украинской советской поэзии он своим «Плугом» перепалхал старые поля украинской

литературы и украинского литературного языка. Эта трудная работа на первых порах была не понята литературными кругами, но впоследствии её высоко оценил народ. Поэтическая молодёжь Украины почувствовала, насколько работа Тычины обогатила её творческие поиски. В недавнем своём стихотворении («Весна») Тычина с предельной прямоотой писал:

Поет повинен наново родитись.
Не тихо догорать, як та свеча, —
не тільки мудрістю в піснях світитись, —
а й бути свідомим свого меча.

Хіба можлива дряхлість для стратега?
Чого ж поет, коли ідуть бої,
бере із допотопного ковчега,
і образи й епітети свої?

Вдар словом так, щоб аж дзвеніло міддю!
Чи мо новаторство не на часі?
Як не здригнеш перед страшною гиддю —
Тоді ти з'явишся у всій своїй красі!

Новаторство Тычины заключается не только в совершенствовании способов художественной выразительности. Они — не самоцель для него, а новое, более действенное средство ещё сильней, ещё глубже, ещё острее влиять на человека. В новой, последней по времени, книге «Перемогать і жити!» (изд. биб-ки «Фронт и тыл», 1942) помещены лирические стихи «Голос матері», «В безсону ніч», «Весна», в которых поиски поэтом острого, идущего прямо в душу слова увенчались большим успехом. Боль за мучения, которым подвергается украинский народ под пятой Гитлера, стала здесь осознанной и глубокой мыслью. Стихи эти написаны во весь голос, от всей души. О них мало сказать, что они «печальные», «гневные» или «сердечные». Они задевают самую глубины человеческой души и вызывают в нас, как всякое большое явление искусства, живой многозначный отклик. Общий для всей поэзии отечественной войны процесс углубления лирического начала, торжества лирики сказался и в творчестве Тычины.

Нельзя не упомянуть, что многие из прежних стихов Тычины были отмечены печатью некоторой сухости, рационализма, изысканного академизма («Чернигов» и др.), этими издержками неустанных творческих поисков поэта. Теперь мы видим иное. Лелеемая каждым писателем мечта о гармоническом слиянии формы и содержания стала в военных стихах Тычины реальностью. Благородный порыв к освобождению своего народа из-под гитлеровского ярма, мечта о победе продиктовали поэту его новые стихи, лирику непосредственного признания, не стыдящуюся своих страданий, гордящуюся своей уверенной надеждой. Тычина во весь голос выражает чувства своего народа. Скорбь Украины — скорбь её поэта. Её надежда на свободу — его надежда.

О, Україно! Сонце волі!
Від ран твоїх мене болять.
За тебе б — ворога спалить!
Твою скорботу, муки, болі
я хочу в себе перелить.

Мене ж ти від землі родила,
земні твої я груди ссав,
по горах, по полях гайсав.
Твоя рука — на шлях водила,
твою я силу записав.

А потім, як на ноги звівся
і як на голосі почувсь, —
я заспівав, аж сам не зчувсь,
як я й співцем твоїм зробився
і весь в тривогу обернувсь.

Стоит вспомнить давно произнесённые Тычиной крылатые слова: «За всіх скажу, за всіх переболію», сравнить их с только-что процитированными и станет понятна закономерность в развитии подлинного народного поэта Украины. Несмотря на трагическое звучание некоторых стихов («Весна», «В безсоню ніч» и «Пісня матері»), они не оставляют впечатления тягостной непроглядности, печаль их действительна. От неё не опускается голова, а сжимаются кулаки.

Наряду с лирическими стихами Тычина создаёт эпические образы, показывающие человека на войне («Партизан Заліско», «Люба Земська», «Він не сказав ні слова» и др.). Эти вещи позволяют надеяться на создание поэтом нового эпического произведения, тем более, что законченная им до войны поэма «Шабля Котовського», обойдённая критикой, — одно из самых смелых и оригинальных произведений советской поэзии. Стихи Павла Тычины, написанные им во время войны, наряду с прекрасным «Словом о матери-родине» М. Рыльского, «Данилой Галицким» М. Бажана, книгой «Пути войны» А. Первомайского и лирическим циклом «Україно моя!» Андрея Малышко, являются наиболее выдающимися произведениями украинской поэзии этого периода.

3.

Подход к работе писателя не должен носить чисто вкусовой характер.

Об ошибках критики невольно вспоминаешь в связи с анализом поэзии П. Тычины, потому что творческий путь поэта, хотя и был благословляем критиками, но в то же время оказался повитым туманами критической «мудрости». Тычину хвалили, но дело ведь не в похвале или хуле. Есть у поэта удачные и менее удачные вещи. Надо не только констатировать это, сколько вдуматься в поэтическую систему его. О ней следует говорить главным образом потому, что сквозь неё проглядывает облик самого поэта, его жизнь, мысли, направленность. Только при таком

рассмотрении станут понятны творческие достижения и неудачи поэта. Только тогда читатель поймёт, что действительно у писателя хорошо, а что плохо.

В своё время, после выхода в свет маленькой книжки стихов «Чернигов», читатели, полюбившие «Плауг» и «Вітер з України», недоумевали: разве это тот же автор? Тычина уже не Тычина... «Чернигов» был крупным поворотом на творческом пути поэта. Трудно было осознать смысл этого поворота. Тут критику и карты в руки! Но на Украине в то время литературная критика, к сожалению, была эмпиричной, слеповой. Многих заставил «Чернигов» призадуматься. Однако последующие книги Тычины — «Партія веде» и особенно «Чуття єдиної родини» — показали и доказали, что «Чернигов» их подтолкнул. Активное вмешательство поэта в жизнь, насыщение стиха политической терминологией, использование частушки в высокой поэзии, явно ощутимые в «Чернигове», обросли в последующих сборниках плотью поэзии, пропитались соками земли. Некоторая сухость и приверженность к абстракциям будет, повидимому, ещё весьма долго ощущима в Тычине, но, начиная со сборника «Сталь і ніжність», поэт снова обретает ту гармонию классического, традиционного сноваторским, которая всегда была желанной целью подлинных поэтов (стихи памяти Оксаны Петрусенко, посвящение О. Кобылянської, поэма о Федьковиче и повстанце Кобылице, «В безсоню ніч», «Весна», «День настане» и др.).

Путь Тычины можно сопоставить, конечно, с необходимыми оговорками, с путём композитора Дмитрия Шостаковича. После мучительных исканий, экспериментаторства, учёбы у композиторов декаданса, Шостакович пришёл к удивительной человечности, простоте и новой классичности своих 5-й и 7-й симфоний и струнного квинтета. Так оправдались творческий риск, смелые дерзания, благородные поиски нового. Эти качества свойственны и П. Тычине.

Искания Тычины, — если рассматривать их всесторонне и широко, — шли одно время бок о бок с поисками американских поэтов (использование речитатива, отказ от пунктуации), и французских сюрреалистов. Но жизнь и развитие таланта поэта привели его к родниковой чистоте Шевченко, к бессмертным думам и песням народным. Строки Шевченко, с их характерными enjambement'ами, приходят на память, когда читаешь в новых стихах Тычины:

...День настане,
той грізний прийде час — і одного
не буде німця на Вкраїні! Світе
мій соняшний! Ясне житте моє
ти животворне! Ласкою нагріте
поллешся ти на нас тоді...

Скажіте:
яке ж то буде щастя!..

Так искренние творческие поиски поэта-новатора, кровными нитями связанного с жизнью народа, всегда приводят к большому искусству, к подлинной народности.

4.

Кровная связь с украинским народом, питавшая Ивана Франко и Михаила Коцюбинского, питала и Тычину как советского поэта. Легенда об Агтее, обретавшем свою силу при соприкосновении с землёй, как нельзя лучше применима к Тычине. Творчество его в дни отечественной войны показывает, что у творца, верящего в свой народ, силы удесятряются. Если в дни освободительной битвы поэт не общается с народом, он осуждён на бесплодие. Совсем недавно английский учёный Стейс в одном из журналов верно писал: «На башне из слоновой кости надо установить зенитную батарею». Суровое время, подтянутые люди!

В единстве поэта с борющимся народом залог того, что поэзия станет оружием, а не помехой на пути к победе. Скажите о поэте, что он антифашист, и вы этим самым скажете, что он гуманист, честный человек и верный своему таланту художник.

Борьба с фашизмом — борьба за свободу человека. Тычина понял всю глубину этой гуманистической доктрины. «Кто убил в Чехии писателя Ванчур?» — с негодованием спрашивает поэт в одной из своих статей, — кто сравнял с землёй чешский посёлок Либице? Кто посылает на каторжные работы поляков, французов, норвежцев, бельгийцев, датчан? Мир долее уже не может сносить такого уничтожения духа, такого попрания человека! И вот — в Люксембурге грянула всеобщая забастовка. Во Франции женщины и дети ложатся на рельсы, чтобы воспрепятствовать увозу их мужей и отцов на германско-советский фронт... А в США в это время один американский посёлок переименовывают в «Посёлок Либице», как бы грозно предупреждая этим немцев: «Эй! То, что вы сегодня убиваете, — завтра воскреснет и возвратится к жизни с новой силой!»

Тычина с острой болью ощущает потерю родной украинской земли. Народ, певцом которого он был столько лет, — в гитлеровском яме. Казалось бы, могли зазвучать в стихах поэта нотки пессимизма. Но случилось обратное. Пожалуй, никогда ещё поэт не был так духовно собран, подтянут и уверен в своём народе, как теперь. Это происходит потому, что думает он не только о личном несчастье, не об утраченных благах жизни, а о родном народе, об его судьбах. Ощущая силу своего народа, поэт уверен в его победе над врагом. В этом причина нравственного здоровья поэта. Судьба матери-родины — судьба самого поэта.

Що з матір'ю? О, що там з нею?
Чолом до шибки я тулюсь.

Я не ридаю, не молюсь —
своєю чистою душею
на штик скорботи наколюсь.

О Україно! Україно!
Ще ти в стражданнях там не спиш,
Ще і мучишся й гориш,
пожежно-блискно-горобино
вся боротьбою гомониш.

Еще одна примечательная черта говорит о непоколебимой вере поэта в силы народа. Речь идёт о сатире. В издёвке над фашистской граббармией, в памфлетах, в острой сатире поэт показывает своё отношение к врагу. «Тебе ми знищимо — чорт з тобою!», «Свиня — наполеончик» и другие сатиры надо рассматривать, как продолжение обличительных традиций Григория Сковороды, Ивана Вишенского, сатириков XVIII и XIX веков. Эта сатира не смешит, а разит, не потешает, а убивает. Стрелы этих стихов напитаны ядом. Их тон — резкий, насмешливый, срывающий все маски, щедро пересыпанный крепким народным словом:

Дойчланд — дура: що одхватить —
те вкінці зовсім протратить, —
для могили їй лишь хватить, —
Треба ж будь не при собі!

Или:

Сказала раз свиня собі:
— Ну, чим я не персона?
Ростуть же груди на вербі,
то ж можу й я у цій добі
пограть в Наполеона.

Наряду с сатирой сильно выражен в стихах П. Тычины пафос героического.

Поэт воспевает храбрых. Он создает героические образы народа («Мій народ», «День настане», «Голос матері», «Він не сказав ні слова», «Люба Земська», «Партизан Зализко»).

Украинец-юноша из стихотворения «Він не сказав ні слова» подвергается жесточайшим пыткам. Садист-гитлеровец допрашивает его. Юноша молчит. Дух советского патриота-украинца руководит его волей, сознанием, поступками. Сознание гражданского долга выше всего. Сильный дух превозмогает физическую боль. Враг не услышал от него ни слова, кроме проклятий:

...А біль, а біль —
такий страшний був нестерпучий.
«Хай смерть» — подумав: «Дух могучий
все'дно їх переможе!»

Поэтическое творчество Тычины стало воплощением в литературе этого могучего духа, непоколебимой стойкости и уверенности в победе.

Народ в образе матери обращается к поэту:

Згантовані матері!..
Закопані живими в землю!..

Як їх відчуєш в цій порі —
лише тоді тебе приймаю.
Ти ж молодий із молодих: —
зведи на голос силу краю!
Сьогодні до дітей своїх
я в грізній бурі промовляю.
Твоє хай серце — як алмаз —
не лірне буде, а напруте!
Бо як ослабнеш ти хоч раз —
до тебе не промовлю вдруге.
Чи пізнаєш мій голос? Я —
це ж я твоя крило-орлина,
що дбає за твоє життя,
червона мати Україна!

Но не только в лирике откровенней и прямого обращения к читателю видно чистое и правдивое сердце поэта. Его мысль тревожно и горячо направлена туда, в сторону борющейся и непокорной Украины. Даже в образе цветка («Весна») он видит святые образы мучеников и борцов за свободу:

Уста розкрив тюльпан. Мене ж мов дротом
гарячим прошива! Бо й не сказати:
а скільки ж там з розкритим ротом
в землі замерлим криком ще кричать!

Перед нами потрясающей силы образ. Да, никогда ещё не был Тычина в такой степени народным, никогда ещё не было его слово так остро отточенным, как в эти грозные дни.

5.

Чем крупнее поэт, тем сильнее и явственней ощутимы в его поэзии голоса его родной земли, речи его народа. Когда читаешь «Соняшині кларнети», «Вітер з України», фрагменты из «Сковороды», — вокруг шумят высокие тополя, ясени стоят молча у воды, удод перепархивает с места на место, в зеленях перекликаются перепела. Днепр неторопливо перебирает струны. И вдруг: буря!.. Молнии стремительно рассекают мрак, грохочет гром и на-земь обрушивается ливень. («Вітер — не вітер, буря»), а после него — светлеет небо и видно далеко во все стороны. Наряду с образами родного безмятежного пейзажа, у Тычины, таким образом, встречается образ ветра («Я нікого так не люблю як вітра вітровія») — образ стремительный и гигантский.

Певучесть, музыкальность поэтического текста у Тычины поразительна. Он создаёт новые типы стихового звучания, новые виды рифмовки, новую спрофику. Ясно, что поэтика его близка к музыке, к принципам музыкальной композиции. Можно сказать, что стихия музыки вскормила его поэзию. К Тычине применимы слова Мармонтеля о Метастазии, который «располагал фразы, паузы, счёт и все части своих арий, как будто он их сам пропел». Своеобразна у Тычины даже пунктуация, точно передающая сттенки его мысли и мелодики стиха. Поэт может в защиту каждого своего знака привести множество аргументов. Всё проверено, как в му-

зыкальной партитуре, где малейшая неточность может привести к дисгармонии, к фальши.

В этой певучести — связь Тычины с народной украинской песней, со стихией украинского языка — напевного и лаконичного, раздольного и переливающего всеми цветами, как Днепр в ясную погоду.

Дух украинской речи у Тычины сказанся не столько в словаре его, богатом и разнообразном, в искуснейшем словотворчестве, смелом и в то же самое время находящемся в полном согласии с историей и законами развития языка, сколько в самой организации слов в тексте, в синтаксисе, в интонационной структуре стиха. Это в меньшей степени, чем коренные украинские слова, создаёт неповторимый и прекрасный колорит поэтического языка, его национальную специфику. Ясней всего это видно в вольных, со свободными ритмами стихах Тычины.

Народе український! Стрясло твоєю

землею —
не ударами грому, не землетрусом, —
а дикою несправедливістю орд навислих!
І ти, підвішиш гнівно
разом з росіянином і білорусом —
за щастя, за добро, за ідею —
став супротивно
при всіх озброєннях своїх.

Это своеобразие поэтического стиля Тычины лишней раз показывает, что украинский язык имеет свои законы, свои правила, свой дух.

Сочетание тонкого и чуткого лиризма с революционным пафосом — явление редкое. У Тычины мы встречаемся с ним. Утонченность Верлена и Мюссе породилась в нём с прямолинейностью и лозунговостью Барбье и Вайнерта. В одном случае — это нежная мелодия скрипки, в другом — пронзительная медь фанфары. То поэт тонок и нежен, как жалоба ребёнка, то гневен и возбуждён, как Днепр в бурю, который встряхнёт седой гривой и поклочет: «Братья, за мной!»

На высоты мировой культуры Тычина поднимался вместе со своим народом. Его путь не был путём таких самородков одиночек, как Ломоносов и Горький, на первых порах его деятельности. Если Тычина опережал народ в своём развитии, то с целью разведки, расчистки пути для современников.

Тычина видел, что культура символизма, при всём её блеске и богатстве, шла к концу. Ущербность её была фактом беспорным. Народу нужно было другое. А что именно нужно? И Тычина, сообщая с другими деятелями украинской советской культуры, вместе с В. Эланом, В. Чумаком, В. Сосурой, М. Рильским, М. Бажаном, стал создавать новое искусство, новую поэзию. И в последующие годы строительства новой жизни украинская поэзия пережила бурный расцвет, породивший много новых талантов. С годами, по мере уяснения поэтом своего призвания, Тычина стал писать всё больше и больше. Некоторые критики и окололитературные гур-

маны пытались держать Тычину в шорах эстетства. Это им не удалось. Поэт ответил на их попытки гневно и решительно: «Стою мов скеля непорушний». Ему нужна была ширь для дерзаний, далёкие горизонты искусства, искусство, руководящее массами, находящееся в сотрудничестве с историей. Поэт обрёл всё это в украинском народе, строившем свою новую жизнь.

Творческий диапазон поэта необычайно широк и разнообразен. Он пишет эпические поэмы, песни, публицистические статьи, исследования, переводит, редактирует, работает с молодёжью, лепит образы героев народа — Сковороды, Кобылицы, Шевченко, Гурамишвили, Чернышевского, Сталина, Дзержинского, Котовского, Космодемьянской, Земской. Ему доступна поэзия мысли и чувства, пейзаж и песня, лозунг и эпос. Несомненно, что традиции классической украинской поэзии не прервались и в наши дни. Они нашли своё продолжение в Тычине и в других украинских поэтах-современниках.

6.

Мы живём в ответственной период мировой истории. Исход событий, происходящих на наших глазах, решит судьбы многих поколений и судьбу цивилизации. Человек, живущий в такую эпоху, чувствует ответственность не только за себя, но и за судьбы мира.

Блажен, кто посетил сей мир

В его минуты роковые, —

сказал Тютчев. Да, блажен человек и особенно художник, на долю которого выпало счастье быть в гуще великих событий. Через сердце такого художника, по слову Гейне, прошла мировая трещина.

За каждую прожитую сейчас минуту человечество платит десятками тысяч молодых жизней. Сколько вместе с ними гибнет недописанных книг, ненарисованных картин, недостроенных дворцов! Гитлер пытается повернуть историю вспять, лишить мир его памяти — его истории культуры, всего прекрасного и великого. Свободолюбивые народы встали на свою защиту, на защиту всех людей, живущих и ещё не родившихся.

Красная Армия сломаёт хребёт гитлеровской Германии! Нарастает ропот в оккупированных немцами странах. Гитлеровцы чувствуют себя, как на вулкане. Боязнь гибели подхлёстывает их, и они прут на рожон. Поэт улавливает толчки народного негодования с чуткостью сейсмографа. В одной из своих статей («Святотатцы», ноябрь 1942 г.) о дипломатических грабителях, докторов бандитских наук, Тычина пишет: «Украинцы несут в своей душе светлые образы отцов о единении славян, свято хранят в своём сердце идеи сталинской дружбы народов, твёрдо знают, что кривда твоя, лютый враже, непременно будет бита — да ещё и скоро! И никакие за-

ранее построенные планы уничтожения культуры тут не помогут тебе. Ещё недавно ведь украинский философ Григорий Сковорода, вспомнив немцев, такую к ним поговорку применил: где истина строит храм, там непременно и чорт строит свою часовню. Строй свои козни, берлинский дьявол, шипи от злости, клыкушестуй, беснуйся, — все равно ничего этим, кроме конца своего, не построишь...»

Поэт должен видеть не только происходящее, но и то, что произойдёт. Некогда Тычина заявил: «Я дійшов свого зросту і сили, я побачив ясно в далені». Теперь (стих. «Мій народ») он предвидит исход нынешних событий:

Сьогодні — майбутнього далину я оком
прозираю:

розбивсь об нас ворог, став він як глина.
Й на смітнику вже і «берта», і автомат,

і газ.

А в височині—также ж прекрасна и чудова
посеред народів стоїть Україна, —
немов та яблуна в садах народолюбного
раю!

В этой дали грядущего поэт видит «визволення світанок», родную Украину в час победы, за которой — новое, ещё невиданное в её истории возрождение:

...Скажіте:

Яке ж то буде щастя!..

На далёкие широты разносится голос поэта: «Від залізної ходи мого народу лунає аж тепер за Тихим Океаном, і на Повнічнім Морі, й там, де Гібралтар!..» На современные события Тычина смотрит как убежденнейший советский патриот-украинец. Он снова, как и раньше в статьях своих (см. «Гнев Тараса», предисловие к фронтovому изданию «Кобзаря»), обращается к великому поэту Украины:

І ви, Канівські рідні висоти
із живим, вічно-трепетним словом Тараса,
ви ж для нас вищі од усіх на світі гір!

Для создания большого искусства нужны не только большие таланты, но и сильные характеры. Сильные характеры закаляются в огне жестоких испытаний. Война показала это воочию. Искусство наше во время войны творчески решает то, что на протяжении многих лет пыталось решать в дискуссионном порядке.

Смысл своей жизни сейчас поэт видит в борьбе («Ми будем мужні, мужні в цій годині»). Борьба жестока. Поэту надо быть на боевом посту, если он хочет поражать врага. Тычина поставил свою поэзию на службу обороны родины ещё задолго до войны. Война не застала его врасплох. Поэт подготовился к ней. Поэтому Тычина так активен, бодр и собран теперь.

В эти дни основная задача: борьба с врагом, «изгнание торжествующего зверя», как сказал Джордано Бруно. Этой задачей проникнуто в военное время творчество Павла Тычины.

БИБЛИОГРАФИЯ

СТИХИ ОНДРЫ ЛЫСОГОРСКОГО*

Ондра Лысогорский родился в 1905 году в Чехословакии, в Ляшском крае. Ляшский край лежит на склонах Бескид, у истоков Вислы и Одера. Он включает в себя города Опаву, Тешин, Тучин, Моравскую Оставу. Население его насчитывает около полутора миллионов человек. Состоит оно преимущественно из шахтёров и крестьян. Ляхия — промышленный и угольный район.

Ондра Лысогорский — сын шахтёра, отец и дед которого также были пролетариями. Впечатления детства поэта — суровая музыка трудовых буден: звук лопаты, скрип вагонеток, удар молота по железу, бормотание ткацких челноков, песни матери, хлопочущей по хозяйству, чтобы обслужить семью, где девять человек детей.

Это была жизнь трудная, обильная лишениями, горем, утратами. В стихотворениях Ондры Лысогорского мы найдём картины подземных катастроф, горя, нужды и голода. Казалось, тяжесть людского существования может затмить красоту бескидской природы и подавить всякую надежду на светлое будущее. Поэт спрашивает в «Осенней балладе»: где благодать небес, земли, воды? Но недаром Ондра Лысогорский называет себя поэтом двадцатого века. Он поэт не только труда, но и поэт веры в жизнь, веры в освобождение, социальное и национальное. Книга его стихов открывается «Прологом», который в самом деле выражает лейтмотив его творчества:

Восходит солнце на Востоке,
Рассвет прогнал ночную тень.
В земле весенней бродят соки,
Хлеба взойдут густы, высоки.
Он близится, великий день!

(Перевод В. Левика)

Характер нашего времени ярко отразился в национальном самосознании поэта. Двадцатое столетие — столетие мощного стремле-

ния к национальному самоопределению всех народов земного шара, больших и малых. Передовое общественное мнение двадцатого века не признаёт «избранных» народов. Правом на самостоятельность национального существования, на равноправие в интернациональном соревновании материальной и духовной культуры обладают все племена земного шара. Гитлеровский план подчинения мира немцам, как «расе господ», целиком и полностью противоречит господствующей исторической тенденции и является уже по одному этому химерой.

Ондра Лысогорский гордится своей принадлежностью к ляшскому племени, он видит свою миссию в том, чтобы утвердить в мире звучание ляшского языка. Он говорит в поэме «Песнь о матери»:

Рождён для мидой Ляхии тобою,
Весь мир прошёл я в буре и огне,
Но Ляхия была моей судьбою.
Акцентом ляшским речь моя звучит,
Моей земли во веки не забуду.
Везде я вижу небеса Бескид,
Мне дым Оставы чудится повсюду.
Какие бы ни встретил я ветра,
О, Ляхия, клянусь твоим вершинам:
Везде мой светоч — Лысая Гора,
Я был, я есмь, я буду ляшским сыном!

(Перевод В. Левика)

Особенностью прогрессивных национальных стремлений нашего времени является отсутствие национальной исключительности, высокая оценка интернационального богатства наук, искусств, идеалов, как общего достояния всех народов. Эта черта также весьма явственно сказалась в творчестве Ондры Лысогорского. Ондра Лысогорский — народен и национален. Люди, знающие его творчество в подлиннике, отмечают близость его к ляшской народной песне и балладе, к рабочему фольклору. И в то же время стихи Ондры Лысогорского полны сочувственных размышлений о жизни и судьбе всех европейских народов.

Поэт чувствует своё родство с другими

* Ондра Лысогорский. «Земля моя», Госиздат, УзССР, Ташкент, 1942 г.

славянскими народами, связь своей родной речи с языками других славянских народов. Он предвидит светлый благословенный час, когда будут поражены и низвергнуты в прах немецкие насильники, — общий зраг всех славян.

Стихи Ондры Лысогорского — боевые стихи. Его муза — гражданская муза. Ондра Лысогорский был одним из участников и ораторов Всеславянского митинга, происходившего в Москве в августе 1941 года. «Моё оружие, — говорит он, — пламенное слово». Пламенное слово Ондры Лысогорского полно ненависти к немецким баронам и палачам, вековым врагам славян. Он проклинает гитлеровскую Германию, средоточие конденсированной реакции и человеконенавистничества.

Что ярость гуннов, что Немрод и Кир,
Вядалов тьма, татарских орд ламина,
Чумы индийской смертоносный пир
Пред крокожадной свастикой Берлина!
Германия! Что сделали с тобой!
Ты стала ямой свалочной, притоном!
Насилье, голод, гибель и разбой
Швырнула ты смятённым миллионом.
Чудовище! Кто породил тебя?
Как, разрешась отродием звериным,
Какая мать, страдая и любя,
Проклятый плод назвать посмела «сыном»?
(Перевод В. Левика)

Ондра Лысогорский призывает свой народ принять участие в величайшей освободительной борьбе, он призывает к организации партизанского движения, чтобы ускорить час расплаты с проклятым «фрицем». В памяти его встаёт образ национального героя Ондраша, борца против немецкой феодальной элиты за независимость родного края. Старый Ондраш невидимо витает перед ляхскими свободолюбивыми людьми и ведёт их в бой против векового врага.

И старый Ондраш из дремучей чащи
Пришёл и стал на выступе крутом.
Увидел он свой край кровотокащим,
Растоптаным фашистским салогом.
Как буря, мчитса он по горным травам...
Повстанцы устремляются за ним.
И едкий дым промышленной Остравы
Всё ближе и сильнее ощутим.
Неудержимым чёрным наводненьем
Он хлынет в улицы, горняцкий наш народ,

*

В БОРЬБЕ ЗА СВЕЛОЕ ЗАВТРА*

В своих довоенных рассказах П. Нилин похваливал, и чаще всего это ему хорошо удавалось, как невидный труд «маленьких» людей, на первый взгляд кажущийся их частным делом, в действительности слышит их интересы с интересами народа. Тема слияния личного

и власти греха, кнута и преступлений
Под непреклонным натиском падёт.
Дорога к солнцу, словно на ладони,
Близка победа. Путь наш недалёк,
Ждут партизан осёдланные кони,
Багрянцем нас приветствует Восток.
(Перевод Н. Вержейской и О. Высотской)

Ондра Лысогорский отдаёт себе ясный отчёт в том, какую роль сыграл СССР в сопротивлении фашистскому варварству и в спасении современной культуры. «Народ России спас опять Европу, — говорит он в своих стихах, — СССР стал плотниною поперёк фашистского потока». Мысли и чувства славянского поэта, навеянные любовью и благодарностью к СССР, особенно ярко выразились в «Гимне красноармейцу»:

К вам, вставшим, как маяк, над бездною
чёрных лет,
К вам, чей победный меч несёт народам
свет,
К вам, гордым часовым бушующей земли,
Искать спасения от гибели пришли.
Гомер и Ли-Тай-Пэ, Бетховен и Шекспир.
В кровавом вихре бомб, испепеливших мир,
В пожаре всей земли, в чудовищной войне
Ваш непокорный дух окреп, как сталь в
огне.
Он ваш, тот золотой обильный урожай,
Что принесёт земле в крови рождённый
май,

Гомеру будет вновь внимать простор
морской,
Воскреснет Ли-Тай-Пэ над жёлтою рекой.
И Микель-Анджело вселит свой дух в
гранит,
И гимн Бетховена поднимется в зенит.
Судьба их гения — она в руках у вас,
Вы человечеству опора в страшный час,
Вы смерть вадужите карающей рукой,
Чтоб жизни подарить безгорестный покой.
(Перевод В. Левика)

В поэзии Ондры Лысогорского отразились муки и страдания нашего времени, но отразились и его надежды, его твёрдая уверенность в победе над злом. Стихи Ондры Лысогорского пронизаны лирической любовью к родному краю, боевым пафосом и чистотой правого дела. В них «чистые мысли, горячее сердце, твёрдая поступь, сжатый кулак».

В. Кирпотин.

* Павел Нилин. «Линия жизни». Рассказы. Изд-во «Советский писатель», 1942.

и общественного в деятельности и мироощущении советского человека — одна из основных тем этого писателя.

П. Нилин наблюдает жизнь своих героев в её обыденнейших проявлениях, но всегда из этой обыденности он выводит человека на некую вершину, с которой взору открывается широкий мир с его большими делами. Ему свойственно убеждение, что всякий, самый за-

урядный человек непременно, хоть однажды поднимется на эту вершину. В этой способности подняться над обыденностью, воодушевиться высокой, общепользуемой целью П. Нилина видит национальную черту характера русского человека.

Творческие устремления П. Нилина лежат в русле гуманистических традиций русской литературы. Творчество его впитало в себя и те новые качества гуманизма, которые явились отражением новых, советских общественных отношений.

Вера в высокое назначение человека только в нашей стране могла получить реальное воплощение. За двадцать пять лет советского строя сложился тот новый тип человека, который является сейчас оплотом надежд всех народов в их борьбе против немецко-фашистского зверья.

Когда наша родина оказалась в опасности, все советские люди сомкнулись в единый строй, чтобы уничтожить врага, вернуть родной земле мир и свободный, созидательный труд.

Горячее чувство любви к родине ведёт в добровольческий отряд и пятидесятилетнего каменщика, и восемнадцатилетних юношей и девушек. Охотник, шофер и повар — люди разных профессий — идут рядом, вперёд к победе!

Об этих людях, о рядовых защитниках родины рассказывается в книжке П. Нилина. Мирные труженики, его излюбленные герои, взялись за оружие.

В центре рассказа «Линия жизни» — основного рассказа, давшего заглавие и книжке, — Митя Попов, представитель «восемнадцатилетних». Вместе с несколькими товарищами он оставил завод, где работал по окончании школы, пошёл добровольцем защищать Москву.

Мы видим корни среды, сформировавшей характер Мити, исполненный мужественной простоты и веры в свои силы. И вот он идёт на войну, ощущая себя человеком, на которого родина может положиться.

Всё ещё мирно в нём, неполные восемнадцать лет ещё граничат с детством, с его безмятежной незлобностью. И когда вспыхивает в Мите злорадность против врага, он почти стесняется этого нового для него чувства, так неожиданно сделавшего его взрослым. Он выражает переполняющую его ненависть с мальчишеской неуклюжестью.

«Митя повесил гитару на гвоздь. «И отца я им тоже припомню», — вдруг зло, и со зла прикусив губу, подумал он про немцев. «Убью, сколько могу, а там видно будет. Не мы первые начинали». Но, повернувшись к бабушке, он сказал совсем другое:

— Я прошу тебя, бабушка, гляди за гитарой. Будут тут соседские девчонки просить, ни под каким видом не давай. Они её расстроят. — И вдруг так же зло, как в мыслях, добавил:

— А то я за гитару могу голову оторвать.

— И мне? — обиженно спросила бабушка. — Про тебя разговорю мету, — ответил всё ещё злой Митя. Внутри у него всё кипело. Не мог же он объяснить бабушке, кому бы он хотел оторвать голову.»

Образ Мити Попова написан поэтически. Рассказ словно освещён светом его молодости. Мите свойственна непрестанная жажда изучать жизнь и себя в ней, и в то же время чувство ещё опережает в нём разум. Внутренний мир Мити, — как весеннее небо, которое то дарит земле солнце, то опускает над ней завесу нивесты откуда налетевших хмурых облаков. Но хмуры ненадолго. Всё существо Мити Попова до краёв переполнено предчувствием радостного завтра, уверенностью в успехе общего дела. Отсюда и эта острая потребность в самоконтроле, которая заставляет Митю подвергать проверке каждый свой шаг. Она в особенности обострилась в обстановке боя, где на успех дела влияет поведение каждого отдельного бойца. Митя отдался делу войны со всей честностью молодости и ревниво следит за собой и за товарищами.

Такова советская молодёжь — мужественная, преданная родине. Рядом с Митей Поповым — Афоня Воробьев, Петя Щелконогов, Пашка Трубилов, Надя Хмельва. Все они в той или иной мере наделены чертами типичного героя нашей эпохи — защитника свободы отечества, честного и бесстрашного воина. Здесь кстати сказать об Аркадии Десятине, струсившем, пытающемся сдать на милость врага. Назначение этого образа в рассказе — быть контрастной тенью, рядом с которой ярче засверкала бы нравственная чистота Мити Попова и других его товарищей. Однако он лишён той жизненности, какой исполнен образ положительного героя. В чём искать объяснение нравственного уродства, отличающего Аркадия от его сверстников? В рассказе не дано для этого ничего, что могло бы объяснить поступок Аркадия. Этот красивый юноша избалован вниманием девушек, любит похвастать. Он наделён воображением, любит стихи и пишет сам. При всех этих качествах, вполне невинных, его малодушный поступок является в конце рассказа неожиданным и необъяснённым. Тема индивидуалистического характера, не устойчивого на зыбкой почве себялюбия, решается здесь изображением замкнутого в себе, вне среды, психологического типа. Это решение оказалось порочным. И не потому ли для образа Аркадия в рассказе не нашлось других изобразительных средств, кроме описательных сравнений и параллелей? Здесь П. Нилина изменило его умение находить в конкретной детали точку опоры для взаимодействия среды и характера — умение, с каким изображены в рассказе другие, даже второстепенные герои.

Каменщик Воистинов, ставший для Мити Попова в новой жизни первым учителем, казался бы резонёром, излагающим мысли автора, если бы не его нежелание рассуждать о больших, волнующих вопросах. Перед нами

вечный труженик, работника. Руки его словно тяготеют вынужденным бездельем ожидания и непрестанно тянутся к работе — то прилаживаются к вещевому мешку, то наводят порядок вокруг.

Повар Михлюдов — тот другой. Он добр и прост душой, но весь ещё во власти ослепленного позавтракать быта, отвлекающего его чувства на мелочи. Он любит посудачить и охотно отдаётся ничегонеделанию. Лёжа на полке, он с удивлением наблюдает, как инженер Кателин, сидя на своей койке, старается втиснуть в вещевой мешок две толстые книги.

«Наконец не выдержал, спросил:

— Да на что они вам, Степан Степанович? Неужели вы их на войну повезёте?

— Повезу, — сказал инженер.

— Странное дело, — сказал повар, лёжа на спине и закинув руки на затылок. — Люди даже целые чемоданы бросают, вон я сейчас поглядел. А вы книжки собираете.

Кателин вынул большую кружку из мешка и вместо неё засунул книжки. Кружку стал привязывать к мешку сверху.»

Уже эта короткая сценка даёт почувствовать внутренний облик людей разного сознания, воспитанных разной средой и профессией. Каждый из них проявляет себя в своей индивидуальности.

В дальнейшем они станут рядом в бою — братья по духу, сыновья одной матери-родины.

Образы П. Нилина конкретны. Путь добровольческого отряда на фронт — по широкому шоссе вслед за танками и артиллерией, и дальше — по мирному просёлку, мимо заградительных линий, строящихся защитниками Москвы, мимо всех этих людей, встреченных по дороге, напутствующих добрым словом, и, наконец, самое поле боя, на которое вступают добровольцы, — всё это имеет пространственность, перспективу.

Но владея вообще умением строить рассказ на детали, сообщающей образу внутреннее движение, П. Нилин любит иной раз украсить содержание деталью пустоветом. Такова, например, в этом рассказе встреча с «пареньком в лаптях» из Орла. Сама по себе беседа с ним добровольцев на дороге, в ожидании, пока двинется грузовик, показывает умение автора строить колоритный диалог, но образ этого «паренька в лаптях» ничего не выражает, вернее, образа здесь и нет, ибо он лежит вне круга, очерченного идеей рассказа.

Содержание других рассказов, собранных в книжке, определяет та же «линия жизни» русских патриотов, не желающих иного пути для себя, кроме того, который ускоряет победу.

В рассказе «Дуэль» Иван Торопов, из винтовки подбивший вражеского истребителя, умирая, озабочен только одной мыслью:

«— Попал я в него?»

— Попал.

— Ну, слава богу, — удовлетворённо сказал Иван Торопов. И потом, напрягая все силы, медленно добавил с расстановкой:

— А я, однако, весь изболел душой. Думаю, неужели я в него не попаду. Ведь я не знаю, в какое слабое место у него целиться. Ведь я в самолёты-то ни разу не стрелял.»

Сибиряк Иван Торопов до войны был первоклассным охотником на белок. Он мечтал и сыновей вырастить хорошими охотниками. Эти мечты посетили его и здесь, на посту, в тишине знойного дня. За будущее своих детей боролся Иван Торопов, когда бил врага. Этот бой был для него, между прочим, и делом профессиональной чести. И он вышел из него победителем, этот русский охотник, принявший бой один-на-один с немецким хищником, вооружённым пулемётом. Но он не видит в своём успехе никакого геройства. Он даже, пожалуй, винит себя, что слишком долго продолжался этот поединок, что никогда раньше не упражнялся в стрельбе по самолётам.

Особую, волнующую прелесть образу Ивана Торопова придаёт мысленный разговор, который ведёт он с самим собой и ещё с кем-то невидимым, может быть, с семьёй, а может быть, с соснами, напомнившими ему здесь, в подмосковье, родную Сибирь, — потребность человека, привыкшего к общению с природой и заимствующего у неё спокойствие и силу.

Мысленный разговор героя с самим собой — у П. Нилина не случайный, но органический приём изображения характера, усиливающий лирическое звучание образа. Активную роль в этом играет характерный язык героев. В его колоритности, не лишённой юмора, оживают краски народной речи.

В рассказе «Пятно» интересен образ дезертира Бережкова, понявшего свою ошибку и вернувшегося на фронт, где он с честью смыл с себя пятно труса. В дни священной освободительной войны этот мотив находит оптимистическое разрешение в гармонии личности и народа.

Оптимизм П. Нилина основан на вере в русский народ, в его нравственную силу. И в печальной повести о какой-нибудь неудавшейся человеческой судьбе Нилин стремится показать, что русскому человеку свойственно искать идеал личного счастья в согласии с общественными идеалами. Тем сильнее это показано в рассказах о русских людях, до конца соединивших свою судьбу с судьбой родины в дни её тяжёлых испытаний. За родину они жертвуют жизнью в боях с врагом. За будущее родины они отдают свой самоотверженный труд, восстанавливая города и сёла, сожжённые палаческой рукой захватчика. И всюду, в боях и в созидательном труде, ими движет неизменяющая им вера в великое назначение советского народа, ведущего человечество к свободе.

В. Раковская

ТАМАРИАНИ**

Научное издание памятника грузинской литературы, относящегося к очень отдалённой от нас эпохе, казалось бы, является в данный момент делом не клишкой актуальным. Между тем, появление этой книги именно сейчас, во второй год Отечественной войны, в высшей степени знаменательно и говорит о многом. В самом деле: издание подобной книги не только свидетельствует о том, что в условиях военного времени пульс культурной жизни в нашей стране бьётся столь же напряжённо, как бился он в годы мирного строительства, и что, в частности, война не прервала научных занятий, но и лишней раз разоблачает клеветнические измышления фашистских «теоретиков» о культурной отсталости народов Советского Союза. Появление русского издания «Тамариани» лишней раз демонстрирует древность и величие национальной культуры одарённого и свободолюбивого грузинского народа, напоминает о многовековых гуманистических и патриотических традициях, с новой силой оживших сейчас, в дни эпической борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, и воодушевляющих сынов Советской Грузии на воинские подвиги во славу и честь своей Родины.

«Тамариани» — выдающийся гимнический памятник средневековой грузинской поэзии, прославляющий знаменитую в летописях Грузии царю Тамару и её мужа Давида Сослани, Тамара восхваляется здесь как сошедшее на землю божество, источник всяческой благодати, перед которым меркнут светила небесные и которое не в состоянии достойно прославить и воспеть ни мудрецы, ни поэты. Автором этого произведения предание называет некоего Чахрухадзе, биография которого остаётся не выясненной. В тексте произведения содержатся намёки на различные знаменательные события царствования Тамары; последнее из них по времени — поход грузин в Иран в 1210 году. Тем самым, примерно, определяется хронология памятника.

Грузинская филологическая наука рекомендует «Тамариани», как «памятник громадного значения в истории развития грузинской политической мысли» (академик К. С. Кекелидзе), как произведение, «проникнутое яркими вспышками торжествующего патриотизма» (академик Н. Я. Марр). Вместе с тем, высоки и художественные достоинства «Тамариани». Н. Я. Марр говорит о «необыкновенно художественной форме», «естественной точности речи», «чарующей музыкальности стихов и богатстве роскошных рифм, всегда безукоризненных, часто бесподобных по виртуозности, заставляющей забывать неизбежную иногда искусственность». За исключением немногих

отдельных фрагментов, всё произведение написано особым стиховым размером (сломаный двадцатисложный стих (10+10) с внутренними рифмами в 1-й и 3-й строках), известным, по имени предполагаемого автора, под названием «чахрухаули» (хотя размер этот был изобретён ещё до Чахрухадзе) и узаконенным в средневековой грузинской поэзии для произведений хвалебного жанра.

Однако крупное историко-литературное значение «Тамариани» заключается не в формальной изощренности, с какою сочинены панегирические гимны в честь Тамары, а в том, что они с большой широтой раскрывают целый период в истории грузинской культуры.

Конiec XI — начало XII веков, эпоха царя Давида-Возобновителя (1089—1125) и царицы Тамары (1184—1213), — то есть, примерно, 120 лет, — это лучшее время в жизни феодальной Грузии, оставившее глубочайший след в памяти грузинского народа. Говоря словами академика Марра, эта эпоха «представляет высшее жизненное развитие грузинской национальной, государственной и военной славы». Именно в это время феодальная Грузия, политически объединённая Давидом-Возобновителем, достигла предела своего могущества и блеска, превратилась в многонациональное государство, занимавшее территорию всего внешнего Закавказья, часть Северного Кавказа, северные провинции Ирана, часть южной Армении. Соседние государства — Трапезунд, Армения, Ширван — находились с Грузией в дружественных, союзнических или вассальных отношениях. Вместе с тем эта эпоха была временем наивысшего подъёма средневековой грузинской культуры. Именно в это время в Грузии зарождается светская литература, создаются центры высшего образования, вроде известной Гелатской академии, развиваются науки, искусства и ремёсла, выступает целая плеяда выдающихся поэтов и философов, во главе с неоплатоником Иоанном Петрици — переводчиком и комментатором Аристотеля, Прокла Диадоха, Немесия Эмесского и других мыслителей древности. Международные культурные связи средневековой Грузии, лежавшей на стыке двух культурных миров, — мусульманского Востока и христианского Запада, — были очень широкие. Особенно прочными и разветвленными были связи с Византией, приобщавшие грузинских поэтов и философов к наследию классической эллинистической культуры, интерпретированному не столько в духе ортодоксального христианства, сколько в духе неоплатоновских мистических концепций. Существует даже научная гипотеза, выдвинутая проф. Ш. Нуцубидзе и нуждающаяся ещё в дополнительной аргументации, что автором так называемых ареопагитских книг, с наибольшей полнотой и чёткостью отразивших неоплатоновское восприятие наследия античной философской мысли и приписан-

* Чахрухадзе. Тамариани. Перевод с грузинского Шалвы Нуцубидзе. Изд-во Тбилисского гос. университета имени Сталина, 1942.

ных в VI веке вымышленному автору Дионисию Ареопажиту, жившему якобы в I веке, — на самом деле был грузин Петр Ивер (ум. в 482 году), епископ Майумы в Сирии (см. монографию Ш. Нуцубидзе «Тайна Псевдо-Дионисия Ареопажита». Изд. Академии Наук Грузии. 1942).

Грузинская средневековая светская литература была для своего времени передовой литературой. В отдельных своих моментах она даже превосходила сходные явления в западноевропейском искусстве.

В этой плоскости и нужно рассматривать «Тамариани», как один из крупнейших литературных памятников грузинского ренессанса XII столетия. Произведение это свидетельствует о том, что Руставели не был случайным явлением в истории средневековой грузинской культуры, что он имел предшественников, опыт творческой работы которых учитывался им в полной мере, что он был представителем плеяды поэтов грузинского ренессанса, завершившим своим «Витязем» определённый этап в развитии грузинской художественной культуры. Чахрухадзе, равно как и Шавтели, автор поэмы «Абдул Мессия», был непосредственным предшественником (а, по некоторым данным, старшим современником) Руставели. Филологические разыскания выявили факт безусловного влияния Чахрухадзе на Руставели, который заимствовал из «Тамариани» не только отдельные образы, но и целые сюжетно-тематические мотивы и ситуации, переработав и развив их по-своему.

Грузинский ренессанс был в прошлом плохо изучен, и даже самые литературные памятники этой эпохи были мало обследованы, хотя академик Марр, ещё в 1902 году опубликовавший «Тамариани» (в IV томе «Текстов и разысканий по армяно-грузинской филологии»), пришёл к выводу, что в произведениях Чахрухадзе и Шавтели «мы имеем единственный в своём роде источник для изучения своеобразной грузинской культуры XII века». Только в самое последнее время трудами проф. Ш. Нуцубидзе изучение памятников грузинского ренессанса приняло углублённый и планомерный характер. При этом Ш. Нуцубидзе не только изучает и публикует эти памятники, но и вводит их в широкий научный и читательский оборот, перелагая их на русский язык. В 1937—1939 гг. он издал (в сотрудничестве с проф. С. Каухчишвили) на грузинском языке сочинения Иоанна Петрици — эту «идеологическую базу грузинского ренессанса», а недавно в Тбилиси вышел в свет и русский перевод труда Петрици: «Рассмотрение платоновской философии и Прокла Диадоха». В 1941 году появился выполненный Ш. Нуцубидзе перевод «Витязя» Руставели. Сейчас издан перевод «Тамариани», а в ближайшее время выходит из печати перевод «Абдул Мессии» Шавтели. И всё это, — по заявлению Ш. Нуцубидзе, — «начало большого пла-

на, охватывающего издание на грузинском языке ещё неопубликованных памятников грузинского ренессанса и их приобщение путём переводов, прежде всего на русский язык, к мировой культуре» (стр. 11).

Большая вступительная статья Ш. Нуцубидзе, предпосланная переводу «Тамариани», — серьёзное исследование, в котором подвергнуты всестороннему и глубокому рассмотрению вопросы историко-биографического порядка, связанные с Чахрухадзе, структурно-композиционные особенности «Тамариани», поэтика Чахрухадзе и его мировоззрение. В статье содержится основательная филологическая критика дошедшего до нас текста «Тамариани», аутентичность которого весьма относительна (кое-чего в нём вообще не хватает). Эта филологическая критика легла в основу работы Ш. Нуцубидзе по переложению стихов Чахрухадзе на русский язык. Дело в том, что в старом издании под редакцией Н. Я. Марра «Тамариани» представлял собою сборник отдельных од (числом однадцать), к которым присоединена одна элегия (строфы 117—128), описывающая злосчастную судьбу некоего друга Чахрухадзе. К слову сказать, эта элегия свидетельствует о широте международных связей грузинского общества XII века: друг Чахрухадзе, погибший, вдали от родины, объездил почти весь известный тогда мир — Индию, Китай, Русь, хозарские земли, Иран, Византию, Йемен, Египет. Ш. Нуцубидзе, подробно аргументируя свою точку зрения, решительно возражает против подобного разделения текста «Тамариани» на разблёванные оды и рассматривает памятник как цельное произведение, задуманное и выполненное в едином плане, пронизанное одной магистральной темой — «обожествления царицы Тамары, как носительницы единовластия». Как цельное гимническое песнопение «Тамариани» и переведено Ш. Нуцубидзе.

Вопрос о композиционной структуре «Тамариани» имеет не только узко-текстологическое значение — если рассматривать этот памятник, как цельное произведение, в нём резко проступает центральная его идея, а именно — идея единовластия. В защите этой идеи и заключается социально-идеологический пафос «Тамариани», как художественного произведения, ознаменовавшего определённый момент в истории развития грузинской политической мысли. Подобно Руставели, Чахрухадзе мобилизует все свои художественные средства и всю свою широкую философскую, религиозную, историческую и литературную эрудицию — для защиты единодержавия Тамары в её борьбе с феодальными аристократами. Принцип единодержавия он «противопоставляет феодализму, светскому и духовному, как гарантию политической и культурной мощи грузинской государственности» (стр. 41—42). Ясно, какое громадное прогрессивное значение имела мысль о величии крепкой единоначальной власти в

условиях феодальной раздробленности грузинского государства. Раздробленность эта не была ликвидирована, а всего лишь частично нейтрализована при Тамаре и с новой силой проявилась после её смерти, когда Грузия стала клониться к упадку, распадаясь в бесконечных усобицах на отдельные царства. Вывод, к которому приходит в этой связи Ш. Нуцубидзе, весьма знаменателен: «Чахрухадзе, как поэт грузинского ренессанса, не только не отображает жизни феодального класса, а идеологически (и политически) борется против неё. В этом — социальная направленность поэзии ренессанса: она за единоначалие, которое в Грузии XII в., как и потом на Западе, выступало как прогрессивное начало в борьбе против партикуляристской аристократии — светской и духовной» (стр. 25).

Статья Ш. Нуцубидзе очень содержательна и изобилует интересными наблюдениями. Чахрухадзе аттестуется в ней, как «самая крупная фигура из той литературной среды, в которой зародилось и развивалось творчество Руставели», как «в некотором отношении учитель Руставели», как «первый поэт, преодолевший стилиевые и стихотворные нормы церковной поэзии и сделавший «решительный шаг к народности» в разработке народных форм стихосложения.

Но обладая ни в малейшей мере основательными знаниями в области грузинской филологии, я, естественно, не имею возможности подвергнуть исследованию Ш. Нуцубидзе детальному аналитическому рассмотрению. Однако, на правах читателя, позволю себе сделать одно частное замечание. «Тамариани», как уже сказано, состоит из одиннадцати од и одного фрагмента, который по традиции именуют «элегией», хотя ничего элегического он в себе не содержит и скорее может быть назван медитацией. Фрагмент этот явно выпадает из общего плана «Тамариани», и Н. Я. Марр рассматривал его как отдельное стихотворение, может быть, даже и не принадлежащее Чахрухадзе. Ш. Нуцубидзе, полагая, что «на самом деле это не так», по существу, никак не аргументирует свою точку зрения (см. стр. 54). После приведённых им доказательств нельзя всё же признать, что в этом «фантастическом рассказе о влюблённом витязе» — «нет ничего неожиданного с точки зрения композиции и структуры поэмы». Место это всё же воспринимается в тексте «Тамариани», как нечто чужеродное.

Неудачна в иных случаях применённая автором терминология. Так, например, на стр. 20 с «грузинским ренессансом» (XI—XIII века) соседствует «эпоха грузинского возрождения» (XVII век), — подобная тавтология способна запутать читателя. Примечания к тексту составлены небрежно и неполны. Примечания даны к таким словам, как: Мосул, Дамаск, Алеппо и даже амбра, а в то же время

без пояснений оставлены: Лаша, Ростов, бэри, Савл, Эран, ринды, гишер, месх, атабек, ва-зир и т. п.

Несколько слов о переводе. Переводить грузинские стихи на русский язык вообще очень трудно в виду разноприродности грузинского и русского стихосложения. Для некоторых характерных особенностей грузинского стиха в русском стихосложении решительно невозможно найти адекватных средств художественного выражения. В частности вечным камнем преткновения служат укоренившиеся в грузинской поэзии дактилические рифмы, не свойственные русскому стиху. Чахрухадзе же переводить особенно трудно, и сам переводчик признаётся, что «перевод Чахрухадзе потребовал значительно больших усилий, чем перевод Руставели». Это, конечно, верно, да и трудно возражать против желания переводчика сохранить форму оригинала, но стихи всё же, по совести говоря, получились неважные и, конечно, не передают той «чарующей музыкальности» чахрухадзевских строф, о которой говорил Н. Я. Марр. И в статье Ш. Нуцубидзе также читаем о «чудном слетении бесплодных образов», о том, что «неизъяснимой прелестью веет от того места, когда влюблённый поэт переходит от описания чар Тамары к её мужу» (стр. 51). Чтобы не быть голословным, приведу это место:

Станом Тамара ты, как чинара,
С нею ты схожа поразительно;
Встречи с тобою ищут с мольбою
Тот, кто приемлет смерть решительно.
Света ты башня, жертвам не страшно,
Если сжигаешь их стремительно;
В их назиданье lika сиянье
Даже средь мрака ослепительно.
В чём же иначе, если не в плаче
Спеть о разлуке без разлучника?
Образ Давида отблеском вида
Высшее благо счастья спутника.
Разве не время корня Ефрема
Нам удалось славить лучника?
Меч его в раже гибели вражьей,
И повергает в прах ослушника.

И таких строк — без малого тысяча. Связанность дактилической рифмой вынуждала переводчика поступать правилами произношения (например: явлённую, вознёсена, занёсена, осёдлость), что всегда производит, и особенно в стихах, крайне неприятное впечатление. Таким образом, отдавая должное нелёгкому и, можно сказать, самоотверженному труду переводчика, приходится признать, что «Тамариани» вряд ли войдёт в художественный обиход русского читателя, как вошёл «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, — хотя, разумеется, и по самому своему масштабу и по эстетической значимости песнопение Чахрухадзе не выдерживает сравнения с гениальной поэмой. Но познавательное и вообще историко-культурное значение русского издания этого выдающегося памятника старой грузинской поэзии — бесспорно велико.

Вл. Орлов

КНИГА О ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ*

Только-что вышел из печати интересный сборник, посвящённый прошлому и настоящему Ясной Поляны.

Сборник открывается выдержкой из ноты Народного Комиссара иностранных дел товарища В. М. Молотова от 6 января 1942 года о бесчинствах немецко-фашистских войск в Ясной Поляне. Далее, после горячо написанной небольшой статьи члена-корреспондента Академии Наук СССР И. И. Минца, озаглавленной «Фашистский вандализм-громила в Ясной Поляне», и передовой статьи «Правды» от 21 декабря 1941 года на ту же тему, следует составленный Е. Н. Чеботаревской короткий исторический очерк «Ясная Поляна». В этом компилятивном очерке кратко излагается история Ясной Поляны со времени её возникновения до перехода во владение Л. Н. Толстого в 1847 году. Полезность этого материала, к сожалению, снижена рядом досадных неточностей. Рассказывая о строителе Ясной Поляны, деде Толстого Н. С. Волконском, автор без оговорок приводит передаваемое Толстым в его «воспоминаниях» державшееся в роде Толстых семейное предание о том, будто бы Волконский за свой отказ от предложения Потёмкина жениться на племяннице и любовнице Вареньке Энгельгардт был в виде почётной ссылки назначен «воеводой» в Архангельск (стр. 27—28). Между тем, по уже опубликованным архивным данным** предание это оказывается недостоверным: Волконский был назначен военным губернатором в Архангельск не при Екатерине, а при Павле, так что назначение это ни в какой связи с его отказом от unilateralного предложения Потёмкина не стояло. Без оговорок приводится также указанная Л. Н. Толстым дата смерти его деда—1816 год, тогда как в действительности Волконский умер в 1821 году. Почему-то днём поджога Ясной Поляны фашистами называется 15 декабря 1941 г. (стр. 29), тогда как и в ноте В. М. Молотова и в акте Комиссии Академии Наук СССР (стр. 176) этим днём указано 14 декабря.

Далее под общим заголовком «Толстой об Ясной Поляне» помещены сделанные С. А. Толстой-Есениной многочисленные выдержки из произведений, писем и дневников Льва Николаевича о его жизни в Ясной Поляне. Выдержки эти, заимствованные частью из неопубликованных материалов, достаточно полно характеризуют пребывание Толстого в Ясной Поляне во всё продолжение его жизни; некоторые из них представляются даже излишними и не относящимися к теме. Таковы цитаты, отражающие духовный разлад Толстого

с его семейными. Ясно, что разлад этот не имел отношения к месту жительства Толстого и в Москве ощущался им так же мучительно, как и в Ясной Поляне. Тексты выдержек снабжены небольшой вводной статьёй и краткими примечаниями. И то, и другое вызывает некоторые возражения. Преувеличенно утверждение автора в том, что «все его (Толстого) чувства, мысли, образы зародились и воплотились в Ясной Поляне» (стр. 32). Как известно, Кавказ и Севастополь немало способствовали «зарождению и воплощению» у Толстого многих мыслей и образов, с Ясной Поляной совершенно не связанных. К выдержке из письма Толстого от 12 ноября 1856 г. к его соседке В. В. Арсеньевой, где Толстой говорит, что одним из его «занятий» в деревне была бы «любовь к Д.», сделано примечание: «Так Толстой называл свою какую-то будущую жену». На самом деле Толстой в этих словах имел в виду, как это уже указывалось его биографами, не «свою какую-то будущую жену», а корреспондентку, которая в то время считалась почти его невестой и которую он в своих письмах к ней называл почему-то «Дембицкой». К записи дневника Толстого от 4 февраля 1909 г.: «После моей смерти я прошу моих наследников отдать землю крестьянам» сделано примечание, указывающее, что «после смерти Толстого 643,73 десятины земли были переданы бесплатно крестьянам Ясной Поляны» и других ближайших деревень. Получается впечатление, будто наследники Толстого свято выполняли его волю; на самом же деле происходило совсем другое. Не надеясь на своих наследников, кто они выполнят его желание, Толстой в последний год своей жизни устно завещал своей младшей дочери Александре Львовне, чтобы после его смерти она выпустила в свет его неизданные произведения и на вырученные от продажи деньги выкупила у матери и у братьев яснополянскую землю и передала её крестьянам. Это и было исполнено. Яснополянская земля была приобретена у наследников Толстого за 400.000 рублей (см. «Толстовский ежегодник 1913 года», отд. V, стр. 10—12) и бесплатно передана крестьянам. В примечании 34 ошибочно указано время работы Толстого по оказанию помощи голодающим: 1890—1892 годы; должно быть: 1891—1893 годы.

Следующая статья — «Ясная Поляна в творчестве Л. Н. Толстого» — принадлежит Сергею Львовичу Толстому. С. Л. Толстой в настоящее время является старейшим свидетелем жизни и творчества нашего знаменитого писателя; он пишет о своём великом отце большей частью на основании личных воспоминаний. Такова и данная статья, в которой прекрасно прослежено отражение Ясной Поляны в произведениях Толстого, начиная с его первой повести «Детство» и кончая повестями и рассказами последних лет. Исследователь жиз-

* «Ясная Поляна». Статьи и документы. Составители: С. А. Толстая-Есенина, Э. Е. Зайденшпур, Е. Н. Чеботаревская. Под редакцией И. И. Минца и С. А. Толстой-Есениной. Госполитиздат. 1942.

** См. Н. Гусев, «Толстой в молодости», 1926 г.; С. Л. Толстой, «Мать и дед Л. Н. Толстого», 1928 г.

ни и творчества Толстого не пройдёт мимо этой статьи, как не проходит он мимо других статей того же автора (о юморе в разговорах Л. Н. Толстого, об отражении жизни в «Анне Карениной», о первом представлении «Плодов просвещения» и др.). Небольшие неточности, содержащиеся в статье С. Л. Толстого, не имеют существенного значения. Так, неправильно утверждение автора, что суровое суждение Толстого о своём «Детстве» («нескладное смешение событий его детства и детства его соседей») было высказано им в письме к П. И. Бирюкову (стр. 95): это мнение выражено Толстым в предисловии к его «Воспоминаниям». Неверно также сообщение, что рассказ «Солдатское житие», написанный Толстым в сотрудничестве с его двумя учениками, так и «печатался под именем трёх авторов: Лев Толстой, Макаров и Морозов» (стр. 102). Толстой рассказывает, что один из его соавторов мальчиков, предварительно осведомившись о том, как зовут «двор» Льва Николаевича (т. е. как его фамилия), действительно предлагал «печатывать» рассказ, как сочинение «Морозова, Макарова и Толстова»; но Лев Николаевич напечатал его за подписью одного Морозова.

Прекрасно написанная статья Э. Е. Зайденшнур «Ясная Поляна в годы советской власти» начинается с интересного сообщения о предложении царскому правительству купить Ясную Поляну, сделанном вдовой Толстого в 1911 году. Впервые публикуется извлечённая из секретного дела, хранящегося в Ленинградском областном архиве, резолюция Николая II по этому вопросу: «Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимую. Совету министров обсудить только вопрос о размере могущей быть назначенной вдове пенсии».

Далее даётся обзор всех мероприятий советской власти по охране Ясной Поляны и по расширению научной работы Толстовского музея, начиная с декрета ВЦИК от 10 июня 1921 г. о национализации Ясной Поляны и кончая постановлением Совнаркома СССР от 27 августа 1939 г. о передаче Толстовского музея в ведение Академии Наук СССР и о сосредоточении в нём всех рукописей Толстого. Контраст между отношением к памяти великого писателя царского правительства, с одной стороны, и советской власти — с другой получается поразительный.

Живо написанный очерк Е. Н. Чеботаревской, «Музей-усадьба Ясная Поляна», к

сожалению, испорчен многочисленными неточностями. Таково сообщение о том, будто бы могила Толстого находится на расстоянии 1,5 километров от дома (стр. 140), в то время как на страницах 149 и 174 указано, что расстояние от дома до могилы — «около одного километра»; что фотографическая группа Толстого вместе с Некрасовым, Тургеневым и другими писателями относится к 1857 году (стр. 135), между тем как в дневнике Дружинина точно указано, что фотография снята 15 февраля 1856 г.; что письма Толстого начали копироваться в Ясной Поляне с 1907 года (стр. 136), на самом же деле снятие копий было организовано уже в 1894 г. и др.

Пробелом сборника является отсутствие статьи о Ясной Поляне как культурном центре при жизни Толстого. Ведь в Ясной Поляне бывали такие замечательные русские люди, как Тургенев, Фет, Лесков, Гаршин, Короленко, Чехов, Горький, Крамской, Ге, Репин, Нестеров, Аренский, Мечников и другие. А сколько простых, скромных, никому неизвестных людей обращалось к Толстому за решением своих внутренних сомнений!.. Между тем, в сборнике о посетителях Толстого упоминается только вскользь и мимоходом.

Раздел «Фашисты в Ясной Поляне», содержащий записи рассказов яснополянских музейных и школьных работников, имеет значение не только для истории Ясной Поляны, но и лишней раз раскрывает перед всем миром отвратительный облик немецко-фашистских войск. Разорение и поджог дорогого всему миру культурного центра останетсь вечным несмыслаемым позором разбойничьей гитлеровской армии. Об этом красноречиво говорят приведённые в книге многочисленные высказывания русских и зарубежных учёных и писателей.

Сборник заканчивается газетной статьёй об открытии восстановленного Музея-усадьбы Ясная Поляна, происходившем в торжественной обстановке 24 мая 1942 г.

Книга богато иллюстрирована. Хорошо выполнены иллюстрации на отдельных листах, бледнее — иллюстрации в тексте. Большинство снимков, сделанных при жизни Толстого, к сожалению, не датированы.

Нельзя не признать появление сборника «Ясная Поляна» вполне своевременным и самым сборник; несмотря на указанные недостатки, интересным.

Н. Гусев

*

Редколлегия: М. М. Розенталь, В. П. Ставский, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6, Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

A435. 8 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 1018.
Подписано к печати 21/IV — 1943 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.